

О. ГЕНРИ

ВЛАСТИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКОВ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Властитель человеков
О. Генри

Аннотация
О. Генри. Властитель человеков
Зеленая дверь
С высоты козел
Неоконченный рассказ
Смерть Дуракам
Роман биржевого маклера
Через двадцать лет
Гарлемская трагедия
По следам убийцы, или Тайна улицы Пешо
Одиноким путем
Адское пламя
День, который мы празднуем
Я интервьюирую президента
Паром разочарования
Снежная фамилия
Властитель человеков
Тысяча долларов
Поражение Города
Ночь страха в городе
Искатели приключений
Блеск золота

«Роза Дикси»
Тикток
  Глава 1
  Глава 2
  Глава 3
Высшее отречение
Степной принц
Граф и свадебный гость
Теория и практика
Святыня
Октябрь и июнь
Исчезновение Черного Орла
Случай из департаментской практики
Орден Золотого Колечка
Атавизм Джона-Тома Малого Медведя
Фальшивый доллар
Табак
Гордость городов
Брачный месяц май

Аннотация

Познакомившись однажды с рассказами О. Генри, невозможно не полюбить их всей душой. Десятилетиями не сходят со страниц книг истории об обычных людях – живущих в другой эпохе, говорящих на другом языке, но таких близких и понятных современному читателю.

Ирония автора, его чувство юмора и внимательный взгляд, подмечающий мельчайшие детали – забавные, грустные или просто интересные, – вот то, за что мы ценим книги знаменитого писателя.

«Роман биржевого маклера», «Фальшивый доллар», «Властитель человеков» и другие увлекательные рассказы ждут вас под этой обложкой.

О. Генри
Властитель человеков

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Зеленая дверь

Вообразите, что после обеда вы шагаете по Бродвею и на протяжении десяти минут, потребных на то, чтобы выкурить сигару, обдумываете выбор между забавной трагедией или чем-нибудь серьезным в жанре водевиля. И вдруг вашего плеча касается чья-то рука. Вы оборачиваетесь, и перед вами дивные глаза обворожительной красавицы в брильянтах и русских соболях. Она поспешно сует вам в руку невероятно горячую булочку с маслом и, сверкнув парой крохотных ножниц, в один миг отхватывает ими верхнюю пуговицу на вашем пальто. Затем многозначительно произносит одно лишь слово: «Параллелограмм!» — и, боязливо оглядываясь, скрывается в переулке.

Вот все это и есть настоящее приключение. Вы бы на это откликнулись? Вы — нет. Вы бы залились краской смущения, конфузливо уронили булочку и зашагали бы дальше, неуверенно шаря рукой по тому месту на пальто, откуда только что исчезла пуговица. Именно так вы и поступили бы, если только не принадлежите к тем немногим счастливцам, в которых еще не

умерла живая жажда приключений. Истинные искатели приключений всегда были наперечет. Те, которых увековечило печатное слово, большей частью лишь трезвые, деловые люди, действовали новоизобретенными методами. Они стремились к тому, что им требовалось: золотое руно, чаша святого Грааля, любовь дамы сердца, сокровища, корона или слава. Подлинный искатель приключений с готовностью идет навстречу неведомой судьбе, не задаваясь никакой целью, без малейшего расчета. Отличным примером может послужить Блудный сын — когда он повернул обратно к дому.

Псевдоискатели приключений — хотя личности яркие, отважные — крестоносцы, венценосцы, меченосцы и прочие — водились во множестве, обогащая историю, литературу и издателей исторических романов. Но каждый из них ждал награды: получить приз, забить гол, посрамить соперника, победить в состязании, создать себе имя, свести с кем-либо счеты, нажить состояние. Так что их нельзя отнести к категории истинных искателей приключений.

В нашем большом городе духи-близнецы — Романтика и Приключение — всегда наготове, всегда в поисках своих достойных почитате-

лей. Когда мы бредем по улице, они тайком поглядывают на нас, заманивают, прикрываясь десятками различных масок. Неведомо почему, мы вдруг вскидываем глаза и видим в чужом окне лицо, явно принадлежащее к нашей портретной галерее самых близких людей. В тихой, сонной улочке из-за наглухо закрытых ставен пустого дома мы ясно слышим отчаянный крик боли и страха. Кебмен, вместо того чтобы подвезти вас к привычному подъезду, останавливает свой экипаж перед незнакомой вам дверью, и она приветливо открывается, как бы приглашая войти.

Из высокого решетчатого окна Случая к вашим ногам падает исписанный листок. В спешащей уличной толпе мы обмениваемся взглядами мгновенно вспыхнувшей ненависти, симпатии или страха с совершенно чужими нам людьми. Внезапный ливень — и, быть может, ваш зонт укроет дочь Полной Луны и кузину Звездной Системы. На каждом углу падают оброненные платки, манят пальцы, умоляют глаза, и вот уже в руки вам суют отрывочные, непонятные, таинственные, восхитительные и опасные нити, которые тянут вас к приключению. Но мало кто из нас захочет удержать их, пойти туда, куда они поведут. Наша спина, вечно подпираемая желез-

ным каркасом условностей, давно закостенела. Мы проходим мимо. И когда-нибудь на склоне нашей унылой, однообразной жизни мы подумаем о том, что Романтика в ней особой яркостью не отличалась — одна-две женитьбы, атласная розетка, запрятанная на дно ящика, да извечная непримиримая вражда с радиатором парового отопления.

Рудольф Штейнер был истинным искателем приключений. Редким вечером не выходил он из своей «комнаты на одного» в поисках неожиданного, невероятного. Ему всегда казалось, что самое интересное, что только дает жизнь, поджидает его, быть может, за ближайшим углом. Порой желание испытать судьбу заводило его на странные тропы. Дважды он провел ночь в полицейском участке. Вновь и вновь становился жертвой плутов, облегчавших его карманы. За лестное дамское внимание ему пришлось расплатиться и кошельком, и часами. Но с неослабевающим пылом поднимал он каждую перчатку, брошенную ему на веселой арене Приключения.

Однажды вечером Рудольф прогуливался в старой, центральной части города. По тротуару текли людские потоки — одни спешили к домашнему очагу, другие — беспокойный на-

род! — покинули его ради сомнительного уюта тысячесвечного табльдота.

Молодой и приятной внешности искатель приключений был в ясном расположении духа, но преисполнен ожидания. Днем он служил продавцом в магазине роялей. Галстук он не закреплял булавкой, а пропускал его концы сквозь кольцо с топазом. И однажды он написал издателю некоего журнала, что из всех прочтенных им книг самое сильное влияние на его жизнь оказал роман «Испытания любви Джуни», сочинение мисс Либби.

Громкое лязганье зубов в стеклянном ящике, выставленном на тротуаре, заставило его (не без внутреннего трепета) обратить внимание на ресторан, перед которым упомянутый ящик был выставлен, но в следующую минуту он обнаружил над соседней дверью электрические буквы вывески дантиста. Стоя подле двери, ведущей к дантисту, огромного роста негр в фантастическом наряде — красный, расшитый галунами фрак, желтые брюки и военное кепи — осторожно вручал какие-то листки тем из прохожих, кто соглашался их принять.

Этот вид зубоврачебной рекламы был для Рудольфа знакомым зрелищем. Как правило, он

проходил мимо, игнорируя визитные карточки дантистов. Но в этот раз африканец так проворно сунул ему в руки листок, что Рудольф не выбросил его и даже улыбнулся тому, как ловко это было проделано.

Пройдя несколько шагов, Рудольф равнодушно глянул на листок. Удивленный, он перевернул его и потом снова рассмотрел, уже с интересом. Одна сторона листка была чистая, на другой чернилами написали: «Зеленая дверь». И тут Рудольф увидел, что шагавший впереди прохожий выбросил на ходу листок, также врученный ему негром. Рудольф поднял листок, посмотрел: фамилия и адрес дантиста с обычным перечнем — «протезы», «мосты», «коронки» и красноречивые посулы «безболезненного удаления».

Адепт Великого Духа Приключений и продавец роялей остановился на углу и задумался. Затем перешел на противоположную сторону улицы, отшагал квартал в обратном направлении, вернулся на прежнюю сторону и слился с толпой, движущейся туда, где сияла электрическая вывеска дантиста. Проходя вторично мимо негра и делая вид, что не замечает его, Рудольф небрежно принял листок, снова предложенный ему. Шагов через десять он осмотрел новый листок. Тем же

самым почерком, что и на первом, на нем было выведено: «Зеленая дверь». Поблизости на тротуаре валялись три подобных же листка, брошенных шагавшими впереди или позади Рудольфа, — все листки упали чистой стороной вверх. Он поднял их и осмотрел. На всех он прочел соблазнительные приглашения зубоврачебного кабинета.

Быстрому, резвому Духу Приключений редко приходилось манить Рудольфа Штейнера, своего верного почитателя, дважды, но на этот раз призыв был повторен, и рыцарь поднял перчатку.

Рудольф опять повернул назад, медленно прошел мимо стеклянного ящика с лязгающими зубами и негра-гиганта. Но листка он не получил. Несмотря на нелепый, пестрый наряд, негр держался с достоинством, присущим его сородичам, вежливо предлагая карточки одним, других оставляя в покое. Время от времени он выкрикивал что-то громкое и невразумительное, сходное с возгласами трамвайных кондукторов, объявляющих остановки, или с оперным пением. Но он не только оставил Рудольфа без внимания — молодому человеку даже показалось, что широкое лоснящееся лицо африканца выражало холодное, почти уничтожающее презрение.

Взгляд негра словно ужалил Рудольфа. Его

сочли недостойным! Что бы ни означали таинственные слова на листке, чернокожий дважды избрал его среди толпы. А теперь, казалось, осудил как слишком ничтожного умом и духом, чтобы его можно было привлечь загадкой.

Встав в стороне от толпы, молодой человек быстрым взглядом окинул здание, в котором, как он решил, скрывалась разгадка тайны. Дом поднимался на высоту пяти этажей. В полуподвале расположился небольшой ресторан.

На первом этаже, где все было на запоре, по-видимому, продавались шляпки или меха. На втором, судя по буквам, мигающим электричеством, обитал дантист. На следующем этаже царило вавилонское многоязычие вывесок: гадалки, портнихи, музыканты и врачи. Еще выше задернутые занавески на окнах и белевшие на подоконниках молочные бутылки заверяли, что здесь область домашних очагов.

Завершив обзор, Рудольф взлетел по крутым каменным ступеням, ведущим в дом. Быстро поднявшись по крытым ковром лестницам до третьего этажа, он остановился. Здесь площадка еле освещалась двумя бледными газовыми рожками. Один мерцал где-то далеко в коридоре направо; другой, поближе, — налево. Рудольф

глянул влево и в слабом свете рожка увидел зеленую дверь. Мгновение он колебался. Но тут же вспомнил оскорбительную насмешку на лице африканского жонглера карточками и, не раздумывая более, шагнул прямо к зеленой двери и постучал.

Секунды, подобные тем, что последовали за его стуком, соразмерны быстрому дыханию истинного приключения. Только подумать, что может ожидать его по ту сторону! Игроки за карточным столом; хитрые пройдохи, с тонким расчетом раскладывающие приманки в свои западни; красавица, превыше всего ценящая отвагу и решившая покориться только смельчаку. Опасность, смерть, любовь, разочарование, насмешки — все может быть ответом на этот безрассудный стук.

Изнутри послышался слабый шорох, и дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла девушка, еще не достигшая и двадцати лет, — она была бледна, еле держалась на ногах. И вдруг выпустила дверную ручку, покачнулась, попыталась найти опору, шаря рукой в воздухе, — Рудольф успел подхватить ее и уложил на кушетку с полинялой обивкой, стоявшую у стены. Дверь он закрыл и в еле мерцающем свете газового рожка

быстро оглядел комнату. Чисто, опрятно, но все говорит о самой крайней нужде.

Девушка лежала неподвижно, очевидно, в обмороке. Рудольф озабоченно оглядел комнату в поисках бочки, на которой он мог бы… нет-нет, не то, это если кто утонет… Он принялся обмахивать девушку шляпой. Это дало желанный эффект — он задел ее по носу полями своего котелка, и она открыла глаза. И тут наш молодой человек увидел, что ее лицо, несомненно, и есть недостающий портрет из его сердечной галереи самых близких. Честные серые глаза, задорный вздернутый носик, каштановые волосы, вьющиеся, как усики душистого горошка, — все это звучало правильным заключительным аккордом и венцом всех его удивительных приключений. Но какое же это было худое и бледное личико!

Она взглянула на него спокойно, потом улыбнулась.

— У меня был обморок, да? — проговорила она слабым голосом. — Хоть с кем могло случиться, будь он на моем месте. Попробуйте не есть три дня, сами убедитесь.

— Himmel![1] — воскликнул Рудольф, вскакивая

---

[1] Примечания: 1
О небо! (*нем.*)

с места. — Ждите меня, я вернусь мигом!

Он бросился к двери и вниз по лестнице. Через двадцать минут он уже снова стоял у зеленой двери, стуча в нее ногой: в руках у него была охапка снеди из бакалейной лавки и ресторана. Все это он выложил на стол — хлеб, масло, холодное вареное мясо, пирожные, паштет, маслины, устрицы, жареного цыпленка, одну бутылку с молоком и одну с чаем, горячим, как огонь.

— Смешно, нелепо устраивать голодовки, — заговорил Рудольф громко, с нарочитой строгостью. — Раз и навсегда прекратите такого рода пари. Ужин готов.

Он помог ей сесть за стол и спросил:

— Чашка для чая имеется?

— На полке у окна.

Когда Рудольф вернулся с чашкой, девушка, блестя глазами, уже принялась за крупную маслину, которую успела извлечь из пакета, с безошибочным женским инстинктом угадав его содержимое.

Рудольф, смеясь, отобрал маслину и налил полную чашку молока.

— Сперва выпейте это, — распорядился он, — потом чай и крылышко цыпленка. Маслину получите завтра, если будете умницей. А теперь,

если разрешите быть вашим гостем, приступим к ужину.

Он пододвинул к столу второй стул. От чая глаза у девушки оживились, лицо чуть порозовело. Она ела с изысканной жадностью, как изголодавшийся дикий зверек. Присутствие в комнате постороннего молодого человека и предложенную им помощь она, казалось, рассматривала как нечто само собой разумеющееся. Не потому, что мало придавала значения условностям, а потому, что естественное, заложенное в человеке природой чувство голода дало ей право на время забыть об искусственном и условном. Однако постепенно, по мере того как восстанавливались ее силы и самочувствие, с ними вместе вернулись и все привычные маленькие условности.

Она рассказала ему свою нехитрую историю — одну из тысячи таких, над которыми ежедневно зевает город, — историю продавщицы в магазине. Жалкая оплата, еще урезаемая «штрафами», которые повышают доходы хозяина; болезнь, зря потерянное время. А потом потеря места, потеря надежд и… и в зеленую дверь стучит искатель приключений.

Но в ушах Рудольфа этот рассказ прозвучал как «Илиада» — или как кульминационная сцена в

романе «Испытания любви Джуни».

— Боже мой, только подумать, что вам пришлось пережить! — воскликнул он.

— Да, просто ужас, — сказала девушка с величайшей серьезностью.

— И у вас здесь нет ни родственников, ни друзей?

— Ни души.

— У меня тоже, — проговорил Рудольф, помолчав.

— Я очень этому рада, — немедленно отозвалась девушка. И молодому человеку почему-то было очень приятно услышать, что ее радует его одинокое существование.

Вдруг как-то сразу веки у нее стали слипаться, и она глубоко вздохнула.

— Ужасно хочется спать… Мне так хорошо…

Рудольф встал, взял шляпу.

— В таком случае пожелаю вам спокойной ночи. Крепкий длительный сон именно то, что вам нужно.

Он протянул руку, девушка приняла ее и сказала «спокойной ночи». Но в глазах у нее был такой красноречивый, такой откровенный, такой взывающий вопрос, что Рудольф ответил на него словами:

— Да, конечно, завтра я зайду проверить, как у вас дела. Вам от меня так легко не отделаться.

Только когда он уже стоял у порога, она спросила, как он попал к ней, словно по сравнению с самим фактом его появления это обстоятельство было столь мало важно!

— Почему вы постучали ко мне?

Он взглянул на нее, вспомнил листки, которые раздавал негр, и сердце у него сжалось от ревности и боли. Что, если бы они попали в другие руки — в руки таких же искателей приключений, как он сам? Рудольф мгновенно решил, что она никогда не должна узнать правду. Он никогда не скажет, что ему известна та странная мера, на которую ее толкнула безвыходность положения.

— Один из наших настройщиков живет в этом доме, — сказал он. — Я ошибся дверью.

Последнее, что видел Рудольф перед тем, как за ним закрылась зеленая дверь, была улыбка девушки.

На лестничной площадке он с любопытством огляделся. Потом прошелся во всю длину коридора сперва в один его конец, потом в другой. Затем поднялся выше, продолжая проверять ошеломляющее открытие: все двери в доме были выкрашены в зеленый цвет.

Все еще недоумевая, он спустился вниз, вышел на улицу. Африканец в фантастическом наряде стоял на прежнем месте. Рудольф протянул ему оба свои листка.

— Объясните, почему вы дали мне эти листки и что они значат? — спросил он.

Широкая добродушная улыбка на лице негра послужила отличной рекламой его работодателю.

— Вон там, — проговорил он, указывая вдоль улицы, — только к первому акту вы уже опоздали!

Проследовав взглядом туда, куда указывал негр, Рудольф увидел ослепительные электрические буквы над театральным подъездом, возвещавшие название новой постановки:

«ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ».

— Я слышал, босс, пьеса первый сорт, — сказал негр. — Их агент дал мне доллар, сказал, чтоб я раздал немного их бумажек, вместе с докторскими. Могу я предложить вам и докторскую карточку, сэр?

На углу квартала, где он жил, Рудольф зашел выпить кружку пива и взять сигару. Закурив, он вышел на улицу, застегнул пальто на все

пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и заявил решительно, обращаясь к ближайшему уличному фонарю:

— Все равно я верю, что сам перст Судьбы указал мне дорогу к той, которая мне нужна.

И этот вывод, учитывая вышеописанные обстоятельства, безусловно, позволяет причислить Рудольфа Штейнера к истинным последователям Романтики и Приключения.

С высоты козел

У кебмена свой особый взгляд на вещи и, возможно, более цельный и вместе с тем односторонний, нежели у кого-либо, избравшего иную профессию. Покачиваясь на высоком сиденье, он взирает на ближних своих как на некие кочующие частицы, не имеющие ни малейшего значения, пока их не охватит стремление к миграции. Он — возница, а вы — транспортируемый товар. Президент вы или бродяга — кебмену безразлично, вы для него всего лишь седок. Он вас забирает, щелкает хлыстом, вытрясает из вас душу и высаживает вас в пункте назначения.

Если в момент оплаты вы обнаружите знакомство с узаконенной таксой, вы узнаете, что такое презрение; если же выяснится, что ваш бумажник забыт дома, воображение Данте покажется вам весьма скудным.

Не следует отвергать теорию, утверждающую, что ограниченная целенаправленность кебмена и его суженная точка зрения на жизнь есть результат конструкции самого экипажа. Подобно Юпитеру, кебмен возвышается над вами,

безраздельно занимая свое высокое место, и держит вашу судьбу меж двух неустойчивых кожаных ремней. А вы — беспомощный, нелепый узник, болтающий головой, словно китайский болванчик, — вы, перед кем на твердой земле пресмыкаются лакеи, — вы должны, как мышь в мышеловке, пищать в узкую щель вашего странствующего саркофага, чтобы ваши робкие пожелания были услышаны.

При этом вы даже не седок в экипаже, вы — его содержимое. Вы груз корабельного трюма, и «херувим, на небесах сидящий», отлично знает, где именно идут ко дну корабли.

Как-то вечером из большого кирпичного жилого дома — всего через дом от «Семейного кафе» МакГэри — доносились звуки шумного веселья. Они исходили, по-видимому, из квартиры семейства Уолш. Весь тротуар был забит пестрой толпой любопытных соседей, время от времени теснившихся, чтобы дать проход посланцу из кафе МакГэри, несущему всевозможные предметы, предназначенные для пиршества и увеселений. Зеваки на тротуаре увлеченно пересказывали сплетни и обменивались мнением, из чего нетрудно было понять основную тему: Нора Уолш справляет свадьбу.

В положенное время на тротуар высыпали и гости. Неприглашенные столпились вокруг них, проникли в их гущу, и ночной воздух наполнился веселыми возгласами, поздравлениями, смехом и тем трудно описуемым шумом, который явился, не без помощи МакГэри, результатом возлияний в честь Гименея.

У обочины тротуара стоял кеб Джерри О'Донована. «Ночной ястреб» — вот какое прозвище получил этот возница. Но из всех кебов, чьи дверцы когда-либо захлопывались за пеной кружев и ноябрьскими фиалками, он выглядел самым чистеньким и блестящим. А конь? Нимало не преувеличивая, могу сказать, что он был набит овсом до такой степени, что даже одна из тех престарелых леди, которые оставляют дома посуду невымытой и бегут требовать, чтобы арестовали ломового извозчика, улыбнулась бы — да-да, улыбнулась бы, увидев лошадь Джерри О'Донована.

В этой не стоящей на месте, громкозвучной, вибрирующей толпе мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров; его нос морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми

седоками; его зеленое с медными пуговицами одеяние, так восхищавшее население кварталов, окружавших кафе МакГэри. Было очевидно, что Джерри взял на себя функции своего экипажа и «нагрузился» сам. Эту метафору можно развернуть далее и уподобить его особому виду перевозочного средства типа цистерны, если принять показания юного свидетеля, утверждавшего, что «Джерри налился до краев».

Откуда-то из толпы подле дома или из тонкого ручейка прохожих отделилась молодая женщина, быстрым, легким шагом направилась к экипажу и остановилась возле него. Профессиональный ястребиный глаз Джерри уловил это движение. Он ринулся к своему кебу, на пути сбив с ног трех или четырех зевак, и сам… нет, он успел ухватиться за водопроводный кран и удержался на ногах. Подобно моряку, который во время шквала карабкается по вантам, Джерри взобрался на свое законное место. И едва он оказался там, как флюиды из кафе МакГэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань-мачте своего сухопутного судна, он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолаз на небоскребе.

— Входите, леди, — проговорил Джерри, берясь

за вожжи.

Молодая женщина вошла в кеб. С шумом захлопнулись дверцы, в воздухе щелкнул хлыст Джерри, толпа возле дома растаяла, и щегольской экипаж помчался по улице. Когда бодрый потребитель овса несколько сбавил первоначальную прыть, Джерри приоткрыл створку наверху кеба и, стараясь быть любезным, спросил через узкую щель голосом, напоминающим треснувший мегафон:

— И куда же мы теперь двинем?

— Куда угодно, — ответили ему приятным и довольным тоном.

«Катается, значит, просто для удовольствия», — подумал Джерри. И затем предложил как нечто само собой разумеющееся:

— Прокатимся по парку, леди. И прохладно будет, и по-благородному.

— Пожалуйста, как угодно, — приветливо согласилась пассажирка.

Кеб двинулся в направлении к Пятой авеню и быстро помчался по этой превосходной улице. Джерри покачивался и подпрыгивал на своем сиденье. Притихшие было мощные флюиды МакГэри ожили и посылали новые пары в голову возницы. Он запел старинную песню деревни

Киллиснук, размахивая хлыстом, как дирижерской палочкой.

Пассажирка в кебе сидела на подушках выпрямившись, глядя то налево, то направо, разглядывая дома и огни города. Даже в полутемном кебе глаза ее сияли, как звезды в сумерках.

Когда они подъезжали к Пятьдесят девятой улице, голова Джерри болталась и вожжи в его руках ослабли. Но лошадка по собственному почину завернула в ворота парка и начала свой всегдашний ночной маршрут. Пассажирка блаженно откинулась на спинку сиденья и глубоко вдохнула чистые, здоровые запахи травы, листьев и цветущих деревьев. А мудрое животное в оглоблях, зная свое дело, держалось правой стороны и бежало той рысцой, которая полагается при оплате «по часам».

Привычка взяла свое и успешно одолела все растущее отупение Джерри. Он приоткрыл верхний люк своего раскачиваемого бурей судна и задал вопрос, типичный для кебменов, заехавших в парк:

— Как насчет «Казино», леди, не желаете там остановиться? Подкрепиться, музыку послушать и прочее. Все туда заглядывают.

— Я думаю, это было бы очень приятно, — по-

следовал ответ.

Они подкатили к «Казино», и кеб, дав сильный крен, остановился. Дверцы распахнулись. Пассажирка вышла и мгновенно оказалась в плену восхитительной музыки и целого моря огней и красок. Кто-то сунул ей в руку квадратный кусочек картона, на котором стояло число «34». Она оглянулась, увидела, что ее кеб отъехал от подъезда шагов на тридцать и уже занимает место среди множества других карет, кебов и автомобилей. Затем кто-то, у кого, казалось, самым приметным в костюме была манишка, изящно отступил перед ней, приглашая войти. В следующую минуту она уже сидела за столиком возле перил, над которыми склонились ветви жасмина.

Почувствовав молчаливое приглашение заказать что-нибудь, она проверила в тощем кошельке наличие мелких монет, и они дали ей право на кружку пива. Она сидела, вбирая в себя жизнь в новом ее цвете и форме, — жизнь в сказочном дворце среди заколдованного леса.

За пятьюдесятью столиками сидели принцы и королевы в невиданных шелках и драгоценностях. Время от времени кто-нибудь кидал любопытный взгляд на пассажирку Джерри. Они видели простенькую фигурку в розовом платье

из шелка, облагороженного наименованием «футляр», и простенькое личико, выражавшее такую жизнерадостность, что королевам становилось завидно.

Уже дважды длинные стрелки часов совершили свой круг. Королевские особы покинули троны al fresco[2], и великолепные колесницы унесли их под шум моторов или стук копыт. Музыка скрылась в деревянные футляры или кожаные и фланелевые чехлы. Официанты снимали скатерти со столиков рядом с тем, за которым сидела, теперь уже почти в одиночестве, простенькая фигурка, и выразительно на нее поглядывали.

Пассажирка Джерри встала и протянула одному из них свой кусочек картона.

— Что-нибудь полагается по этому билетику?

Официант объяснил, что это номер ее кеба и что она должна вручить его человеку у подъезда. Человек у подъезда выкрикнул номер. У «Казино» теперь дожидалось всего три экипажа. Один из возниц слез с козел и выволок Джерри, уснувшего в своем кебе. Крепко выругавшись, Джерри взобрался на капитанский мостик и двинул судно к причалу. Пассажирка села, и кеб тут же помчался

---

[2] Примечания: 2
Под открытым небом (*исп.*).

в прохладу парка, по возможности сокращая обратный путь.

Уже у ворот проблеск разума в форме внезапного подозрения закрался в затуманенный мозг Джерри. Что-то он сообразил. Остановил коня, приоткрыл люк и, как свинцовый лот, кинул вниз свой хриплый голос:

— Сперва я хочу получить мои четыре доллара, дальше с места не двинусь. Деньги-то у вас есть?

— Четыре доллара? — мягко рассмеялась пассажирка. — Бог ты мой, конечно, нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки.

Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт сгладил, но не заглушил полностью голос, изрыгающий страшные проклятия: задыхаясь, хрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань. Он яростно хлестал бичом встречные экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший возчик фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен. Но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчался туда галопом.

Он остановился у подъезда с зелеными фонарями.

Рванув дверцу кеба, он тяжело спрыгнул с козел.

— Вылезайте, — сказал он грубо.

Пассажирка вышла — на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в «Казино». Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седоусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кебмен встречались не впервые.

— Сержант, — начал Джерри своим обычным тоном жалобщика — хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант, вот у меня пассажирка, так она…

Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями МакГэри, начинал рассеиваться.

— Да, пассажирка, сержант, — продолжал он, ухмыляясь, — которую желаю вам представить. Это моя жена, женился на ней нынче вечером — гуляли у ее отца, старика Уолша. Уж так гуляли, только держись, право слово. Ну, поздоровайся с сержантом, Нора, и поехали домой.

Прежде чем снова сесть в кеб, Нора испустила глубокий вздох.

— Я так чудесно провела время, Джерри, — ска-

зала она.

Неоконченный рассказ

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, чрезвычайно далекий от скептических настроений наших дней, поскольку в нем

фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория Страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади; но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и не похоже, чтобы нас выдавали им на поруки.

Пернатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну как же, — сказал он, — это люди, которые…

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на

руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог… то есть, виноват, ваше преподобие, Первичная Энергия, так, кажется? Ну, значит, в главной книге Первичной Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо: вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно про-

ведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезывают из вишневых косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги, собственно говоря, предназначались на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь

их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете силою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное принадлежало Дэлси. На комоде помещались ее сокровища: фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей

Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу, стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о плагиатах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует — ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает

к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю, и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и…

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписаных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: Свинка обла-

дал душой крысы, повадками летучей мыши и великодушием кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрели на него с презрением. Это определенный тип, хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не Плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) ей очень шли.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать эти кушанья подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов… постойте, постойте… нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там…

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен, — сказала она. — По фамилии Уигинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого

сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Киченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Киченер, ее единственный друг, в ее глазах казался идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Киченер далеко, в Японии,

ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один его взгляд победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В девять часов Дэлси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Киченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагрубила генералу Киченеру, это не

предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Киченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться; и тогда…

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертство, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил

слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

Смерть Дуракам

У нас на Юге, когда кто-нибудь выкинет или скажет особенно монументальную глупость, люди говорят: «Пошлите за Джесси Хомзом».

Джесси Хомз — это Смерть Дуракам. Конечно, он миф, так же как Санта-Клаус, или Дед Мороз, или Всеобщее Процветание, словом — как все эти конкретные представления, олицетворяющие идею, которую природа не удосужилась воплотить в жизнь. Даже мудрейшие из мудрецов Юга не скажут вам, откуда пошла эта поговорка, но немного найдется домов — и счастливы эти дома, — где никогда не произносили имени Джесси Хомза или не взывали к нему. Всегда с улыбкой, а порой и со слезами его призывают к исполнению его официальных обязанностей на всем пространстве от Роанока до Рио-Гранде. Очень занятой человек этот Джесси Хомз.

Я отлично помню его портрет, висевший на стене моего воображения в дни моего босоногого детства, когда встреча с ним частенько мне угрожала. Он представлялся мне страшным стариком в сером, с длинной косматой седой бородой и

красными злющими глазами. Я опасался, что он вот-вот появится на дороге в облаке пыли, с белой дубовой палкой в руке, в башмаках, подвязанных ремешками. Возможно, что когда-нибудь я еще…

Но я пишу не эпилог, а рассказ.

Я не раз с сожалением отмечал, что почти во всех рассказах, которые вообще стоит читать, люди пьют. Напитки льются рекой — то это три наперстка виски, которым балуется Дик Аризона, то никчемный китайский чай, которым пытается придать себе храбрости Лайонель Монтрезор в «Дефективных диалогах». В такую компанию не стыдно ввести и абсент — один стаканчик абсента, втянутого через серебряную трубочку, холодного, мутноватого, зеленоглазого, обманчивого.

Кернер был дураком. А кроме того — художником и моим добрым другом. Если есть на свете презренное существо, так это художник в глазах автора, которого он иллюстрирует. Вы попробуйте сами. Напишите рассказ из жизни золотоискателей в Айдахо. Продайте его. Истратьте полученный гонорар, а затем, через полгода, займите двадцать пять (или десять) центов и купите номер журнала, в котором этот рассказ напечатан. Перед вами иллюстрация на целую страницу

— ваш герой, ковбой Черный Билл. Где-то в вашем рассказе встретилось слово «лошадь». Художник сразу все понял. На Черном Билле штаны как на лорде, выехавшем травить лисицу. Через плечо у него «монтекристо», в глазу монокль. На заднем плане изображен кусок Сорок второй улицы во время ремонта газовых труб и Тадж-Махал, знаменитый мавзолей в Индии.

Довольно! Я ненавидел Кернера, но как-то мы познакомились и стали друзьями. Молодой и великолепно меланхоличный, он постоянно пребывал на подъеме и столь многого ждал от жизни. Да, он мог стать печален до буйства. Это все молодость. Когда человек начинает грустно веселиться, можно держать пари, что он красит волосы. Кернер обладал пышной копной волос, притом старательно взлохмаченных, как и полагается гриве художника. Он курил папиросы и пил за обедом красное вино. Но главное — он был дураком. И я мудро завидовал ему и терпеливо выслушивал, как он поносит Веласкеса и Тинторетто. Однажды он сказал мне, что ему понравился мой рассказ, который попался ему в каком-то сборнике. Он пересказал мне содержание рассказа, и я пожалел, что мистер Фицджеймс О’Брайан умер и не может услышать похвалу

своему произведению. Но такие озарения редко посещали Кернера, он был дураком упорным и постоянным.

Постараюсь выразиться яснее. Тут замешана девушка. Я лично считаю, что девушкам место либо в пансионе, либо в альбоме, но, чтобы не лишиться дружбы Кернера, я допускал существование этого вида и в природе. Он показал мне ее портрет в медальоне, она была не то блондинка, не то брюнетка, уж не помню. Она работала на фабрике за восемь долларов в неделю. Дабы фабрики не возгордились и не вздумали меня цитировать, добавлю, что девушка одолевала путь к этой роскошной плате пять лет, а начала с полутора долларов в неделю.

Отец Кернера стоил два миллиона. Поддерживать искусство он был согласен, но про фабричную работницу заявил, что это уж слишком. Тогда Кернер лишил отца наследства, переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед у Фаррони. Фаррони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов. Иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстуков, а также уплачивал Фаррони два доллара в счет долга.

Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и его девушкой. Они решили пожениться, как только он научится извлекать из живописи доход. Что касается двух миллионов экс-отца — очень они ему нужны!

Девушка была прелесть. Миниатюрная, почти красивая, она держалась в этом дешевом кафе так же свободно, как если бы сидела в ресторане отеля «Палмер Хаус» в Чикаго и уже успела засунуть за корсаж на память серебряную ложку. Она была естественна. Особенно я оценил в ней две черточки: пряжка от пояса приходилась как раз посередине ее спины, и она не рассказывала нам, что высокий мужчина с рубиновой булавкой в галстуке шел за ней по пятам от самой Четырнадцатой улицы. Я подумал — а возможно, Кернер не такой уж дурак? А потом прикинул, сколько полосатых манжет и голубых стеклянных бус для язычников можно купить на два миллиона, и решил — нет, все-таки дурак. И тут Элиз — вот, даже имя ее вспомнил — весело рассказала нам, что коричневое пятно на ее блузке произошло оттого, что хозяйка постучала к ней в тот момент, когда она (Элиз, а не хозяйка) грела утюг на газовой горелке, и ей пришлось спрятать утюг под одеяло, а там оказался кусочек жевательной резинки,

он пристал к утюгу, и когда она начала снова гладить блузку… я только подивился, каким образом жевательная резинка попала под одеяло — неужели они никогда не перестают ее жевать?

Вскоре после этого — потерпите, сейчас будет и про абсент — мы с Кернером обедали вдвоем у Фаррони. Страдали гитара и мандолина; дым стелился по комнате красивыми, длинными, кудрявыми клубами, точь-в-точь как художники изображают на рождественских открытках пар от сливового пудинга; дама в голубом шелковом платье и вымытых бензином перчатках запела мелодию кэтскилской горянки.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Разумеется, — сказал Кернер, — работать она больше не будет. Этого я не допущу. Какой смысл ждать? Она согласна. Вчера я продал ту акварель — вид на Палисады. Стряпать будем на газовой плите в две конфорки. Ты еще не знаешь, какое я умею готовить рагу. Да, поженимся на будущей неделе.

— Кернер, — сказал я, — ты дурак.

— Хочешь абсенту? — великодушно предложил Кернер. — Сегодня ты в гостях у искусства, которое при деньгах. Думаю, мы снимем квартиру с ванной.

— Я никогда не пробовал… я имею в виду абсент, — сказал я.

Официант отмерил каждому из нас порцию в стакан со льдом и медленно долил стаканы водой.

— На вид совсем как вода в Миссисипи в большой излучине ниже Натчеса, — сказал я, с интересом разглядывая мутную жидкость.

— Можно найти такую квартиру за восемь долларов в неделю, — сказал Кернер.

— Ты дурак, — сказал я и стал потягивать абсент. — Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно официальное вмешательство некоего Джесси Хомза.

Кернер, не будучи южанином, не понял. Он сидел размякший, мечтая о своей квартире как истый деляга-художник, а я глядел в зеленые глаза всезнающего духа полыни.

Случайно я заметил, что процессия вакханок на длинном панно под потолком сдвинулась с места и весело понеслась куда-то слева направо. Я не сообщил о своем открытии Кернеру. Художники парят слишком высоко, чтобы замечать такие отклонения от естественных законов искусства стенной живописи. Я потягивал абсент и насыщал свою душу полынью.

Один стакан абсента — это не бог весть что, но я опять сказал Кернеру, очень ласково:

— Ты дурак. — И прибавил наше южное: — Нет на тебя Джесси Хомза.

А потом я оглянулся и увидел Смерть Дуракам, каким он всегда мне представлялся, — он сидел за соседним столиком и смотрел на нас своими грозными, красными, безжалостными глазами. Это был Джесси Хомз с головы до ног: длинная косматая седая борода, старомодный серый сюртук, взгляд палача и пыльные башмаки призрака, явившегося на зов откуда-то издалека. Взгляд его так и сверлил Кернера. Мне стало жутко при мысли, что это я оторвал его от неустанного исполнения его обязанностей на Юге. Я подумал о бегстве, но вспомнил, что многие все же избегли его кары, когда уже казалось, что ничто не может их спасти, разве что назначение послом в Испанию. Я назвал брата своего, Кернера, дураком, и мне угрожала геенна огненная. Это бы еще ничего, но Кернера я постараюсь спасти от Джесси Хомза.

Смерть Дуракам встал и подошел к нашему столику. Он оперся на него рукой и, игнорируя меня, впился в Кернера горящим, мстительным взглядом.

— Ты безнадежный дурак, — сказал он. — Не надоело тебе голодать? Предлагаю еще раз: откажись от этой девушки и возвращайся к отцу. Не хочешь — пеняй на себя.

Лицо Смерти Дуракам было на расстоянии фута от лица его жертвы, но, к моему ужасу, Кернер ни словом, ни жестом не показал, что заметил его.

— Мы поженимся на будущей неделе, — пробормотал он рассеянно. — Кой-какая мебель у меня есть, прикупим несколько подержанных стульев и справимся.

— Ты сам решил свою судьбу, — сказал Смерть Дуракам тихим, но грозным голосом. — Считай себя все равно что мертвым. Больше предложений не жди.

— При лунном свете, — продолжал Кернер мечтательно, — мы будем сидеть на нашем чердаке с гитарой, будем петь и смеяться над ложными радостями гордости и богатства.

— Проклятье на твою голову! — прошипел Смерть Дуракам, и у меня волосы зашевелились на голове, когда я увидел, что Кернер по-прежнему не замечает присутствия Джесси Хомза. И я понял, что по каким-то неведомым причинам завеса поднялась только для меня одного и что мне суждено спасти моего друга от руки Смерти

Дуракам. Объявший меня ужас, смешанный с восторгом, видимо, отразился на моем лице.

— Прости меня, — сказал Кернер со своей бледной, тихой усмешкой. — Я разговаривал сам с собой? Кажется, это у меня входит в привычку.

Смерть Дуракам повернулся и вышел из ресторана.

— Подожди меня здесь, — сказал я, вставая. — Я должен поговорить с этим человеком. Почему ты ничего ему не ответил? Неужели оттого, что ты дурак, ты должен издохнуть, как мышь под его сапогом? Ты что, даже пискнуть не мог в свою защиту?

— Ты пьян, — отрезал Кернер. — Никто ко мне не обращался.

— Тот, кто лишил тебя разума, — сказал я, — только что стоял рядом с тобой и обрек тебя на гибель. Ты не слепой и не глухой.

— Ничего такого я не заметил, — сказал Кернер. — Я не видел за этим столом никого, кроме тебя. Сядь. Больше ты никогда не получишь абсента.

— Жди меня здесь, — сказал я, взбешенный. — Раз твоя жизнь не дорога тебе, я сам тебя спасу.

Я выскочил на улицу и догнал старика в сером через несколько домов. Он был таким, каким я тысячу раз видел его в воображении, — свирепый,

седой, грозный. Он опирался на белую дубовую палку, и если бы улиц не поливали, пыль так и летела бы у него из-под ног.

Я схватил его за рукав и потащил в темный угол. Я знал, что он — миф, и не хотел, чтобы полисмен застал меня разговаривающим с пустотой — не хватало еще очутиться в больнице «Бельвю», разлученным со своей серебряной спичечницей и бриллиантовым кольцом!

— Джесси Хомз, — сказал я, глядя ему в лицо и симулируя храбрость. — Я вас знаю. Я слышал о вас всю жизнь. Теперь я понял, каким наказанием Божьим вы стали для Юга. Вместо того чтобы истреблять дураков, вы убивали талант и молодость, столь необходимые для жизни народа и его величия. Вы сами дурак, Хомз. Вы начали убивать самых лучших, самых блестящих своих соотечественников три поколения назад, когда старые, обветшалые мерки общественных отношений, приличий и чести были узкими и лицемерными. Вы это доказали, наложив печать смерти на моего друга Кернера, умнейшего парня, какого я когда-либо встречал.

Смерть Дуракам посмотрел на меня пристально и угрюмо.

— Странно на вас действует вино, — сказал он

задумчиво. — Да-да, я вспомнил, кто вы такой. Вы сидели с ним за столиком. Если я не ослышался, его вы тоже называли дураком.

— Называл, — сказал я. — И очень часто. Это от зависти. По всем общепризнанным меркам, он — самый отъявленный, самый болтливый, самый грандиозный дурак на всем свете. Поэтому вы и хотите его убить.

— Не откажите в любезности, — сказал старик, — объясните, за кого или за что вы меня принимаете.

Я громко расхохотался, но тотчас умолк, сообразив, что мне несдобровать, если кто увидит, как я предаюсь шумному веселью в обществе кирпичной стены.

— Вы — Джесси Хомз, Смерть Дуракам, — сказал я очень серьезно, — и вы хотите убить моего друга Кернера. Не знаю, кто вас сюда позвал, но, если вы его убьете, я добьюсь, чтобы вас арестовали. То есть, — добавил я, теряя апломб, — если мне удастся сделать так, чтобы полисмен вас увидел. Они и смертных-то неважно ловят, а уж для того, чтобы изловить убийцу, который — миф, понадобится вся полиция Нью-Йорка.

— Ну, мне пора, — отрывисто произнес Смерть Дуракам. — Ступайте-ка лучше домой да проспи-

тесь. Спокойной ночи.

Я опять испугался за Кернера и перешел на другой тон, более мягкий и смиренный. Припав к плечу старика, я стал его молить:

— Добрый мистер Смерть Дуракам, пожалуйста, не убивайте маленького Кернера! Возвращайтесь лучше к себе на Юг, убивайте там на здоровье конгрессменов и всякую голытьбу, а нас оставьте в покое! Или почему бы вам не пойти на Пятую авеню убивать миллионеров, которые держат свои деньги под замком и не позволяют молодым дуракам жениться, потому что невеста не из того квартала? Пойдем выпьем, Джесси, а потом уж займетесь своим делом.

— Вы знаете эту девушку, из-за которой ваш друг валяет дурака? — спросил Джесси Хомз.

— Я был ей представлен, — отвечал я, — потому и назвал его дураком. Он дурак потому, что до сих пор на ней не женился. Он дурак потому, что все ждал и надеялся на согласие какого-то нелепого дурака с двумя миллионами — не то отца, не то дяди.

— Возможно, — сказал Смерть Дуракам, — возможно, мне следовало посмотреть на это иначе. Вы можете сходить в тот ресторан и привести сюда вашего друга Кернера?

— Что толку, Джесси? — зевнул я. — Он ведь вас не видит. Он даже не знает, что вы говорили с ним за столиком. Вы же вымышленное лицо, сами знаете.

— Может быть, теперь увидит. Приведите его, пожалуйста.

— Хорошо, — сказал я. — Но вы, мне кажется, не совсем трезвы, Джесси. Вы как-то расплываетесь, теряете очертания. Смотрите не исчезните, пока я хожу.

Я вернулся в ресторан и сказал Кернеру:

— Там на улице дожидается один старик с невидимой манией человекоубийства. Он хочет тебя видеть. Кажется, он хочет также тебя убить. Пошли. Ты его все равно не увидишь, так что бояться нечего.

Кернер словно бы обеспокоился.

— Черт возьми, — сказал он, — вот не думал, что один стакан абсента может оказать такое действие. В дальнейшем ты лучше держись пива. Я провожу тебя домой.

Я привел его к Джесси Хомзу.

— Рудольф, — сказал Смерть Дуракам, — я сдаюсь. Приведи ее ко мне. Руку, мальчик.

— Спасибо, папа, — сказал Кернер, пожимая руку старику. — Вы об этом не пожалеете, когда

узнаете ее поближе.

— Так ты его видел, когда он говорил с тобой за столом? — спросил я Кернера.

— Мы уже год как не разговаривали, — сказал Кернер. — Теперь-то все в порядке.

Я пошел прочь.

— Ты куда? — крикнул мне вдогонку Кернер.

— Иду отдаться в руки Джесси Хомзу, — ответил я сдержанно и с достоинством.

Роман биржевого маклера

Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм.

Молодая стенографистка служила у Максуэла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически «помпадур». Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не создавалось такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней сидело простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым

светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания.

Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максуэла — достаточно близко, чтобы он мог ее заметить.

Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Взору представал занятый по горло нью-йоркский маклер — машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.

— Да. Ну? В чем дело? — резко спросил Максуэл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и суровые, сверкнули на нее почти раздраженно.

— Ничего, — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.

— Мистер Питчер, — сказала она доверенному клерку, — мистер Максуэл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?

— Говорил, — ответил Питчер, — он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать

в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас десять сорок пять, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась.

— Тогда я буду работать, как всегда, — сказала молодая женщина, — пока кто-нибудь не заменит меня.

И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место.

Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о «полном часе славной жизни». У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках.

А сегодня у Гарви Максуэла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал непрерывным жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер — кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изоб-

разила нечто вроде оживления.

На бирже в этот день происходили ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максуэл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина.

Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки «под котик» и ожерелье из крупных, как орехи, бус, заканчивающееся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.

— Из стенографического бюро, насчет места, — сказал Питчер.

Максуэл совершил полуоборот; руки его были полны бумаг и телеграфной ленты.

— Какого места? — спросил он, нахмурившись.

— Места стенографистки, — сказал Питчер. — Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку.

— Вы сходите с ума, Питчер, — сказал Максуэл. — Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, Питчер, чтобы больше не присылали, и никого больше ко мне не водите.

Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за здешнюю мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что «старик» с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее.

Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максуэла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максуэла, и он работал на полным ходу, как некая сложная, тонкая и мощная машина; слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и ссуды — это был мир финансов, и в нем не осталось места ни для мира

человека, ни для мира природы.

Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье.

Максуэл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм; за правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха-весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла.

И через окно в комнату забрел, возможно по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее.

Этот аромат принес ее и поставил перед ним — видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в двадцати шагах.

— Клянусь честью, я это сделаю, — сказал маклер вполголоса. — Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я до сих пор этого не сделал.

Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет «донести», пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу.

Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максуэл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо.

— Мисс Лесли, — начал он торопливо, — у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста, — эти негодяи вышибают последний дух из «Тихоокеанских».

— Что вы говорите! — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы меня не поняли? — досадливо спросил Максуэл. — Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать и вот улучил минутку, когда там, в конторе, маленькая передышка. Ну вот, меня опять зовут к телефону… Скажите, чтобы подождали, Питчер… Так как же, мисс Лесли?

Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она

солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею.

— Я поняла, — сказала она мягко. — Это биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера в маленькой церкви за углом.

Через двадцать лет

По улице с внушительным видом двигался постовой полисмен. Внушительность была привычной, не ради зрителей, которые попадались редко. Не пробило еще и десяти часов вечера, но в резких порывах сырого ветра уже чувствовался дождь, и улицы почти опустели.

Проверяя на ходу двери, ловким и замысловатым движением помахивая дубинкой и время от времени бросая зоркие взгляды во все концы своих мирных владений, полисмен, рослый, крепкого сложения, с чуть развязной походкой, являл собой прекрасный образец блюстителя общественного порядка. Жители его участка ложились спать рано. Лишь кое-где еще мелькали огни — в табачном магазине или в ночном баре. Но большинство зданий были заняты под конторы, а те уже давно закрылись.

Не дойдя до половины одного из кварталов, полисмен вдруг замедлил шаги. В темноте, возле входа в магазин скобяных изделий, стоял человек с незажженной сигарой во рту. Как только полисмен направился к нему, незнакомец быстро

заговорил.

— Все в порядке, сержант, — сказал он успокаивающим тоном. — Поджидаю приятеля, только и всего. Насчет этой встречи у нас с ним было условлено двадцать лет тому назад. Вам это кажется несколько странным, не так ли? Ну что ж, если хотите, могу разъяснить, чтобы окончательно вас успокоить. На том самом месте, где теперь этот магазин, стоял раньше ресторан «Большого Джо Брэди».

— Пять лет тому назад, — сказал полисмен, — тот дом снесли.

Человек чиркнул спичкой и зажег сигару. Пламя спички осветило бледное лицо с квадратной челюстью, острым взглядом и маленьким белым шрамом возле правой брови. В кашне сверкнула булавка с крупным брильянтом.

— Сегодня, — продолжал незнакомец, — ровно двадцать лет с того дня, как я ужинал у «Большого Брэди» с Джимом Уэлсом, лучшим моим товарищем и самым замечательным парнем на свете. Мы оба росли здесь, в Нью-Йорке, вместе, как родные братья. Мне сравнялось восемнадцать, а Джиму двадцать лет. Наутро я отправлялся на Запад, искать счастья. Вытащить из Нью-Йорка Джимми было делом безнадежным — он считал,

что это единственное стоящее место на всем земном шаре. Ну, в тот вечер мы и договорились встретиться ровно через двадцать лет — день в день, час в час, — как бы ни сложилась наша жизнь и как бы далеко ни забросила нас судьба. Мы полагали, что за столько лет положение наше определится и мы успеем выковать свое счастье.

— Это все очень интересно, — заговорил полисмен, — хотя, на мой взгляд, промежуток между встречами несколько великоват. И что ж, вы так ничего и не слышали о вашем приятеле с тех пор, как расстались?

— Нет, первое время мы переписывались. Но спустя год или два потеряли друг друга из виду. Запад, знаете ли, пространство не очень маленькое, а я двигался по нему довольно проворно. Но я знаю наверняка: Джимми, если только он жив, придет к условленному месту. На всем свете нет товарища вернее и надежнее. Он не забудет. Я отмахал не одну тысячу миль, чтобы попасть сюда вовремя, и дело стоит того, если только и Джим сдержит слово.

Он вынул великолепные часы — их крышка сверкала мелкими брильянтами.

— Без трех минут десять, — заметил он. — Было ровно десять, когда мы расстались тогда у дверей

ресторана.

— Дела на Западе, полагаю, шли неплохо? — осведомился полисмен.

— О, еще бы! Буду рад, если Джиму повезло хотя бы вполовину так, как мне. Он был немного рохля, хоть и отличный малый. Мне пришлось немало поизворачиваться, чтобы постоять за себя. А в Нью-Йорке человек сидит как чурбан. Только Запад умеет обтесывать людей.

Полисмен повертел дубинкой и сделал шаг вперед.

— Мне пора идти. Надеюсь, ваш друг придет вовремя. Вы ведь не требуете от него уж очень большой точности?

— Ну конечно. Я подожду его еще по крайней мере с полчаса. Если только он жив, к этому времени он уж непременно должен прийти. Всего лучшего, сержант.

— Спокойной ночи, сэр. — Полисмен возобновил свой обход, продолжая по дороге проверять двери.

Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в кар-

маны. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал.

Прошло еще минут двадцать, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым до ушей, торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин.

— Это ты, Боб? — спросил подошедший неуверенно.

— А это ты, Джимми Уэлс? — быстро откликнулся тот.

— Ах бог ты мой! — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. — Ну, ясно как день, это Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь, если только ты еще существуешь на свете. Ну, ну! Двадцать лет — время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как жилось тебе на Западе?

— Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменился, Джим. Мне помнилось, ты был дюйма на два-три ниже.

— Да, я еще подрос немного после того, как мне исполнилось двадцать.

— А как твои дела, Джимми?

— Сносно. Служу в одном из городских учреждений. Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок, мы там с тобой вдоволь наговоримся, вспомним старые времена.

Они пошли, взявшись под руку. Приехавший с Запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал.

На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо.

Человек с Запада вдруг остановился и высвободил руку.

— Вы не Джим Уэлс, — сказал он отрывисто. — Двадцать лет — долгий срок, но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку.

— За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником, — ответил высокий. — Вот что, Шелковый Боб, уже десять минут, как вы находитесь под арестом. В Чикаго так и предполагали, что вы не преминете заглянуть в наши края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами. Вы будете вести себя спо-

койно? Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэлса.

Человек с Запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его, твердая вначале, слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая:

«Боб! Я пришел вовремя к назначенному месту. Когда ты зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском.

Джимми».

Гарлемская трагедия

Гарлем.

Миссис Финк на минутку зашла к миссис Кэссиди, живущей этажом ниже.

— Красотища, да? — спросила миссис Кэссиди. Она горделиво повернулась к подруге, чтобы та могла получше разглядеть ее лицо. Обведенный огромным зеленовато-пурпурным синяком глаз заплыл и превратился в узенькую щелку. Расквашенная губа немного кровоточила, на шее с обеих сторон багровели следы пальцев.

— Мой муж никогда бы себе не позволил так поступить со мной, — сказала миссис Финк, скрывая зависть.

— А я не вышла бы за человека, который бы не колотил меня хоть раз в неделю, — объявила миссис Кэссиди. — Ведь не пустое же я место, как-никак жена. Да уж, ту порцию, что он мне вчера вкатил, никак не назовешь гомеопатической дозой. У меня до сих пор искры из глаз сыплются. Зато теперь он до конца недели будет ублажать меня. Этакий фонарь не обойдется ему дешевле шелковой блузки, а в придачу пусть еще и по

театрам меня поводит.

— Ну а я надеюсь, — с напускным самодовольством сказала миссис Финк, — мой муж слишком джентльмен для того, чтобы поднять на меня руку.

— Ой, да брось ты, Мэгги, — засмеялась миссис Кэссиди, прикладывая к синяку примочку из ореховой коры, — твой муженек просто какой-то замороженный или сонный, где уж ему влепить тебе затрещину. Придет с работы, плюхнется на стул да зашуршит газетой — вот и вся его гимнастика, разве не так?

— Мистер Финк, бесспорно, просматривает по вечерам газеты, — признала, встряхнув головой, миссис Финк. — Но бесспорно и то, что он потехи ради не превращает меня в отбивную котлету — уж чего нет, того нет.

Миссис Кэссиди издала воркующий смешок счастливой и уверенной в себе матроны. С видом Корнелии, указующей на свои украшения, она отвернула ворот халата, обнажив еще один бережно лелеемый кровоподтек, пунцовый, с оливково-оранжевой каймой, уже почти невидимый, но дорогой как память.

Миссис Финк пришлось капитулировать. Ее настороженный взгляд смягчился, выражая те-

перь откровенное завистливое восхищение. Они ведь с миссис Кэссиди были старые подружки, вместе работали на картонажной фабрике, пока год назад не повыходили замуж и не поселились в этом доме: Финки — наверху, а Мэйм с мужем прямо под ними. Так что с Мэйм ей задаваться не стоило.

— И больно он тебя лупцует? — с интересом спросила миссис Финк.

— Больно ли? — прозвенела восторженная колоратура. — Падал на тебя когда-нибудь кирпичный дом? Точно так, ну, точнехонько так себя чувствуешь, когда тебя выкапывают из-под развалин. Если Джек ударит левой — это уж наверняка два дневных спектакля и новые полуботиночки, ну а правой… тут можно смело запрашивать поездку на Кони-Айленд плюс шесть пар ажурных фильдеперсовых чулок.

— Да за что же он тебя колотит? — расспрашивала миссис Финк, широко раскрыв глаза.

— Вот дурочка, — снисходительно сказала миссис Кэссиди. — Просто спьяну. Это ведь у нас почти всегда случается в субботу вечером.

— А какие ты ему даешь поводы? — не унималась любознательная миссис Финк.

— Здрасьте вам, да разве я ему не жена? Джек

придет домой под мухой, а дома его кто встречает? Попробовал бы он только поколотить какую-нибудь другую. Уж я бы ему показала. Иной раз он делает мне выволочку, потому что не поспела с ужином; в другой раз — потому что поспела. Джеку любой повод хорош. Наклюкается, потом вспомнит, что у него есть жена, и спешит домой меня разукрасить. По субботам я уж загодя сдвигаю мебель, чтобы не разбить голову об острые углы, когда он начнет орудовать. Левый свинг у него — просто дух захватывает. Иногда я в нокауте после первого раунда; ну а если мне охота недельку поразвлекаться или обзавестись каким-нибудь новым барахлишком, я встаю и получаю все сполна. Вот как вчера. Джек знает, что я уже месяц мечтаю о шелковой синенькой блузке, а за такую одним синяком, ясное дело, не расквитаешься. Но вот, спорим на мороженое, Мэг, нынче вечером он мне ее притащит.

Миссис Финк погрузилась в задумчивость.

— Мой Мартин, — сказала она, — ни разу меня пальцем не тронул. Но ты верно заметила, Мэйм: кислый он какой-то, из него и словечка не вытянешь. Мы никуда не ходим. Дома от него никакого толку. Он мне, правда, покупает разные вещи, но с таким брюзгливым видом, что пропа-

дает все удовольствие.

Миссис Кэссиди обняла подругу.

— Бедняжка! — сказала она. — Но не может же каждая женщина иметь такого мужа, как Джек. Если бы все были такие, то неудачных браков вообще не осталось бы. Всем недовольным женам только одно и нужно: чтобы раз в неделю муж задавал им хорошую трепку, а потом расплачивался за нее поцелуями и шоколадными тянучками. Вот тогда бы они сразу ожили. По мне, уж если муж — так муж; пьяный — тряси жену, как грушу, трезвый — люби ее, как душу. А который ни того, ни другого не может, мне и даром не нужен!

Миссис Финк вздохнула.

Прихожая и коридор внезапно огласились шумом. Дверь распахнулась: ее толкнул ногой мистер Кэссиди, — руки у него были заняты свертками. Мэйм бросилась ему на шею. Ее неподбитый глаз сверкнул нежностью, как у юной девицы племени маори, когда, очнувшись, она видит перед собой своего воздыхателя, который втащил ее в хижину, оглушив перед этим внезапным ударом.

— Привет, старушка! — гаркнул мистер Кэссиди. Усеяв пол россыпью свертков, он подхватил

жену в могучие объятия. — Я принес билеты в цирк, а если ты взломаешь один из этих свертков, ты, пожалуй, найдешь ту шелковую блузку… а, добрый вечер, миссис Финк, не заметил вас сразу. Как поживает старина Март?

— Превосходно, мистер Кэссиди, спасибо, — сказала миссис Финк. — Мне пора уходить. Март вот-вот вернется, надо подать ему ужин. Завтра я занесу тебе выкройку, которую ты просила, Мэйм.

Поднявшись в свою квартирку, миссис Финк прослезилась. Она заплакала, сама не зная почему; так плачут только женщины, плачут без особой причины, плачут попусту; в каталоге горя эти слезы самые безутешные, хотя просыхают быстрей остальных. Почему Мартин ее никогда не колотит? Он такой же большой и сильный, как Джек Кэссиди. Неужели она ничего не значит для него? Он никогда с ней не бранился: придет, сядет сложа руки и молчит. Зарабатывает он неплохо, но совершенно не ценит того, что придает вкус жизни.

Корабль ее мечты попал в штиль. Капитан курсировал между вареным пудингом с корицей и подвесной койкой. Пусть бы уж отдал концы или хоть изредка задавал команде взбучку. А ей грези-

лось такое веселое плавание с заходом в каждый порт на островах Услады! Но сейчас — сменим метафору — измотанная тренировочными поединками со спарринг-партнером — она была готова признать себя побежденной, не получив ни царапины. На миг она чуть не возненавидела Мэйм, Мэйм, прикладывающую к синякам и ссадинам бальзам обновок и поцелуев и кочующую по бурному морю жизни с драчливым, грубым и любящим спутником.

Мистер Финк явился в семь, проштемпелеванный печатью домоседства. Его не тянуло вдаль из дома, где все мило, знакомо, привычно. Он был подобен человеку, успевшему вскочить в трамвай, анаконде, проглотившей свою жертву, лежачему камню.

— Вкусно, Март? — спросила миссис Финк, весь свой пыл вложившая в приготовление ужина.

— М-м-мда, — буркнул мистер Финк.

Поужинав, он углубился в чтение газет. Он сидел в носках, без ботинок.

Восстань, о новый Данте, и воспой закоулок ада, уготованный для человека, сидящего дома в носках! А вы, мученицы семейных уз и долга, стойко прошедшие сей искус шелковых, нитяных, хлопчатобумажных, шерстяных и фильдеперсовых,

неужели отринете вы новую песнь?

Назавтра был День труда. Мистеру Кэссиди и мистеру Финку предстоял круглосуточный отдых. Труд готовился к триумфальному шествию по городу и к прочим забавам.

С утра миссис Финк отнесла миссис Кэссиди выкройку. Мэйм уже надела новую блузку. Даже ее подбитый глаз излучал праздничное сияние. Джек, чье раскаяние обрело практические формы, предложил захватывающую программу дня, включавшую прогулки в парках, пикники и пиво.

Кипя завистливым негодованием, миссис Финк возвратилась наверх. Счастливица Мэйм, на чью долю так обильно выпадают синяки, за которыми так быстро следует примочка. Но неужели счастье выпало лишь ей одной? Где сказано, что Мартин Финк хуже Джека Кэссиди? Так почему его жене навеки оставаться необласканной и небитой? Мысль, блистательная и дерзкая, внезапно осенила миссис Финк. Она докажет Мэйм, что и другие мужья умеют поработать кулаками и приласкать потом жену не хуже, чем какой-то Джек.

Праздник у Финков ожидался чисто номинальный. На кухне с вечера мокло в лоханках

накопленное за полмесяца белье. Мистер Финк сидел в носках, читая газету. Так и должен был, по-видимому, пройти День труда.

В груди миссис Финк вздымалась зависть и, захлестывая эту зависть, — отчаянная решимость. Если муж не желает ее ударить, если он не желает таким образом подтвердить свое мужское достоинство, свои прерогативы и уважение к семейному очагу, его нужно подтолкнуть к исполнению долга.

Мистер Финк закурил трубку и безмятежно поскреб лодыжку пальцем другой затянутой в носок ноги. Он застыл в рамках семейного уклада, как застывает на корочке пудинга прозрачный жир. Вот так и мыслился ему его монотонный элизиум — обозревать компактно втиснутый в газетные столбцы далекий мир под уютные всплески мыльной воды в лоханках и круговерть приятных запахов, свидетельствующих о том, что завтрак убран со стола, а обед уже близок. Можно назвать немало мыслей, никогда не приходивших ему в голову, но особенно далек он был от идеи поколотить жену.

Миссис Финк отвернула кран с горячей водой и погрузила в пену стиральную доску. Снизу послышался радостный смех миссис Кэссиди.

Он прозвучал издевательством, словно Мэйм рисовалась своим счастьем перед обойденной супружескими кулаками подругой. И миссис Финк решила: пора!

Словно фурия, накинулась она на мужа.

— Лодырь несчастный! — крикнула она. — Вожусь, обстирываю тут его, пугало, так что чуть руки не отваливаются, а ему наплевать. Муж ты мне или чурбан бесчувственный?

Мистер Финк, окаменев от изумления, выронил газету. Миссис Финк, боясь, что недостаточно раззадорила мужа и он не рискнет ее ударить, сама подскочила к нему и нанесла сокрушительный удар в челюсть. В этот миг ее охватил прилив столь страстной любви к мужу, какой она давно уже не испытывала. Встань, Мартин Финк, и осуществи свои суверенные права! Ей нужно, ей необходимо было почувствовать тяжесть его кулака… ну, просто чтобы знать, что он ее любит… ну, просто чтобы знать это.

Мистер Финк вскочил — Мэгги живо наградила его еще одним размашистым свингом в челюсть. Потом, закрыв глаза и обмирая от страха и счастья, она ждала, шептала про себя его имя и даже подалась вперед — навстречу вожделенному тумаку.

Этажом ниже мистер Кэссиди с пристыженным и смущенным видом запудривал синяк под глазом жены, готовясь к выходу в свет.

Внезапно наверху раздался пронзительный женский голос, затем стук, топот, возня, грохот опрокинутого стула — несомненные признаки семейного конфликта.

— Март и Мэг затеяли поединок? — оживился мистер Кэссиди. — Не знал, что они этим развлекаются. Сбегать, что ли, взглянуть, не нужен ли им секундант?

Один глаз миссис Кэссиди заискрился, как бриллянт чистой воды. Второй блеснул… ну, скажем, как фальшивый.

— О-о… — негромко протянула она с непостижимым для мужа волнением. — Стой-ка, стой-ка… Лучше я сама схожу к ним, Джек.

Она вспорхнула по ступенькам. Едва она вступила в пределы коридора, как из кухни вихрем вылетела миссис Финк.

— Ну что, Мэгги, — восторженным шепотом вскричала миссис Кэссиди. — Он решился?

Миссис Финк, подбежав к подруге, уткнулась лицом ей в плечо и горько разрыдалась.

Миссис Кэссиди нежно отстранила от себя головку Мэгги и заглянула ей в лицо. Распухшее

от слез, оно то вспыхивало, то бледнело, но бархатистую, бело-розовую, в меру присыпанную веснушками гладь не расцветила ни синяком, ни царапиной трусливая длань мистера Финка.

— Ну, скажи мне, Мэгги, — взмолилась Мэйм, — или я войду туда и все сама узнаю. Что у вас случилось? Он обидел тебя? Как?

Миссис Финк в отчаянии поникла головой на грудь подруги.

— Не заглядывай ты туда, ради бога, — всхлипнула она. — И не вздумай кому-нибудь проболтаться, слышишь? Он и пальцем меня не тронул… он… Господи боже… он там стирает… он стирает белье.

По следам убийцы, или Тайна улицы Пешо

Париж, полночь. На темных водах Сены, таинственно струящихся мимо Вандомской площади и черных стен монастыря Нотр-Дам, играют блики фонарей, бесконечной цепочкой протянувшихся вдоль Елисейских Полей и Больших бульваров.

Великая французская столица не спит.

В этот час миром правят зло, преступление и грех.

Сотни фиакров бешено проносятся по улицам, доставляя домой из оперных и концертных залов усыпанных драгоценностями женщин, прекрасных, как мечта, а в миниатюрных, похожих на бонбоньерки ложах кафе «Ту ле Тан» ужинают, смеются, острят, перебрасываясь бонмо, колкостями, шутками, рассыпая жемчужины мысли и тонкой беседы. Роскошь и нищета шагают по улицам бок о бок. Бездомный гамен, выклянчивающий су на ночлег, и расточительный повеса, швыряющий на ветер золотые луидоры, проходят по одним и тем же тротуарам.

В час, когда другие города погружены в сон, Париж окунается в водоворот веселья.

Первое действие нашей драмы разыгрывается в погребке на улице Пешо.

Густая пелена табачного дыма от бесчисленных трубок застит свет. Воздух — сгусток множества зловонных дыханий. Мерцающее пламя единственного газового рожка тускло освещает сцену, достойную кисти Рембрандта, или Морленда, или Кейзеля.

Гарсон разливает по выщербленным чайным чашкам скудные порции абсента и обносит ими тех членов этого разношерстного сборища, которые в состоянии наскрести в кармане несколько су.

Прислонившись к стойке бара, стоит Канайя Крюшон, более известный под кличкой Серый Волк.

Это самый плохой человек в Париже.

Рост его превышает четыре фута десять дюймов; острый хищный профиль и буйная масса серых всклокоченных волос на голове и на лице заслужили ему это страшное прозвище.

Его полосатая блуза расстегнута на груди и небрежно заправлена в грязные кожаные штаны. Из-за пояса торчит рукоятка не знающего поща-

ды ножа. Один удар его острого лезвия мгновенно вскрывает любую коробку лучших французских сардин.

— Voilà[3], Серый Волк! — восклицает бармен Кухо. — Сколько жертв на твоем счету сегодня? Что-то я не вижу крови у тебя на руках. Неужто Серый Волк разучился кусаться?

— Sacre Bleu, Mille Tonnerre[4], черт подери! — скрежеща зубами, произносит Серый Волк. — Вы что-то слишком расхрабрились, мсье Кухо, кто вам позволил так разговаривать со мной? Клянусь преисподней, я сегодня даже не обедал. Какая там добыча! В Париже просто житья не стало. За две недели мне удалось придушить и ограбить одного-единственного богатого американца.

А все эти демократы! Они погубят страну. С этим своим подоходным налогом и свободой торговли они совсем расшатали крупный капитал. Carramba! Diable![5] Провалиться им!

— Шшш! — зашипел вдруг старьевщик Шампа-

---

[3] Примечания: 3
Здесь: послушай (*фр.*).

[4] Примечания: 4
Французские ругательства.

[5] Примечания: 5
Испанское и французское ругательства.

ни, обладатель капитала в двадцать миллионов франков. — Кто-то идет сюда!

Дверь погребка отворяется, и какой-то мужчина, мягко ступая, спускается по шатким ступенькам. Все в безмолвном оцепенении наблюдают за ним.

Мужчина подходит к стойке бара, кладет на нее свою визитную карточку, заказывает стакан абсента, достает из кармана маленькое зеркальце, устанавливает его на стойке и принимается прилаживать себе фальшивую бороду и парик и рисовать углем морщины, быстро превращаясь в старика семидесяти одного года от роду.

После чего, забившись в самый темный угол, он начинает следить оттуда за всеми, зыркая по сторонам острыми, как у хорька, глазами.

Серый Волк крадучись приближается к стойке и впивается взглядом в визитную карточку, оставленную незнакомцем.

— Святая преподобная Брижитта! — восклицает он. — Да это же Тикток, сыщик!

Минуту спустя в погребок входит очень красивая женщина.

Изнеженная, выросшая в холе, привыкшая к самой изысканной роскоши, какую можно приобрести за деньги, эта женщина на заре своей

юности бежала из монастыря Святой Сюзанны де ла Монтард с Серым Волком, пленившись его бесчисленными преступлениями и его профессией, не позволявшей ему скрипеть башмаками в прихожей и храпеть в постели.

— Parbleu[6], Мари! — зарычал Серый Волк. — Que voulez vous? Avezvous le beau cheval de mon frère, ou le joli chien de votre père?[7]

— О нет, нет, Серый Волк! — возопило разноликое сборище плутов, убийц и карманников, ибо даже их зачерствелые сердца содрогнулись от этих ужасных слов. — Mon Dieu![8] Ты не можешь быть столь жесток!

— Tiens![9] — огрызнулся обезумевший от ярости Серый Волк, и нож блеснул в его руке. — Voilà! Canaille! Tout le monde, carte blanche enbonpoint sauve que peut entre nous revenez nous à nos

---

[6] Примечания: 6
Французское ругательство.

[7] Примечания: 7
Чего вы хотите? Есть ли у вас красивая лошадь моего брата или хорошенькая собачка вашего отца? (*Пародируются фразы из учебника французского языка.*)

[8] Примечания: 8
Боже мой! (*фр.*)

[9] Примечания: 9
Здесь: вот как! (*фр.*)

moutons![10]

Испуганные санкюлоты отпрянули в ужасе, а Серый Волк, схватив Мари за волосы, рассекает ее на двадцать девять абсолютно равновеликих кусков.

Наступает могильная тишина. Серый Волк еще стоит с окровавленными руками над трупом, а седобородый старик, наблюдавший эту сцену, срывает с себя фальшивую бороду и парик, и убийца видит перед собой знаменитого французского сыщика по имени Тикток.

Безмолвные и остолбеневшие, взирают завсегдатаи погребка на величайшего из современных сыщиков, приступившего к выполнению своего профессионального долга.

Он же первым делом принимается измерять рулеткой расстояние от трупа убитой женщины до стены; затем записывает фамилию бармена и день, месяц и год, когда было совершено преступление. После чего, достав из кармана сильный микроскоп, тщательно изучает каплю крови, взятую из растекшейся по полу лужи.

— Mon Dieu! — бормочет великий сыщик. — Это именно то, что я предполагал и чего опасался,

---

[10] Примечания: 10
Бессвязный набор французских слов и ходовых выражений.

— это человеческая кровь!

И, быстро записав в свой блокнот результаты проведенного расследования, великий сыщик покидает погребок.

Он спешит в главное управление парижской жандармерии, но внезапно застывает на месте, досадливо хлопнув себя по лбу.

— Mille tonnerre! — бормочет он. — Мне же следовало спросить имя этого человека с ножом в руке!

Герцогиня Валери дю Бельведер дает прием у себя во дворце.

Покои залиты мягким светом парафиновых свечей в тяжелых серебряных канделябрах. Здесь собралась вся знать и все богачи Парижа.

Из-за портьеры льется музыка четырех духовых оркестров, исполняющих популярную мелодию «Кто в лес, кто по дрова». Лакеи в расшитых позументом ливреях бесшумно разносят кружки с пивом и выносят яблочную кожуру, которую гости бросают на ковер.

Валери, седьмая герцогиня дю Бельведер, окруженная красивейшими, храбрейшими и умнейшими представителями столичной знати, возлежит на оттоманке литого золота, откинувшись на подушки из гагачьего пуха.

— Ах, мадам, — говорит принц Шампиньон из Палэ Руаяль, угол Семьдесят третьей улицы, — как сказал Монтескьё: «Rien de plus bon tutti frutti»[11] — вы сама молодость. Сегодня в вашем салоне нет никого красивее и остроумнее вас. Я едва могу поверить своим глазам, когда вспоминаю, что тридцать один год тому назад вы…

— Полно вздор-то молоть! — властно говорит герцогиня.

Принц отвешивает низкий поклон и, вытащив усыпанный брильянтами кинжал, наносит себе смертельный удар в сердце.

— Немилость вашей милости страшнее смерти, — говорит он, берет свое пальто и шляпу с каминной полки и покидает зал.

— Voilà, — говорит Бэбэ Франкмассон, лениво обмахиваясь веером. — Все мужчины на один лад. Льстите им, и они будут целовать вам ручки. Ослабьте хоть на миг шелковые вожжи тщеславия и самомнения, которыми вы держите их в плену, и эти сукины дети уже плевать на вас хотели. А по мне, так ну и черт с ними.

— Ах, принцесса, — со вздохом произносит граф Пумперникель и, наклонившись к принцессе,

---

[11] Примечания: 11
«Нет ничего лучше тутти-фрутти» (*фр.*).

шепчет ей на ухо, пожирая ее глазами: — Вы слишком беспощадны к нам. Бальзак говорит: «Женщина — это то, чем ни одно живое существо не может быть по отношению к другому». Неужели вы с ним не согласны?

— А, бросьте, — говорит принцесса. — Философия мне приелась. Пошли вы с ней!..

— Так пошли, что ль, отсюда? — говорит граф.

Рука об руку они выходят и направляются в игорный дом.

Арманда де Флердоранж, юная меццо-балерина из «Фоли-Бержер», готовится петь.

Слегка откашлявшись, она кладет объемистый кусок жевательной резинки на крышку рояля, так как по залу уже разносятся звуки аккомпанемента.

Сейчас она запоет. Герцогиня дю Бельведер, хищно вцепившись в подлокотники оттоманки, впивается в певицу остекленевшим от напряжения взором.

Она затаила дыхание.

Арманда де Флердоранж, не издав ни звука, шатается и, смертельно побледнев, как подкошенная падает замертво на пол. Герцогиня испускает вздох облегчения.

Она ее отравила.

Потрясенные гости, едва дыша, толпятся вокруг рояля, и по телам их пробегает дрожь, когда они, взглянув на стоящие на пюпитре ноты, видят, что романс, который не успела спеть балерина, называется «Красотка Мари».

Двадцать минут спустя темная, закутанная в плащ фигура выходит из ниши в сводчатой стене Триумфальной арки и быстрым шагом устремляется в северном направлении.

Мы видим, что это не кто иной, как сыщик Тикток.

Сеть улик все туже затягивается вокруг убийцы Мари Крюшон.

На колокольне собора Нотр-Дам часы показывают полночь.

В других расположенных поблизости пунктах точно такое же время суток.

Шпиль собора возносится на 20 000 футов над мостовой, и случайный прохожий, быстро произведя в уме простое арифметическое действие, легко может установить, что собор этот по крайней мере вдвое выше других соборов, насчитывающих в высоту всего 10 000 футов.

На верхушке шпиля имеется небольшой деревянный помост, на котором может поместиться не более одного человека.

На этой утлой конструкции, приходящей в колебательное движение от самого легкого ветерка, притулилась закутанная до бровей фигура человека, загримированного под оптового торговца бакалеей.

Старик Франсуа Бонбаллон, знаменитый астроном, изучая звездные миры из своего чердачного окошка на Рю де Болонь, содрогнулся от ужаса, случайно направив свой телескоп на одинокую фигуру на макушке шпиля.

— Sacre Bleu! — прошипел он сквозь свои новые зубы из целлулоида. — Это же Тикток, сыщик. Хотел бы я знать, за кем он на этот раз охотится!

Тикток острым рысьим взглядом окидывает холм Монмартра и внезапно слышит тяжелое дыхание у себя за спиной. Мгновенно обернувшись, он встречает устремленный на него бешеный взгляд Серого Волка.

Канайя Крюшон, прикрепив к ногам патентованные монтерские когти «Уорлд Юнайтед Телеграф Компани», вскарабкался на шпиль собора.

— Parbleu, мсье, — говорит Тикток. — Кому я обязан честью этого визита?

Серый Волк улыбается — мягко и слегка пренебрежительно.

— Вы Тикток, сыщик? — говорит он.

— Да, это я.

— Тогда слушайте: я убийца Мари Крюшон. Она была моей женой. У нее были холодные ноги, и она ела лук. Что мне еще оставалось делать? Но жизнь манит меня. Я не хочу на гильотину. Я узнал, что вы напали на мой след. Верно ли, что расследование убийства поручено вам?

— Да, это так.

— Хвала Создателю, тогда я спасен.

Серый Волк тщательно поправляет когти на ногах и спускается вниз.

Тикток достает из кармана блокнот и что-то в него записывает.

— Наконец, — произносит он вслух, — у меня есть ключ к разгадке тайны.

Граф Канайя Крюшон, известный когда-то под кличкой Серый Волк, стоит в роскошной гостиной своего дворца на Восточной Сорок седьмой улице.

Спустя три дня после сделанного им сыщику признания он случайно заглянул в карманы выброшенной за непригодностью пары брюк и обнаружил там двадцать миллионов франков золотыми монетами.

Внезапно дверь распахивается, и сыщик Тикток

с дюжиной жандармов возникает на пороге.

— Я пришел вас арестовать, — говорит сыщик.

— На каком основании?

— По обвинению в убийстве Мари Крюшон в ночь на семнадцатое августа.

— Какие у вас улики?

— Я видел это собственными глазами, а затем вы сами признались мне во всем на шпиле собора Нотр-Дам.

Расхохотавшись, граф достает из кармана какую-то бумажку.

— Прочтите, что здесь написано, — говорит он. — Вот вам неопровержимое доказательство того, что Мари Крюшон умерла от разрыва сердца.

Сыщик Тикток смотрит на бумажку.

Это чек на 100 000 франков.

Тикток мановением руки повелевает жандармам удалиться.

— Мы допустили ошибку, господа, — говорит он и, повернувшись, направляется к двери, но граф Канайя преграждает ему путь.

— Одну минуту, мсье, — говорит он.

Граф Канайя срывает с себя фальшивую бороду, и мы видим сверкающий взгляд и всемирно известные черты знаменитого сыщика Тиктока.

А затем, прыгнув вперед, он срывает парик и

накладные брови со своего посетителя, и перед ним, скрежеща зубами в бессильной ярости, стоит Серый Волк.

Тайна убийства Мари Крюшон так никогда и не была раскрыта.

Одиноким путем

Я увидел, как мой старинный приятель, помощник шерифа Бак Капертон — суровый, неукротимый, всевидящий, кофейно-коричневый от загара, при пистолете и шпорах, — прошел в заднюю комнату здания суда и, звякнув колесиками шпор, погрузился в кресло.

И поскольку суд в этот час пустовал, а Бак мог иной раз порассказать кое-что не попадающее в печать, я последовал за ним и, будучи осведомлен об одной его маленькой слабости, вовлек его в беседу. Дело в том, что самокрутки, свернутые из маисовой шелухи, были для Бака слаще меда, и хотя он умел мгновенно и с большой сноровкой спустить курок сорокапятикалиберного, свернуть самокрутку было выше его возможностей.

Никак не по моей вине (ибо самокрутки у меня всегда получались тугие и ровные), а в силу какой-то непонятной причуды самого Бака мне на сей раз пришлось выслушать не увлекательную одиссею чапарраля, а... диссертацию на тему супружеской жизни! И не от кого другого, как от Бака Капертона! Самокрутки же мои, повторяю,

были безупречны, и я требую признания моей невиновности.

— Сейчас приволокли сюда Джима и Бэда Гранбери, — сказал Бак. — Ограбление поезда, слыхал? В прошлом месяце они задержали арканзасский пассажирский. Мы накрыли их на двадцатой миле — в кактусовых зарослях на южном берегу Нуэсеса.

— Верно, нелегко было их стреножить? — спросил я, предвкушая эпический сказ о битве, которого жаждал мой уже взыгравший аппетит.

— Попотели, — сказал Бак и на минуту умолк, а за это время мысли его сбились с дороги. — Чудной народ женщины, — сказал он. — И какое им отвести место, хотя бы, скажем, в ботанике? На мой лично взгляд, они нечто вроде дурман-травы. Видал ты когда-нибудь лошадь, которая нажралась дурман-травы? Сядь-ка в седло и скачи на ней к любой луже в два фута шириной. Она тут же расфыркается и начнет оседать на задние ноги. Эта лужа покажется ей шире Миссисипи. А в другой раз та же лошадь спустится в каньон в тысячу футов глубиной, словно он не глубже сусликовой норки. Так же вот и с женатым человеком.

Я, понимаешь, думаю о Перри Раунтри, который был моим бессменным правым крайним,

пока не покончил жизнь супружеством. В ту пору мы с Перри возражали против всякой оседлости. Нас с ним иной раз швыряло то туда, то сюда, и мы такой подымали шум, что будили каждое окрестное эхо и задавали ему работу. Да, когда нам с Перри хотелось хорошенько разгуляться в каком-нибудь поселке, это был настоящий праздник для переписчиков населения. Они просто прикидывали, какой потребуется наряд полицейских, чтобы призвать нас к порядку, и получали количество всего населения. Ну а потом явилась эта особа — Марианна Гуднайт, глянула из-под ресниц на моего Перри, и он, прежде чем ты успел бы освежевать годовичка, дал себя взнуздать и пошел как миленький под седло.

А меня даже на свадьбу не позвали. Я так понимаю, что невеста с ходу проработала всю мою родословную и наружный фасад моих привычек и рассудила про себя, что Перри сноровистей побежит в парной упряжке, если никакой неправоверный мустанг вроде Бака Капертона не будет ржать в окрестностях супружеского кораля. Так что прошло не меньше полугода, прежде чем я снова свиделся с Перри.

Как-то раз иду я окраиной поселка и вижу: в маленьком садике возле маленького домика

какое-то подобие человеческого существа с лейкой в руке поливает розовый куст. Показалось мне, будто видел я уже где-то это создание, и я остановился у калитки и стал припоминать, под каким оно прежде ходило тавром. Нет, это был не Перри Раунтри, а то прокисшее рыбное желе, в которое превратила его женитьба.

Человекоубийство — вот что эта Марианна над ним учинила! Выглядел он ничего, неплохо, но был, понимаешь, при белом воротничке и в ботиночках, и с первого взгляда становилось видно, что разговор у него вежливый и налоги он платит исправно, а когда пьет, мизинчик отставляет, совсем как овцевод какой-нибудь или хиляк городской. Клянусь прахом моей прапрапрабабушки, противно мне было видеть, до чего этот Перри стал цивилизованный.

Подходит он к калитке, пожимает мне руку, а я этак с насмешкой хриплю, словно хворый попугай:

— Прошу прощения… Мистер Раунтри, если не ошибаюсь? Имел когда-то удовольствие вращаться в вашем развращающем обществе, если память мне не изменяет?

— Да пошел ты к черту, Бак, — вежливо, как я и опасался, отвечает Перри.

— Ладно, — говорю я, — скажи ты мне, жалкий комнатный ублюдок, несчастный придаток садовой лейки, на кой ляд тебе это понадобилось — так над собой надругаться? Ты только погляди на себя — какой ты весь приличный и богобоязненный! Да ты ж теперь годишься только на то, чтобы заседать в суде присяжных или навешивать дверь в дровяном сарае. А ведь ты был мужчиной когда-то! Я таких перебежчиков не терплю. Чего ты торчишь здесь, на ветру, — шел бы в дом, пересчитал салфеточки, завел бы часики. А то, гляди, забежит ненароком дикий кролик, еще укусит, пожалуй.

— Послушай, Бак, — говорит Перри, кротко так и вроде бы огорченно, — ты не понимаешь. Женатый человек, хочешь не хочешь, становится другим. В нем уже не то нутро, как в таком старом добром перекати-поле, как ты. Можно, конечно, вывернуть наизнанку какой-нибудь поселок, чтобы поглядеть, чем он снизу подбит, можно сорвать банк в фараон или напиться в стельку, да только не грешно ли без толку предаваться таким беспокойным занятиям?

— Было время, — говорю я и, кажется, испускаю при этом глубокий вздох, — было время, когда один пасхальный ягненочек, которого я мог бы

даже назвать по имени, имел большой опыт по части разных греховных развлечений. Вот уж не думал, Перри, что ты можешь так опуститься и из хорошего, чумового забулдыги превратиться в этакие жалкие ошметки мужчины. Глянь, — говорю я, — ведь ты даже галстук нацепил! И несешь разную слюнявую околесицу, ровно лавочник какой или леди. По-моему, ты уже способен ходить с зонтиком и в подтяжках и, чуть свечереет, плестись домой.

— Моя женушка, — говорит Перри, — пожалуй, и в самом деле произвела во мне кое-какие усовершенствования. Тебе не понять этого, Бак. С тех пор как мы поженились, не было еще такого случая, чтобы я не ночевал дома.

Мы с ним потолковали еще малость, и не сойти мне живым с места, если этот человек не прервал меня прямо на полуслове, чтобы сообщить мне, что он вырастил шесть кустов помидоров у себя на огороде. Он даже принялся совать мне под нос плоды своего сельскохозяйственного падения, как раз когда я пытался рассказать ему, как мы здорово повеселились в кабачке у Пита-калифорнийца — вымазали дегтем и вываляли в перьях одного хорошо нам знакомого карточного шулера! Однако мало-помалу Перри начал выказывать

некоторые проблески здравого смысла.

— Правду сказать, Бак, — говорит он, — порой, конечно, бывает скучновато. Ты не подумай худого — я с моей женушкой живу как в раю, но мужчине, видать, все же необходимо иной раз встряхнуться. Вот что я тебе скажу: Марианна сегодня пошла в гости и вернется домой к семи часам. Это у нас с ней так заведено — до семи, и крышка. Ни она, ни я никогда нигде не задерживаемся после семи часов — разве что вместе. Я рад, что ты завернул ко мне, Бак, — говорит Перри. — Мне что-то захотелось еще разок поднять дым коромыслом в память о прежних веселых денечках. Что скажешь, если мы с тобой скоротаем сегодня вместе время до вечера? По мне, так это было бы славно, — говорит он.

Я шлепнул по плечу этого заарканенного объездчика кухонной плиты так, что он отлетел к противоположной изгороди своего огородика.

— Надевай шляпу, ты, старый, высушенный аллигатор! — заорал я. — Похоже, ты еще не совсем помер. В тебе еще сохранилось что-то человеческое, хоть ты и погряз с головой в супружеской трясине. Мы с тобой сейчас разберем этот поселок по винтику и поглядим, отчего он тикает. Мы заставим показать высокий класс в искусстве

откупоривания бутылок. Ты у меня еще набьешь себе мозоли, старая ты комолая корова, — сказал я, саданув Перри под ребра, — если снова пробежишься со своим дядюшкой Баком древней стезей порока.

— Только я должен воротиться домой к семи часам, — ладил свое Перри.

— А то как же, — сказал я, подмигнув самому себе. Мне ли было не знать, к каким это семи часам может воротиться домой Перри Раунтри, если он начнет точить лясы с барменами.

Мы с Перри зашагали к салуну «Серый Мул» — к этой старой глинобитной хибаре возле станции.

— Заказывай, — сказал я, как только мы поставили по одному копыту на приступку у стойки.

— Мне воды с сарсапарилловым сиропом, — говорит Перри.

Поверишь ли, я чуть языка не лишился.

— Валяй, оскорбляй меня, не стесняйся! — говорю я ему. — Но зачем же так пугать бармена? Может, у него больное сердце. Ладно, ты, верно, оговорился. Два высоких стакана, — это я бармену, — и вон ту бутылку со льда, из левого угла морозильника.

— Мне с сиропом, — повторяет Перри, и вдруг глаза у него загораются, и я вижу, что в мозгу его

родилась какая-то великая идея и ему не терпится ее обнародовать. — Бак, — говорит он, а сам аж пузырится весь от радости, — знаешь, что я удумал? Давай-ка мы устроим себе праздник! Я малость засиделся дома, мне необходимо проветриться. И мы с тобой так тряхнем стариной, что только держись! Мы сейчас пойдем в заднюю комнату и засядем там за шашки ровно до половины седьмого.

Я прислонился к стойке и сказал Майку Рваное Ухо, который в тот день держал вахту:

— Упаси тебя господь проговориться кому-нибудь про то, что ты здесь слышал. Ты же помнишь, каков был наш Перри! А теперь он переболел лихорадкой, и доктор говорит, что его пока что надо ублажать.

— Дай-ка нам шашки и доску, Майк, — говорит Перри. — Пошли, Бак, я уже ног под собой не чую, так мне хочется разгуляться!

Я пошел в заднюю комнату следом за Перри. Прежде чем затворить за собой дверь, я сказал Майку:

— Похорони навек у себя под шляпой, что ты видел, как Бак Капертон водил компанию с сарсапарилловым сиропом и шашками, если не хочешь, чтобы я сделал двузубую вилку из твоего

второго уха.

Я запер дверь, и мы с Перри принялись за игру. Клянусь, простая овчарка и та заболела бы от унижения, доведись ей увидеть, как этот несчастный, затюканный антикварный предмет домашнего обихода радостно хихикал всякий раз, когда ему удавалось съесть у меня шашку, или омерзительно ликовал, проходя в дамки. Ведь этот человек не мог, бывало, успокоиться, пока не выиграет в лото сразу на шести картах или не доведет до нервного шока банкомета, и теперь, видя, как он, словно Салли Луиза на школьном празднике, аккуратно передвигает шашки, я чуть не плакал от сострадания.

Сижу я этак с ним, играю черными, весь в поту от страха, что кто-нибудь из знакомых про это узнает, и размышляю над брачным вопросом. Да, думаю, мало что, видать, изменилось в этих делах со времен миссис Далилы. Она взяла да и обкорнала своего муженька, а кто ж не знает, на что становится похож мужчина, если над его головой поработает женщина! И вот, когда фарисеи пришли над ним поиздеваться, его так замучил стыд, что он тут же принялся за дело и обрушил весь дом прямо им на головы. У этих женатиков, рассуждаю я про себя, уже не тот раз-

мах, они теряют вкус к доброй попойке и прочим дурачествам. Их уже не тянет ни покуролесить, ни сорвать банк, даже ввязаться в хорошую драку им неинтересно. Так на кой же ляд, спрашиваю я себя, лезут они в это брачное ярмо и так и ходят в нем до конца дней своих?

Но Перри, казалось, веселился от души.

— Ну что, Бак, старый ты мерин, — говорит он, — вот когда мы с тобой гульнули на славу. Что-то я и не припомню такого, даже в прежние времена. Я, понимаешь, редко выбирался из дома, с тех пор как женился, и давно не был в хорошем загуле.

В загуле! Да, вот что он сказал. Это про игру-то в шашки в задней комнате «Серого Мула»! Я так смекаю, что после стояния с садовой лейкой над шестью помидорными кустиками наше занятие и вправду показалось ему чем-то вроде разнузданного дебоша на грани оргии.

Через каждые две минуты он смотрел на свои часы и говорил:

— К семи, понимаешь, мне надо быть дома.

— Ладно, — говорю я. — Ты меньше рассусоливай и знай ходи. Этот напряженный разгул меня убивает. Мне, я чувствую, необходимо немного расслабиться и нравственно перековаться после этого бурного разврата, иначе нервы треснут у

меня по всем швам.

Было около половины седьмого, когда за окнами поднялся какой-то шум. До нас донеслись крики, стрельба из шестизарядных и громкий топот, как на маневрах.

— Что это там такое? — спрашиваю я.

— Да заварушка какая-то на улице, — говорит Перри. — Твой ход. Мы как раз успеем закончить эту партию.

— А я все-таки пойду гляну в окно — интересно, что там происходит, — говорю я. — Нельзя же требовать от простого смертного, чтобы он усидел на месте, когда у него одновременно съедают дамку и тарабанят в уши шумом неустановленного происхождения.

В задней комнате «Серого Мула» было всего два окошка в фут шириной, забранных железными решетками. Я глянул в одно из этих окошек и установил причину переполоха.

Это были молодчики из тримбловской шайки. Десять самых отчаянных головорезов и конокрадов в Техасе скакали по улице прямиком к «Серому Мулу» и палили направо и налево. Вскоре они исчезли из поля моего зрения, но слышалось, как они подскакали к крылечку и послали вперед себя изрядную порцию свинца.

Мы услышали, как разлетелось вдребезги большое зеркало за стойкой и зазвенели бутылки. Затем мы увидели, как Майк Рваное Ухо, не сняв фартука, чешет через всю площадь, словно койот, а пули подымают вокруг него фонтанчики пыли. После этого вся шайка принялась хозяйничать в салуне, опустошая те бутылки, что пришлись им по вкусу, и шмякая об пол остальные.

Нам с Перри эта шайка была хорошо знакома, и мы были известны ей не хуже. За год до того, как Перри осупружился, мы с ним вместе служили в конных стрелках и крепко раздолбали эту шайку в окрестностях Сан-Мигеля, после чего доставили сюда Берри Тримбла и еще двоих по обвинению в убийстве.

— Теперь нам отсюда не выйти, — говорю я. — Придется торчать здесь, пока они не уберутся.

Перри поглядел на часы.

— Без двадцати пяти семь, — сказал он. — Мы еще успеем доиграть эту партию. У меня на две шашки больше. Ход твой. К семи я должен быть дома, Бак, я тебе говорил.

Мы снова засели за игру. Шайка Тримбла, понятное дело, продолжала бесчинствовать. Они уже крепко набрались. Разопьют дюжину-другую бутылок, погорланят песни и потом постреляют

по посуде. Два-три раза подходили к нашей двери, пытались отворить. А затем на улице снова поднялась пальба, и я глянул в окно. Хэм Гроссет, наш шериф, привел отряд полиции, расположил его в доме и в лавках через улицу и пробовал усмирить бандитов, стреляя по окнам.

Эту партию я проиграл. Прямо скажу: я нипочем не потерял бы зазря трех дамок, выбери мы для игры загон поспокойней. А еще этот слюнявый женатик знай себе кудахчет по поводу каждой снятой им шашки, словно дурно воспитанная курица над маисовым зерном.

Когда партия была сыграна, Перри встал и поглядел на часы.

— Я роскошно провел время, Бак, — сказал он. — Ну а теперь мне надо двигать. Уже без четверти семь, а в семь, ты знаешь, я должен быть дома.

Я подумал, что он шутит.

— Через полчаса, самое большее — через час они либо умотают отсюда, либо свалятся под стол, — говорю я ему. — Разве супружество так уж тебя утомило, что ты хочешь еще раз покончить жизнь самоубийством?

— Случилось мне однажды, — говорит Перри, — воротиться домой в половине восьмого. С Марианной я столкнулся на улице — она выбежала

меня искать. Поглядел бы ты тогда на нее, Бак… Да нет, тебе не понять. Она же знает, какой я был непутевый, и все боится, как бы со мной не приключилось беды. С той поры я домой опаздывать закаялся. Так что, Бак, прощай покудова.

Я стал между ним и дверью.

— Послушай ты, женатый человек, я знаю, что ты поглупел навеки с той минуты, как тебя окрутили у пастора, но постарайся хоть разочек раскинуть остатками своих мозгов. Их там десять человек, этой шантрапы, и все они уже ошалели от виски и только и ищут, кого бы пристукнуть. Ты и двух шагов к двери не успеешь ступить, как они выбьют из тебя душу, как пробку из бутылки. Ну, будь умником, у тебя же сейчас не больше здравого смысла, чем у лягушки. Садись и жди, пока у нас появится шанс выбраться отсюда на своих на двоих, — если, конечно, ты не жаждешь, чтобы нас вынесли по кускам в ящиках из-под пива.

— Я должен быть дома в семь часов, Бак, — тупо повторяет этот слабоумный подкаблучник, как какой-нибудь совсем обыдиотившийся попугай. — Марианна, — говорит он, — побежит меня искать. — И тут он наклоняется и отламывает ножку от стола. — Я прошмыгну сквозь эту тримблов-

скую шайку, как дикий кролик сквозь плетень загона. Не скажу, чтобы меня так уж подмывало, как прежде когда-то, ввязаться в потасовку, но в семь часов я должен попасть домой. Ты запри за мной дверь, Бак. И не забудь — я выиграл у тебя три из пяти. Я бы сыграл еще, но Марианна…

— Заткнись ты, обожравшаяся дурмана безмозглая кляча, — говорю я. — Видал ты когда-нибудь, чтобы дядюшка Бак прятался от хорошей потасовки за запертой дверью? Я хоть и не женат, но тоже не хуже любого многоженца сумею показать себя растреклятым дурнем. От четырех отнять один — будет три, — говорю я и отламываю еще одну ножку от стола. — Мы прибудем на место к семи часам — будь то хоть в рай, хоть совсем наоборот, — говорю я. — Могу я проводить вас до дому? — спрашиваю я этого чемпиона шашечных баталий, этого просиропленного чревоугодника, этого необузданного охотника за черепами.

Осторожно отомкнув дверь, мы устремляемся к выходу. Часть шайки выстроилась вдоль стойки, остальные разливают напитки, а двое-трое постреливают из двери и окон по ребятам шерифа. В салуне такой висит дымина, что мы успеваем протопать до половины зала, прежде чем они замечают нас. Откуда-то сбоку до меня доносится

рев Берри Тримбла: «Да это Бак Капертон! Как он сюда попал?» И его пуля сдирает лоскут кожи с моей шеи. Ну и мерзко же было небось у него на душе из-за этого промаха — ведь что ни говори, а Берри — лучший стрелок к югу от Южной Тихоокеанской. Но в таком дыму, правду сказать, и промазать нетрудно.

Мы с Перри оглушили двоих из ихней шайки ножками от стола, и, будьте покойны, не промазали, а когда мы выскочили на крыльцо, я выхватил «винчестер» у парня, сторожившего снаружи, обернулся и расквитался с мистером Берри.

Словом, нам с Перри удалось улизнуть от них, и мы благополучно завернули за угол. Я никак не думал, что мы живыми унесем оттуда ноги, но не мог же я сыграть труса перед этим женатиком. По мнению Перри, гвоздем сегодняшнего дня была наша шашечная вакханалия, но если я хоть что-нибудь смыслю в светских развлечениях, то самых крупных заголовков в колонке происшествий заслуживает этот небольшой парад со столовыми ножками на плече через весь зал салуна «Серый Мул».

— Давай быстрей, — говорит Перри, — без двух минут семь, а мне надо…

— Ой, умолкни! — говорю я. — Мне вот надо

было в семь часов оказаться на дознании — я сам его должен вести, а я же не разоряюсь так от того, что опоздал.

Мне предстояло пройти мимо домика Перри. Его Марианна стояла у калитки. Мы притопали туда в пять минут восьмого. На ней красовался голубой халатик, а волосы были гладко зачесаны кверху — как у маленькой девочки, которая хочет казаться взрослой. Она смотрела в другую сторону и не заметила нас, пока мы не подошли совсем близко. Тут она обернулась и увидела Перри, и что-то такое промелькнуло у нее в глазах, чего я, черт меня побери, нипочем не возьмусь описать. Я услышал, как она громко задышала — совсем как корова, у которой отобрали теленка, чтобы пустить его в стадо, — и говорит:

— Ты запоздал, Перри.

— Всего на пять минут, — бодро отвечает Перри. — Мы с Баком заигрались в шашки.

Перри нас познакомил, и они пригласили меня зайти в дом. Нет уж, увольте. Хватит с меня на сегодня женатых. Я сказал им, что спешу и что очень приятно провел день с моим старым приятелем.

— Особенно, — добавил я, специально чтобы поддеть Перри, — когда у стола одна за другой

начали отваливаться ножки. — Впрочем, я ведь дал ему слово, что она ничего от меня не узнает.

— И вот с того самого дня я все об этом думаю, — сказал Бак, заканчивая свой рассказ. — Есть тут одна закавыка, которая мне всю душу перебаламутила, и никак я в этом не разберусь.

— Ты это про что? — спросил я, свернув последнюю самокрутку и протягивая ее Баку.

— Да понимаешь, какая штука: когда эта фитюлька обернулась и увидела, что Перри целый и невредимый возвращается на ее ранчо, она так на него поглядела… Ну, словом, с тех самых пор я все думаю и думаю: а может, вот это — то, что я увидел в ее глазах, — стоит всех наших загулов, вместе со всеми шашками и сарсапарилловыми сиропами? И, может, самый-то большой дурак вовсе не Перри Раунтри, черт меня побери?

Адское пламя

Есть у меня два-три знакомых редактора, к которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не то же самое.

Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора, где он клянется, что его сочинение «взято из жизни». Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю. Нет — она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка Крылатой Победы или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Le Petit Journal»[12] (держа его вниз головой — это видно по иллюстрациям). Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует.

Итак, факты жизни — в презрении. Пройдет

---

[12] Примечания: 12
«Маленький журнал» (*фр.*).

время — наука, природа, истина вотрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу, вместо того чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью, платит ей алименты и выступает опекуном репортерских отчетов.

Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю «из жизни». Как таковая, она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги, и, если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в Госпорте, штат Индиана (и на двадцать пять миль в окружности), у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами: «В старой ратуше еще слышались клики восторженных избирателей, но Гарвуд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Кресвеллу, где его ждала Айда».

Петтит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примеча-

нием редакции, разъяснявшим, что автор — «сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при Лукаут-Маунтен и бывшего окружного судьи».

Петтит был молодым человеком несколько сурового вида, из застенчивости скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним дружили. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосиа. Петтит вырос в хосийских сосновых лесах и ракитниках. Он привез в саквояже два рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле, виконта де Монрепо. Не станем его осуждать, это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногсшибательный очерк о малютке-газетчике и его колченогой собаке, и наш очерк печатают; ну а потом… покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и двадцать пять центов за штуку: «Необходимо каждой хозяйке!»

Я привел Петтита в красный кирпичный дом, который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литературные реликвии старого Нью-Йорка». Петтит снял комнату — лавка в Хосии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, и он

не сказал мне ни разу, что авеню Генерала Ли у них в Хосии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило, и я решился на последний экзамен.

— А что, если тебе написать о Нью-Йорке? — сказал я ему. — Скажем, «Вид с Бруклинского моста». Знаешь, взглянуть свежим глазом…

— Постарайся не быть идиотом, — ответил мне Петтит, — пойдем выпьем пива. Город мне, в общем, понравился.

Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и пришли в большой восторг. Ежедневно, утром и вечером, мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Валгалла, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток в облитой светом витрине, безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаккато ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки дев-официанток у стоек, напоминавших анатомический стол, и лейтмотив неумолчных кассовых аппаратов — все сливалось в гигантский ликующий, возвышающий душу синтез искусств, парад героической, исполненной символов жизни. И порция бобов стоила всего десять

центов. Мы изумлялись, что наши собратья, служители муз, продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских. И содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением.

Петтит писал рассказ за рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу (на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей), но отнюдь не на страницах общедоступных журналов. А редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь.

Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где герои режутся в покер, и еще изучают рецепты примочек из огуречного сока. Рассказы с любовным сюжетом читают толстяки-коммивояжеры и десятилетние девочки. Я не хулю здесь редакторов. В большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем люди, — каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал двух сотрудников в журнальной редакции, схожих, как два близне-

ца. Но один был привержен к романам Флобера, другой — любил джин.

Когда Петтит возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор. Это оказались совсем недурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них развивались логично и в должной последовательности. Чего не хватало в них, это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устриц и вам подали блюдо симметрично разложенных раковин, но — пустых, без их сочных, соблазнительных обитателей. Не колеблясь, я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь.

— На прошлой неделе ты продал рассказ, — сказал Петтит, — где описана стычка на приисках в Аризоне. Твой герой достает из кармана кольт сорок пятого калибра и убивает одного за другим семь бандитов. Но кольты такого калибра — шестизарядные.

— Ты путаешь разные вещи, — сказал я. — Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассо и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит — разве какой крохобор настрочит на

меня кляузу. Ты в иной ситуции. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у ньюйоркцев нет той непосредственности — читают не только Байрона, но и Биржевой бюллетень (раз уж книжки пошли на «Б»!). В общем, так или иначе, но этот недуг широко здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую — лично влюбиться, познакомиться с делом практически.

Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая.

Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке: дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением нью-йоркскую девушку.

Так вот (зрелый повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу), Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал.

Шейлока клянут за фунт мяса! Амур взыскал с Петтита не менее двадцати пяти фунтов. Так кто

же из них ростовщик?

Как-то вечером Петтит явился ко мне сам не свой от восторга. Тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок.

— Старина, — заявил он с какой-то странной улыбкой, — кажется, я напишу этот рассказ о любви. Тот самый, ты знаешь, за который они ухватятся. Я чувствую, он во мне. Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую — он во мне.

Я выгнал его из комнаты.

— За стол и пиши, — приказал я. — Пока не поставишь точку. Я сказал тебе: надо влюбиться. Как закончишь, сунешь сюда, под дверь. Не будем ждать до утра.

В два часа ночи послышался шорох под дверью. Прервав беседу с Монтенем, я взялся за Петтита.

Я листал его рукопись, и в ушах у меня не смолкало шипение гусей, легкомысленный щебет воробушков, воркование горлинок, протяжные крики ослов.

— О великая Сафо! — возроптал я в душе. — И это — священное пламя, которое, как утверждают, дает пищу гению и творит из него гражданина с обеспеченным заработком?

Рассказ Петтита был сентиментальной трухой

с приправой из хныканья, сюсюсюсю и беспримерного ячества. Все, что ему удалось накопить из литературного опыта, пропало. Слюнявость рассказа могла пробудить цинический смех у самой чувствительной горничной.

Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски осклабился.

— И преотлично, — сказал он. — Сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница? Сегодня мы завтракаем с ней у Клермона.

Счастье длилось примерно месяц. После чего Петтит явился ко мне в беспросветном отчаянии: он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цианистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом напитал его целительной порцией алкоголя. Как я говорил уже, это история из жизни и, значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. Две недели подряд я держал его на Омаре Хайяме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения.

Исцелившись, мой Петтит снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал

писать почти хорошо. Тут взвивается занавес, начинается третье действие.

Его полюбила без памяти миниатюрная, кареглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусства. Как это случается с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петтит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему.

Дело дошло до кризиса, она чуть не выбросилась из окна, и Петтиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже меня смущала ее безоглядная привязанность. Родная семья, традиции, верования — все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное.

Как-то к вечеру Петтит заявился ко мне, позевывая. Как и тогда, он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда, я не мешкая усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага.

Прочитав рассказ Петтита, я подскочил и, хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петтит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекало горячей кровью живое женское сердце.

Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петтиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились. Петтит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну.

Назавтра я потащил его прямо к редактору. Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петтиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходом.

И тогда старичина Петтит как-то нехотя улыбнулся. Петтит — истинный джентльмен, так зову я его с той поры. Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге.

— Да, я понял, — сказал мой друг Петтит и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья, — я понял теперь правила этой игры. Настоящий рассказ не напишешь чернилами. И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет, назад в Алабаму! В лавку, к отцу, за прилавок. Закурим, старик.

На вокзале, прощаясь с Петтитом, я попытался оспорить его позицию.

— А сонеты Шекспира? — взмолился я, делая последнюю ставку.

— Та же подлость, — ответил Петтит, — они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком?

— Выходит, — сказал я, — что ты не считаешься с мировыми…

— До свидания, старик! — сказал Петтит.

— …авторитетами, — завершил я свое возражение. — Послушай, старик, если там, у отца, вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь, ладно?

День, который мы празднуем

— В тропиках, — сказал Бибб-Попрыгун, торговец заморскими птицами, — все перемешано: лето, зима, весна, каникулы, уикенды и прочее сбиты в одну колоду и перетасованы; сам черт вам не скажет, настал или нет Новый год, и еще полгода пройдет, пока разберешься.

Лавочка Бибба — в самом начале Четвертой авеню. Бибб был когда-то матросом и портовым бродягой, а теперь регулярно ездит в южные страны и привозит оттуда, на собственный страх и риск, словоохотливых какаду и попугаев-филологов. Бибб хромает, упрям, у него железные нервы. Я зашел в его лавочку, чтобы купить к Рождеству попугая для тети Джоанны.

— Вот этот, — сказал я, отмахиваясь от лекции Бибба на календарные темы, — красный, белый и синий. Откуда такая зверюга? Цвета его льстят моей патриотической спеси. К тому же я нечувствителен к цветовой дисгармонии.

— Какаду из Эквадора, — ответствовал Бибб. — Пока знает только два слова: «Счастливого Рождества!» — зато к самому праздничку. Отдаю

за семь долларов. За те же два слова вам случалось платить и дороже, не правда ли?

И Бибб разразился внезапным громовым хохотом.

— Этот птенчик, — сказал он, — пробуждает у меня кое-что в памяти. В праздниках он, конечно, разбирается слабо. Уж лучше бы возглашал In Pluribus Unum по поводу собственной масти, чем выступал на ролях Санта-Клауса. А напомнил он мне, как у нас с Ливерпулем Сэмом как-то раз в Коста-Рике все в голове перепуталось из-за погоды и прочих тропических штучек.

Мы с Ливерпулем сидели в тех краях на мели — карманы пустые, призанять тоже было не у кого. Мы приехали, он кочегаром, я — помощником кока, на пароходе из Нового Орлеана, прибывшем за фруктами. Хотели попробовать здесь удачи, да пробовать не пришлось — дегустацию отменили. Занятий, отвечающих нашим склонностям, не нашлось, и мы перешли на диету из красного рома с закуской из местных фруктовых садов, когда нам случалось пожать, где не сеяли.

Городок Соледад стоял на наносной земле, без порта, без всякого будущего и без выхода из положения. Когда пароходов не было, городок сосал ром и дремал, открывая глаза лишь для

погрузки бананов. Вроде того человека, который, проспав весь обед, продирает глаза, когда подают сладкое.

Мы с Ливерпулем опускались все ниже и ниже; и когда американский консул перестал с нами здороваться, мы поняли, что коснулись самого дна.

Квартировали мы у табачного цвета дамы по имени Чика, державшей распивочную и ресторанчик для более чистой публики на улице Сорока Семи Безутешных Святых. Наш кредит подходил к концу, и Ливерпуль, всегда готовый продать свой noblesse oblige[13] за набитое брюхо, решил повенчаться с хозяйкой. Этой ценой мы держались еще целый месяц на жарком из риса с бананами. Но когда как-то утром Чика, с мрачной решимостью ухватив свою глиняную жаровню — наследие палеолита, — задала Ливерпулю Сэму пятнадцатиминутную трепку, стало ясно без слов — эпоха гурманства кончилась.

В тот же день мы пошли и подписали контракт с доном Хаиме Мак Спинозой, метисом и обладателем банановой рощи. Подрядились трудиться в его заповеднике, в девяти милях от города. Дру-

---

[13] Примечания: 13
Положение обязывает (*фр.*).

гого выбора не было — нам оставалось питаться морской водой со случайными крохами сна и какой-нибудь жвачки.

Не стану хулить вам сейчас или чернить Ливерпуля Сэма, я говорил ему те же слова и тогда. Но я полагаю, что, если британец впадает в ничтожество, ему надо ловчее крутиться; иначе подонки других национальностей наплюют ему прямо в глаза. Если же этот британец вдобавок из Ливерпуля, можете не сомневаться, спуску ему не дадут. Я лично природный американец, и таково мое мнение. Что касается данного случая, мы были с Ливерпулем на равных. Оба в лохмотьях, без денег, без видов на лучшее, а нищие, как говорится, всегда заодно.

Работа у Мак Спинозы была такая: мы лезли на пальму, рубили гроздья плодов и грузили их на лошадок, после чего кто-нибудь из туземцев в пижаме с крокодиловым поясом и мачете в руке вез бананы на взморье. Случалось ли вам квартировать в банановой роще? Тишина, как в пивной в семь утра. И пойдешь, не знаешь, где выйдешь, словно попал за кулисы в музыкальный театр. Пальмы такие густые, что неба не видно. Под ногами гниющие листья, по колено проваливаешься. И — полнейший мир и покой:

слышно, как лезут на свет молодые бананы на место старых, что мы с Ливерпулем срубили.

Ночи мы коротали в плетеной лачужке у самой лагуны, в компании служивших у дона Хаиме красно-желтых и черных коллег. Били москитов, слушали вопли мартышек и хрюканье аллигаторов, и так до рассвета, чуть-чуть забываясь сном.

Вскорости мы позабыли о том, что такое зима и что — лето. Да и где тут понять, если восемьдесят по Фаренгейту и в декабре, и в июне, и в пятницу, и после полуночи, и в день выборов президента, и в любой другой божий день. Иной раз дождь хлещет покруче, и в этом вся разница. Живет себе человек, не ведая бега времени, и в самую ту минуту, когда он решил наконец покончить с этой мурой и заняться продажей недвижимости — бац! — вдруг приходят за ним из Бюро похоронных процессий.

Не сумею вам точно сказать, сколько мы проторчали у дона Хаиме. Помню, что миновало два-три сезона дождей, раз семь или восемь мы подстригали отросшие бороды и напрочь сносили по три пары брезентовых брюк. Все деньги, что мы получали, уходили на ром и на курево, но харч был хозяйский, а это великое дело.

И все же ударил час, когда мы с Ливерпулем

почувствовали, что с этой банановой хирургией пора кончать.

Так бывает со всеми белыми в Южной Америке. Вас вдруг схватывает словно бы судорога или внезапный припадок. Хочется, вынь да положь, побалакать по-своему, взглянуть на дымок парохода, прочитать объявление в старой газете о распродаже земельных участков или мужского платья.

Соледад манил нас теперь как чудо цивилизации, и под вечер мы сделали ручкой дону Хаиме и отрясли прах плантации с наших ног.

До Соледада было двенадцать миль, но мы с Ливерпулем промучились двое суток. Попробуй найди дорогу в банановой роще. Легче в нью-йоркском отеле через посыльного отыскать нужного вам человека по фамилии Смит.

Когда впереди, сквозь деревья, замелькали дома Соледада, я вдруг с новой силой почувствовал, как действует мне на нервы Ливерпуль Сэм. Я терпел его, видит бог, пока мы, двое белых людей, были затеряны в море желтых бананов. Но теперь, когда мне предстояло снова увидеть своих, обменяться, возможно, с каким-нибудь землячком парой-другой проклятий, я понял, что первый мой долг окоротить Ливерпуля. Ну и

видок же был у него, доложу вам: борода ярко-рыжая, синий нос алкоголика и ноги в сандалиях, распухшие как у слона. Впрочем, возможно, и я был не худшим красавцем.

— Насколько разумнее было бы, — говорю я ему, — когда бы Великобритания держала бы под замком подобных лакателей рома и жалких подонков и не оскверняла бы их присутствием заморские страны. Мы уже раз задали вам знатную взбучку в Америке, но придется, я вижу, надеть калоши и снова набить вам морду.

— А поди ты туда и туда, — говорит Ливерпуль. Других аргументов я от него не слышал.

После плантации дона Хаиме Соледад показался нам совсем недурным городишкой. Мы с Ливерпулем бок о бок пустились знакомым путем, мимо отеля Grande и каталажки, через центральную plaza и дальше к домику Чики, где Ливерпуль, на правах законного мужа, мог раздобыть нам обоим что-нибудь пожевать.

Минуя двухэтажное деревянное здание Американского клуба, мы заметили, что балкон разукрашен цветами и гирляндами из вечнозеленых кустарников, а на флагштоке на крыше развевается флаг. На балконе дымили сигарами Стэнци, наш консул, и Аркрайт, владелец золотых

рудников. Мы помахали им давно не мытыми лапами и выдали по ослепительной светской улыбке, но они повернули спину, словно нас и не видели. А не так ведь давно мы все вместе играли в покер, правда, до первого случая, когда Ливерпуль потянул из-за пазухи комплект запасных тузов.

По всему было видно, что праздник, но летний, осенний или, может, весенний — угадать мудрено.

Еще немного пройдя, мы увидели Пендергаста, священника, проживавшего в Соледаде, чтобы строить тут церковь. Преподобный стоял под кокосовой пальмой в черном куцем альпаковом пиджачке и с зеленым зонтом в руках.

— Ах, мальчики, мальчики, — сказал он, взирая на нас сквозь синие стекла очков. — Я вижу, дела совсем плохи. Неужели дошли до крайности?

— До самой последней крайности, — сказал я ему. — До мельчайших дробей.

— Сколь прискорбно, — сказал Пендергаст, — видеть своих земляков в таких обстоятельствах.

— Что ты мелешь? — сказал Ливерпуль. — Я отпрыск аристократической английской фамилии.

— Заткнись! — сказал я Ливерпулю. — Ты на территории иностранной державы.

— И в такой торжественный день, — продолжал Пендергаст, — в этот светлый великий день, когда мы торжествуем победу над злом и рождение христианской цивилизации.

— Мы приметили, — говорю, — преподобнейший, что город украшен цветами и флагами, но не сразу сумели смекнуть, что за день вы тут празднуете. Не листали давненько календаря, даже толком не знали, лето сейчас или осень.

— Вот вам по доллару, — говорит Пендергаст и достает две здоровенные серебряные чилийские монеты. — Ступайте, ребята, и проведите этот праздничный день как подобает.

Почтительно поблагодарив его, мы затопали дальше.

— Пожрем? — спросил я Ливерпуля.

— Ты спятил, — сказал Ливерпуль. — Кто на жратву тратит деньги?

— Хорошо, — сказал я, — раз ты так ставишь вопрос, выпьем по маленькой.

Зашли мы в кабак, взяли с ним кварту рома и сразу на взморье, под сень кокосовой пальмы, чтобы отметить там праздничек.

Поскольку я двое суток кормился лишь апельсинами, то ром возымел свое действие, и я сразу почувствовал, что терпеть не могу англичан.

— Вставай, Ливерпуль, — говорю, — вставай, жалкий выходец из конституционно-монархической деспотии.

Сейчас ты получишь еще один Банкер-Хилл. Пендергаст, благороднейший из людей, велел нам отметить праздник подобающим образом, и я сделаю все, чтобы его деньги не пропали впустую.

— А поди ты туда и туда, — сказал Ливерпуль.

И я навернул ему левой по правому глазу.

Ливерпуль был когда-то заправским бойцом, но алкоголь и дурная компания сделали из него тряпку. Через десять минут он лежал на песке и просил пардона.

— Поднимайся, — сказал я, лягая его под ребро, — поднимайся и следуй за мной.

Ливерпуль поплелся за мной, вытирая кровищу со лба и под носом. Я привел его прямо к дверям Пендергаста и попросил преподобного выйти на улицу.

— Взгляните, сэр, на него, — говорю, — вот останки того, кто считал себя гордым британцем. Вы нам дали два доллара и велели отметить праздник. Ура! Да здравствует звездно-полосатое знамя!

— Боже мой! — сказал Пендергаст, помахивая

руками. — В такой день устроить побоище! В светлый день Рождества!

— В светлый день Рождества?! — сказал я. — К чертовой бабушке!! Разве сегодня не Четвертое июля?

— Счастливого Рождества! — закричал красно-бело-синий какаду.

— Уступлю за шесть долларов, — сказал Бибб-Попрыгун. — Птенец перепутал свои цвета и не разбирается в праздниках.

Я интервьюирую президента

(Вряд ли кто-нибудь успел забыть, что месяц тому назад удавалось купить круговой билет в Вашингтон и обратно со значительной скидкой. Чрезвычайная дешевизна этого билета подвигла нас обратиться к некоему остинскому гражданину, принимающему общественные интересы близко к сердцу, и занять у него двадцать долларов под залог нашего типографского станка, а также коровы и под поручительство нашего брата вкупе с небольшим векселем майора Хатчинсона на четыре тысячи долларов.

Мы приобрели круговой билет, две венские булочки и изрядный кусок сыра, каковые вручили одному из наших штатных репортеров с заданием съездить в Вашингтон и взять интервью у президента Кливленда, по возможности натянув нос всем прочим техасским газетам.

Наш репортер вернулся вчера утром по проселочной дороге. К обеим его ступням были аккуратно привязаны куски толстой, сложенной в несколько слоев мешковины.

Оказалось, что он потерял круговой билет в Ва-

шингтоне и, разделив венские булочки, а также сыр, с искателями должностей, которые несолоно хлебавши возвращались к себе тем же путем, добрался до дому голодным, с волчьим аппетитом и в надежде на сытный обед.

И вот, правда с некоторым запозданием, мы печатаем его сообщение об интервью, взятом у президента Кливленда.)

Я — старший репортер «Роллинг стоун». Примерно месяц тому назад главный редактор вошел в комнату, где мы сидели, беседуя, и сказал:

— Да, кстати. Поезжайте в Вашингтон и возьмите интервью у президента Кливленда.

— Ладно, — сказал я. — Счастливо оставаться.

Через пять минут я уже сидел в сказочно пышном пульмановском вагоне и трясся на пружинном плюшевом сиденье.

Не стану рассказывать подробности моего путешествия. Мне предоставили карт-бланш и велено не стесняться в расходах, если у меня будет чем их оплатить. Ублаготворение моего организма было предусмотрено на самую широкую ногу. И Вена, и Германия прислали яства, достойные моего взыскательного вкуса.

В пути я всего лишь раз сменил вагон и рубашку и с достоинством отказался разменять два

доллара какому-то незнакомцу.

Виды по дороге в Вашингтон разнообразны. Их можно созерцать в окно, а стоит отвернуться, как они же поражают и чаруют взор в окне напротив.

В поезде было очень много Рыцарей Пифии, и один пытался практиковать тайное орденское рукопожатие на ручке моей дорожной сумки, но у него ничего не вышло.

По приезде в Вашингтон, который я сразу узнал, будучи весьма начитан в биографии Джорджа, я покинул вагон столь поспешно, что забыл вручить представителю мистера Пульмана причитающийся ему гонорар.

Я без промедления направился к Капитолию.

Как-то раз во власти jeu d'esprit[14] я изготовил сферическую модель эмблемы нашей газеты — «катящийся камень, который не обрастает мхом». Я взял деревянный шар размером с небольшое пушечное ядро, покрасил его в темный цвет и приделал к нему перекрученный жгутик длиной дюйма в три как символ мха, которым он не обрастает. И я захватил его с собой в Вашингтон вместо визитной карточки, рассчитывая, что

---

[14] Примечания: 14
Остроумие (*фр.*).

каждый с первого же взгляда уловит столь изящный намек на нашу газету.

Предварительно изучив план Капитолия, я двинулся прямо к личному кабинету мистера Кливленда.

В вестибюле я встретил служителя и с улыбкой протянул ему мою визитную карточку.

Волосы у того встали дыбом, он как олень помчался к двери, лег на пол и мгновенно скатился во двор по ступеням длинной лестницы.

— Ага! — сказал я себе. — Наш подписчик-неплательщик.

Затем я увидел личного секретаря президента. Он писал письмо о тарифах и заряжал утиной дробью охотничье ружье мистера Кливленда.

Едва я показал ему эмблему моей газеты, как он выпрыгнул в окно на стеклянную крышу оранжереи, чаровавшей взор редкостными цветами.

Это меня несколько удивило.

Я проверил, в порядке ли мой костюм. Шляпа не съехала на затылок, и вообще в моей внешности не было ничего, что могло бы внушить тревогу.

Я вошел в личный кабинет президента.

Он был один и беседовал с Томом Окилтри. Увидев мой шарик, мистер Окилтри с пронзительным визгом выскочил из кабинета.

Президент Кливленд медленно поднял на меня глаза.

Он тоже увидел мою визитную карточку и сказал сиплым голосом:

— Будьте любезны, подождите минутку.

Президент принялся рыться в карманах сюртука и вскоре извлек из них исписанный листок.

Положив листок на стол перед собой, он встал, простер одну руку над головой и сказал с глубоким чувством:

— Я умираю за свободу торговли, за отечество и... и... и... и за все такое прочее.

Тут он дернул за веревочку, и на столике в углу щелкнул фотоаппарат, запечатлев нас обоих.

— Не надо умирать в палате представителей, мистер президент, — посоветовал я. — Пройдите лучше в зал заседаний сената.

— Умолкни, убийца! — сказал он. — Пусть твоя бомба свершит свое смертоносное назначение.

— Я не прошу о назначении, — произнес я с достоинством. — Я представляю «Роллинг стоун», газету города Остин, штат Техас. Ее же представляет и эмблема, которую я держу в руке, но, по-видимому, не столь удачно.

Со вздохом облегчения президент опустился в кресло.

— А я думал, вы динамитчик, — сказал он. — Минутку… Техас? Техас?

Он направился к большой настенной карте Соединенных Штатов, ткнул указательным пальцем примерно в Айдахо, зигзагом повел палец все ниже и наконец нерешительно остановил его на Техасе.

— Ага, вот он! У меня столько дел, что иной раз я забываю самые простые вещи. Погодите-ка… Техас? А, да! Это тот штат, где Айда Уэлс и орава цветных линчевали какого-то социалиста по фамилии Хогг за то, что он безобразничал на молитвенном собрании. Так, значит, вы из Техаса. Я знавал одного человека из Техаса. Дэйв Калберсон — так, кажется, его звали. Ну как там Дэйв? И его семейство? А детишки у Дэйва есть?

— Его парнишка в Остине работает, — сказал я. — Возле Капитолия.

— А кто сейчас президент Техаса?

— Я не вполне…

— Ах, простите! Опять забыл. Мне казалось, я что-то слышал о том, что его вновь объявили самостоятельной республикой.

— А теперь, мистер Кливленд, — сказал я, — не ответите ли вы мне на кое-какие вопросы?

Глаза президента подернулись какой-то стран-

ной пленкой. Он выпрямился в кресле, как механическая кукла.

— Приступайте, — сказал он.

— Что вы думаете о политическом будущем нашей страны?

— Я хотел бы заявить, что политическая необходимость требует чрезвычайной безотлагательности, и хотя Соединенные Штаты в теории связаны нерасторжимо и в принципе делимы и не едины, измена и внутриполостные раздоры подорвали единокровие патриотизма и…

— Минуточку, мистер президент, — перебил я. — Будьте добры, смените валик, а? Если бы мне нужны были прописи, я бы мог получить их от «Американ Ассошиэйтед Пресс». Носите ли вы теплое белье? Ваш любимый поэт, приправа, минерал, цветок, а также чем вы предполагаете заняться, когда останетесь без работы?

— Молодой человек! — строго произнес мистер Кливленд. — Вы себе много позволяете. Моя частная жизнь широкой публики не касается.

Я извинился, и к нему не замедлило вернуться хорошее настроение.

— В сенаторе Миллсе вы, техасцы, имеете замечательного представителя, — сказал он. — Честное слово, я не слышал более блестящих

речей, чем его обращения к сенату с призывом отменить тариф на соль и повысить его на хлористый натрий.

— Том Окилтри тоже из нашего штата, — сказал я.

— Не может быть. Вы ошибаетесь, — ответил мистер Кливленд. — Ведь он сам как раз это и утверждает. Нет, мне следует все-таки съездить в Техас и поглядеть своими глазами, что это за штат и такого ли он цвета, каким его изображают на карте, или нет.

— Ну, мне пора, — сказал я.

— Когда вернетесь в Техас, — сказал президент, вставая, — обязательно пишите мне. Ваш визит пробудил во мне живейший интерес к вашему штату, — до сих пор, боюсь, я не уделял ему того внимания, которого он заслуживает. Благодаря вам в моей памяти воскресли всякие исторические и по-иному любопытные места — Аламо, где пал Дэйви Джонс, Голиад, Сэм Хьюстон, сдающийся Монтесуме, окаменелый бум, обнаруженный в окрестностях Остина, хлопок по пять центов и сиамская демократическая платформа, родившаяся в Далласе. Я бы с удовольствием посмотрел, чем обилен Абилин, и полюбовался на девушек Деверса. Рад был познакомиться с вами. Когда

выйдете в вестибюль, сверните налево, а дальше идите все прямо и прямо.

Я отвесил низкий поклон, давая понять, что интервью окончено, и тотчас удалился. Очутившись снаружи, я без всяких затруднений покинул здание.

Затем я отправился на поиски такого заведения, где подают съестное, которое не значится в списке товаров, облагаемых пошлиной.

Описывать свое возвращение в Остин я не буду. Я потерял мой круговой билет где-то в недрах Белого дома, и пришлось избрать способ возвращения, несколько утомительный для моих башмаков. Когда я покидал Вашингтон, там все были здоровы и просили кланяться.

Паром разочарования

На углу улицы, посреди вечернего отлива человеческих душ, ежедневно приключающегося в час пик, гранитной скалой возвышался Настоящий Мужчина из Нома[15]. Ветры и солнце Арктики докрасна выдубили его кожу, и в глазах светились лазурные отблески ледника.

Ловкий, как лис, крепкий, как котлета из мяса карибу, и широкоплечий, словно северное сияние, стоял он посреди Ниагары городских звуков — грохота поездов надземки, автомобильных гудков, стука литых шин и антифонного[16] неблагогласия водителей такси и грузовиков, погруженных во взаимное устрашение. И в этот момент, под веселое пение золотой пыли, намытой на сотню тысяч долларов, ощущая, как на устах его обретает горечь вкус пирогов и эля, потребленных за неделю, проведенную в сем граде

---

[15] Примечания: 15
Ном — городок на Аляске (несколько южнее Берингова пролива).

[16] Примечания: 16
Антифонный — звучащий в ответ, откликающийся, вторящий (*греч.*).

Готэме[17], Настоящий Мужчина из Нома решил вновь ступить на землю Чилкута, оставив за спиной сию обитель уличного гвалта и яблочных пирожков от Мертвого моря.

Тем временем упомянутый отлив — торопливый, суетливый, болтливый, веселый, направлявшийся домой — нес по Шестой авеню Девушку из «Зибер-Мейсона»[18]. Заметив ее, Настоящий Мужчина из Нома тут же понял, во-первых, что она в высшей степени прекрасна и в точности соответствует его собственным представлениям о красоте; а во-вторых, что движется она именно с той самой ровной грацией, что присуща собачьей упряжке на ровной снежной корке. Третье мгновенно явившееся ощущение гласило, что он желает немедленно приобрести эту молодую особу в свою собственность. Настоящие мужчины из Нома всегда принимают решения с такой быстротой. К тому же он только что решил вернуться на Север, и потому действовать приходилось без промедления.

Тысяча девушек из огромного универмага «Зибер-Мейсон» потопом текла по тротуару,

---

[17] Примечания: 17
Готэм — шутливое название Нью-Йорка.

[18] Примечания: 18
«*Зибер-Мейсон*» — универсальный магазин.

встречным своим течением невероятно затрудняя навигацию мужчине, чей кругозор последние три года ограничивался скво из племен сиваш и чилкут. Однако Настоящий Мужчина из Нома, верный особе, мгновенно воскресившей его давно заледеневшее сердце, решительно погрузился в этот поток красоты и последовал за своей дамой.

Молодая особа грациозно плыла по Двадцать третьей улице, не оглядываясь по сторонам и обнаруживая не больше склонности к флирту, чем бронзовая Диана над Садом. Каштановые волосы ее были опрятно заплетены; аккуратный жакет и не имевшая ни единой морщинки черная юбка свидетельствовали о двух добродетелях сразу — о вкусе и экономии. В десяти ярдах за ней следовал потрясенный ее красотой Настоящий Мужчина из Нома.

Мисс Кларибел Колби, то есть Девушка из «Зибер-Мейсона», принадлежала к скорбному обществу жителей пригорода — наемных работников, прозванных джерсейскими мореходами. Она торопливо вошла в зал ожидания переправы, взлетела вверх по лестнице и быстрой и короткой, исполненной дивной грации пробежкой успела перескочить на уже готовый к отплытию паром. Настоящий Мужчина из Нома покрыл раз-

делявшие их десять ярдов в какие-то три прыжка и приземлился на палубу следом за ней.

Мисс Колби выбрала уединенное сиденье снаружи верхнего салона. Ночь оказалась вовсе не холодной, и она желала побыть вдали от любопытствующих взоров и скучных голосов пассажиров. К тому же она чрезвычайно устала, и глаза ее просто закрывались. Предыдущей ночью она блистала на ежегодном балу с жареными устрицами Вестсайдского общественного клуба № 2, объединявшего ассистентов торговцев рыбой, таким образом укоротив свой обычный сон всего до трех часов.

Кроме того, прошедший день выдался необыкновенно беспокойным. Абсолютно все покупатели вели себя крайне придирчиво; один из них, задержавшись в ее отделе, долго бранился по поводу скудости ассортимента; а лучшая подруга Мэми Татхилл унизила нашу героиню, отправившись на ленч с этой нахалкой Доккери.

Но в данный момент Девушка из «Зибер-Мейсона» пребывала в том расслабленном и покойном состоянии, которое нередко посещает независимых и живущих своим трудом особ женского пола. Подобное расположение духа наиболее благоприятно для мужчины, решившего поуха-

живать за таковой особой. В такие моменты душа ее стремится поселиться в чьем-то доме и сердце… стремится утешиться, укрыться на чьем-то сильном плече, обрести покой и отдохновение. А самое главное, мисс Кларибел Колби очень хотела спать.

И тут подошел к ней могучий мужчина — загорелый, в помятом, но самом дорогом костюме и со шляпой в руке.

— Прекрасная дама, — почтительно молвил Настоящий Мужчина, — простите, что обращаюсь к вам, но я… я… я увидел вас на улице, и… и…

— Гы! — отвечала Девица из «Зибер-Мейсона», поднимая взгляд, полный самой неподдельной холодности. — Существует ли хотя бы один способ избавиться от вас, уличных приставал? Я уже опробовала все — и лук ела, и шпилькой колола. Отвали, Фредди.

— О, я не из тех, моя госпожа, — продолжил Настоящий Мужчина из Нома, — честно говорю, не из тех. Едва заметив вас на улице, я немедленно захотел познакомиться с вами… да так, что просто не мог не увязаться следом. Я испугался, что если не заговорю с вами сей же час, то никогда уже не увижу вас снова в этом огромном городе.

Мисс Колби пристально посмотрела на него в

опускающихся на паром сумерках. Нет, перед ней стоял не наглый шутник и не тупой и развязный женоубийца. Искренность и скромность так и пробивались сквозь слой бореального загара. И ей показалось, что этого человека можно и послушать — самую малость.

— Можете сесть рядом, — проговорила она, прикрывая зевок с показной вежливостью, — но учтите, если вы позволите себе лишнее, я позову стюарда.

Мужчина из Нома опустился возле нее. Он уже был восхищен ею. Нет, более чем восхищен. Она выглядела точно так, как, по его разумению, должна выглядеть идеальная женщина. Но сможет ли он понравиться ей? Что ж, посмотрим. А пока следует приложить все старания, чтобы застолбить этот участок.

— Моя фамилия Блейден, — проговорил он, — Генри Блейден.

— А вы совершенно уверены в том, что не Джонс? — спросила девушка, склоняясь к нему с восхитительным, полным мудрости лукавством.

— Я приехал из Нома, — продолжал он с той же тревожной серьезностью. — Наскреб там добрую груду пыли и привез ее сюда.

— Неужели! — взволновалась она, продолжая

непринужденную беседу с очаровательной легкостью. — Так, значит, вы работаете метельщиком. То-то я подумала, что уже видела вас.

— Когда я заметил вас на улице, вы не смотрели на меня.

— Я никогда не смотрю на улице на мужчин.

— Но это я смотрел на вас; и должен сказать, что еще не видел девушки хотя бы наполовину такой красивой, как вы.

— То есть разница в мою пользу?

— Конечно же. И я готов предоставить для вашей пользы все, что у меня есть. Конечно, вы скажете, что я — человек грубый, однако я умею хорошо обходиться с теми, кого люблю. Там, на Севере, мне пришлось нелегко, но я выиграл свою игру. Наскреб за все это время почти 5000 унций пыли.

— Боже мой! — воскликнула мисс Колби с неподдельной симпатией. — Грязное там у вас, наверное, было местечко.

И тут веки ее сомкнулись. Голос Настоящего Мужчины из Нома жужжал монотонно и искренне. Потом, к чему эта скучная тема… об этих метлах, о пыли… и что он там скреб? Она прислонилась затылком к стенке салона.

— Мисс, — произнес Мужчина из Нома с еще

большей искренностью и монотонностью, — я еще не видел такой девушки, которая понравилась бы мне больше вас. Понимаю, что не вправе ждать от вас такой же симпатии, но, быть может, вы дадите мне шанс? Не позволите ли вы мне узнать вас поближе… Что, если я все-таки окажусь приятным вам?

Головка Девушки из «Зибер Мейсона» чуть качнулась и опустилась на его плечо. Сладкий сон в мгновение одолел ее, навевая сладостные видения о бале Вестсайдского общественного клуба № 2 ассистентов торговцев рыбой.

Джентльмен из Нома придержал руки при себе. На сон своей дамы в такой ситуации он не рассчитывал, однако ему хватало ума не истолковать ситуацию как знак капитуляции. Он ощущал огромный, граничащий с блаженством восторг, но тем не менее решил истолковать прикосновение лежавшей на его собственном плече головки как всего лишь сулящую благоприятные перспективы преамбулу, предвестницу будущего успеха, который не следует торопить.

Лишь одна дешевая примесь обесценивала злато его удовлетворения.

Не слишком ли рано и откровенно признался он в собственном богатстве? Ему хотелось любви

к себе самому, а не к его деньгам.

— Вот что я хочу сказать, мисс, — проговорил он. — Вы можете рассчитывать на меня. Там, на Клондайке, меня знают от Джуно[19] до Серкл-Сити[20] и по всему Юкону. Много ночей провел я в тамошних снегах, три года работал как раб, не зная, встречу ли когда и в ком привязанность. Я ж не искал всей этой пыли для себя самого. Я думал, что однажды встречу подругу, и сегодня это случилось. Деньги — чертовски хорошая вещь, если они есть, но когда тебя любит такая девушка, как вы, это еще лучше. Мисс, а если бы вы собрались выйти замуж, какого человека выбрали бы себе?

— А теперь платите!

Слова эти резко и громко сошли с губ мисс Колби, являя свидетельство того, что сон перенес ее за привычный прилавок в огромном универмаге «Зибер-Мейсон».

Голова ее вдруг качнулась вбок. Она проснулась, выпрямилась и протерла глаза. Мужчина из Нома исчез.

---

[19] Примечания: 19

Джуно — американский город, расположенный к югу от канадской территории Юкон.

[20] Примечания: 20

Серкл-Сити — американский город на реке Юкон (в ее северной части) близ полярного круга («серкл» — «круг»).

— Гы! Кажется, я заснула, — обратилась к себе мисс Колби, — но куда подевался этот дворник?!

Снежная фамилия

Снег представляет собой великое чудо для малых детей, сидящих в домашнем тепле и отделенных от улицы оконным стеклом. Для мужчин он иногда становится тиглем, в котором их мир переплавляется в белую звезду, находящуюся за десять миллионов миль. Мужчина, способный выдержать испытание, превращается в Человека Снегов; и таково значение его по Фаренгейту, Реомюру и каменным скрижалям Моисея.

Ночь опустилась, трепеща крылышками, на траурный зубец над каньоном Большой Потерянной Реки, и я направил своего скакуна к ранчо «Гнедой конь», потому что снегопад набирал силу. Хлопья сделались величиной с круглую кружевную салфетку, которую может сплести за час самая способная из старых дев, мисс Уилкинс, предвещая долгую метель, а с ней прекращение развлечений и новые приключения, которых не принести плетениям кружевниц. Я был знаком с Россом Кертисом из «Гнедого коня» и знал, что меня примут на ранчо как застигнутого снегом путника, одного уже гостеприимства ради, но

еще и потому, что Россу редко представлялась возможность поговорить с живым существом, отвечавшим на его слова не ржанием, не мычанием, не блеяньем и не лаем.

Дом на ранчо находился как раз внутри челюстей каньона, там, где, по мнению самоуверенного и неразумного строителя, бревенчатые и каменные стены по обеим сторонам дома должны были защитить его от зимних ветров Колорадо; однако я опасался сугробов. Уже сейчас сквозь бесконечную и бездонную расщелину в утесах — переговорную трубу четырех ветров — до меня доносился вой владельца, вселившегося в комнатушку на верхнем этаже.

Услышав мое приветствие, из пристройки выскочил один из подручных и принял у меня обрадованного отдыхом коня. Через минуту-другую мы с Россом уже сидели в столовой его дома из четырех комнат, и предо мною предстало все большое и простое гостеприимство этого дома. Северный ветер, свистя, задувал в щели между бревнами мелкий сухой снег. Комната проемом без двери соединялась с кухней.

Со своего места я мог видеть невысокого и коренастого, неторопливого и видавшего виды человека, с профессиональной ловкостью орудо-

вавшего над раскаленной докрасна печкой. Лицо его казалось невозмутимым и непроницаемым — подобно лицу великого мыслителя, а может быть, и человека, которому не нужно скрывать свои мысли. Я было решил, что взгляд его обнаруживает неоправданное превосходство над стихиями и над людьми, но скоро приписал это самомнению, свойственному этому незначительному человеку.

«Лагерный повар» — такое место отвел я ему в Зале представителей рода людского; и он соответствовал этому определению на все сто процентов.

Невзирая на жар, исходивший от раскалившейся печки, в комнате было холодно; так что за разговором мы с Россом то и дело ежились, наполовину от нервов, а на другую половину от морозного сквозняка. Посему он извлек бутылку, повар принес кипящей воды, и мы соорудили себе по внушительному тодди[21], чтобы как-то оборониться против нападений борея. Мы часто чокались. И при этом стаканы пели тем тонким звоном, которым поют отрывающиеся с карниза сосульки или целая тысяча граненых стекляшек

[21] Примечания: 21
Тодди — алкогольный напиток из сока некоторых видов пальм.

на канделябре Людовика XIV, щебет которых я однажды слышал на танцульке для квартирантов в гостиной пансиона за десять долларов в неделю на Грамерси-сквер. «Sic transit…»[22]

Молчание обитает и в жуткой красоте снегов, и в Сфинксе, и в звездах; но те, кто полагает, что все на свете, начиная от безвинного табльдота до Распятия, можно истолковать через музыку, способны подобрать подходящий ноктюрн или там симфонию, которые выразят отрешенность этого мира, занавешенного от нас снегом. Звон стекла и бутылки, эолийский посвист сквозняков в трещинах стен, густой тромбонный голос ветра, доносящийся из каньона внизу, вкупе с вагнеровским громом кастрюль и сковород под руками кухаря соединялись в моем восприятии в порывистую, диссонирующую мелодию. К ней добавлялся вполне приемлемый аккомпанемент, складывавшийся из шипения поджаривающейся ветчины и оленьей котлеты с посвящением в виде умиротворяющих испарений подлинной яванской сигары, сулившей истинное утешение нашим исстрадавшимся душам.

Повар подал к столу исходящий парком ужин.

---

[22] Примечания: 22

Так проходит… (*лат.*); *Sic transit gloria mundi* — Так проходит мирская слава.

Демократично кивнув мне, он швырнул на стол тяжелые тарелки — словно метательное кольцо или древнегреческий диск. Я смотрел на него с любопытством, одновременно оценивая и примиряясь. Ни один пророк не мог бы сказать нам, когда закончится метущая снаружи лихоманка; но если снегопад застал тебя под кровом, лучше всего заручиться благодетельным расположением кухонных дел мастера. Однако на лице и в манерах сего борца с кухонной утварью я не мог прочитать ни обращенной ко мне симпатии, ни одобрения.

Росту в нем было пять футов девять дюймов, к нему присоединялись две сотни фунтов банального, наделенного бычьей шеей и красной рожей спокойствия. Одет он был в коричневые полотняные брюки, слишком узкие и короткие, а также синюю фланелевую рубашку с закатанными выше локтя рукавами. На лице его почивало выражение мрачное и невозмутимое, показавшееся мне преднамеренно помещенной туда маской, как бы не позволявшей этому человеку проявлять присущее ему дружелюбие, каковое, на его взгляд, лучше было скрывать. А потом я позволил ужину полностью завладеть моими мыслями.

— Заканчивай возиться, Джордж, — прогово-

рил Росс. — Давай-ка лучше поедим, пока жрачка не остыла.

— Жуйте себе на здоровье, парни, — ответил повар. — Я свое съел на кухне перед закатом.

— Как думаешь, Джордж, много снега сегодня выпадет? — спросил хозяин ранчо.

Джордж уже повернулся, чтобы уйти на свою кухню. Он медленно оборотился, и на его лице, как мне показалось, проступили следы вековечной мудрости и познаний ушедших веков.

— Может, выпадет, — с задержкой ответил он.

На пороге кухни он остановился и поглядел на нас. Мы с Россом подняли ножи и вилки, обратившись к нему со всем возможным вниманием. Некоторые люди обладают способностью привлекать к себе внимание остальных, не говоря ни слова. Их жесты действуют более эффективно, чем крик.

— А может, и нет, — добавил Джордж, возвращаясь к своей печке.

После того как мы поели, он вошел и собрал опустошенные тарелки. Он постоял перед нами какое-то мгновение, в то время как деланая суровость на его лице становилась все более глубокомысленной.

— Снегопад может остановиться в любую ми-

нуту, — сказал он, — а может затянуться на всю неделю.

Удалившись в дальний конец своих владений, Джордж налил горячей воды в моечный таз, раскурил трубку и устроил столовой утвари положенное омовение. После чего он осторожно развернул лоскут старого подседельника, извлек из него книжицу в бумажном переплете и уселся читать возле тусклой масляной лампы.

Тут хозяин ранчо выложил на убранный стол табачок, выставил бутылки и стаканы, и я понял, что оказался в глубоком желобе, по которому вот-вот, громыхая, польется поток его словес. Тем не менее я все-таки был отчасти доволен судьбой, если сравнить ее с участью покойного Томаса Таккера, которому пришлось пением оплатить ужин, тем самым удвоив страдания собственные и муки хозяина дома.

— Чертовская штука этот самый снег, — начал Росс в порядке предисловия, — не могу сказать, чтобы, на мой взгляд, в нем было нечто целительное. Могу вынести сколько угодно воды и грязи, пусть на градуснике будет два дюйма ниже ноля или сто десять градусов в тени[23], могу претер-

---

[23] Примечания: 23

Сто десять градусов в тени — по Фаренгейту, или +43 °C.

петь среднего размера циклон, но этот пушистый хлам, падающий на наши головы с неба, всякий раз сводит меня с ума. Должно быть, причиной тому, что снег наводит такое смятение, служит полное преображение всех предметов вокруг тебя. Ну, это как если у тебя есть жена и ты утром уехал, оставив ее дома в стареньком голубом ситцевом халатике, скачешь потом весь день и вечер, а потом сталкиваешься с ней нос к носу в далеком городе — в вечернем платье из белого шелка, с веером из страусовых перьев, обезьянничающую с пучком каких-нибудь там лилий в руках. Что тогда покажет твой карманный компас? Тебе придется поцеловать ее, прежде чем обретешь присутствие духа.

Понемногу течение слов Росса вознеслось к облакам (так мне было приятно представлять) и там сконденсировалось в мелкие снежинки мысли; и мы сидели возле печки молча, как подобает и добрым друзьям, и непримиримым врагам. И я думал о преамбуле нашего разговора: о словах Росса про таинственное влияние на человека горностаевых лапок чудовища, которое сейчас укрывало собой наш маленький мирок, и понимал, что он прав.

Среди всех забавных безделушек, тайн, голо-

воломок, индейских даров[24], крысоловок и хорошо замаскированных благодатей, которыми боги осеняют нас с олимпийских вершин, самым тревожным и зловещим является снег. Научный анализ закрепляет за ним абсолютную красоту и чистоту — и это заставляет нас с подозрением посматривать на химию.

Снег укрывает мир, и — о! — мы уже живем на другой планете. За одну ночь снег прячет под собой старые шрамы и знакомые уголки, от которых нас либо с души воротит, либо без которых мы не можем жить. И потому тихо, не поднимая лишнего шума, мы облачаемся в свои расшитые одеяния, влезаем на коня принца Камараз Замана[25] или в запряженные оленями санки, уносящие в белую страну, где сливаются воедино семь цветов.

Это происходит, когда наша фантазия способна превзойти гибельность снега.

Но некоторые уголки земли посещает снежное безумие, прекрасно известное людям, взбудораженным и сбитым с толку возмутительной вуалью, скрывающей под собой единственно

---

[24] Примечания: 24

Индейские дары — подарок, за который следует дать равноценный.

[25] Примечания: 25

Камараз Заман — персонаж одной из сказок «Тысяча и одна ночь».

известный им мир. Этой белой колдунье, мановением своей палочки кружащей разум покорных ей простофиль, в городах отводится комедийная роль. Алмазная пряжка на ее башмачках сходит за изморозь; своим пируэтом она предваряет бесцельный карнавал.

Однако в местах пустынных снег полон издевки и ехидства. Лишив мир границ и пределов, он не позволяет нам опереться ни на какую другую сферу. Он превращает землю в твердь под ногой; он оставляет нас цепляющимися и спотыкающимися в пространстве враждебного пятого элемента, зловредность которого превосходит его необычайность и красоту. В дальних краях Природа, низменная комедиантка, дурачит людей. И хотя сама она рекламирует человека как свое наилучшее произведение, похоже, что стряпала его эта дама с почти немыслимой беззаботностью и неряшливостью. Односторонний и неуравновешенный, сложенный из соединенных вместе двух неравных половинок, он должен трусить своей эксцентричной тропой. Падает снег, тьма ложится на него, а забавный двуногий человечек плутает и плутает аккуратными кругами, пока не сдастся наконец на развалинах своего дефективного сложения.

В глотке жаждущего снег становится подобием купороса. С виду вполне годящийся в пищу ангелам, он обжигает рот, как имбирь, лишь увеличивая муки жаждущего. Снег является производной воды, воздуха и какого-то холодного, нездорового огня, из которого было изъято тепло. Впрочем, говорили о нем и хорошее; те же поэты, покорившиеся снежным чарам, ежась под ледяным прикосновением снегопада перед собственной входной дверью, положили на бумагу вечные мелодии, воспевающие его красоты.

И все же для самого печального из облаченных в пальто оптимистов снег представляет собой истинную напасть… губительную казнь, которой удалось избежать Фараону. Снег благодетельно укрывает пшеничные поля, повышая тем самым урожай, — но Мукомольный Трест хватает нас за горло подобно гнойному тонзиллиту. Снег распространяет полы своего белого камзола на красные рубцы гористого севера — и Аляска рождает жанр своего рассказа. Чахлый и бледный предатель, он укрывает странника, закопавшегося в него на вершине горы от леденящего мороза, и, растаяв на следующий день, топит его брата, застрявшего внизу, в долине.

В худшем своем размахе он и замок, и ключ,

и плавильный тигель, и волшебная палочка Цирцеи. Заперев человека в уединенном ранчо, горной избушке или лесной хижине, снег превращает самых стойких в обезьян и тигров. Он превращает в стекло сердца слабых, делает их языки подобием детских погремушек, предает их души беззаконию и тоске. И дело совсем не в изоляции; снег не просто перекрывает дорогу — он творит Химический Тест.

И лишь настоящий мужчина способен ответить на него реакцией, продуктами которой станут драхма-другая поташа и магнезии с легкой примесью Адама, Анании, Навуходоносора[26] и капризного дикобраза.

Но где ж тут история, спросите вы… хорошо, начинаем рассказ.

За дверью раздался стук (ну не полно ли это глубокомысленное начало намеков и аллюзий, о лучшие из покупателей лучших бестселлеров?).

Мы отодвинули задвижку, и внутрь ввалился Этьен Жиро (как он впоследствии назвал себя). Но тогда он был всего лишь червяком, сражающимся за свою жизнь под бременем окутавших

---

[26] Примечания: 26

Навуходоносор II — царь Вавилонии в 605–562 гг. до н. э. По библейской легенде, он, в наказание за гордость, «отлучен был от людей, ел траву, как вол».

его убийственных белых кристаллов.

Прокопавшись сквозь слои снега, пальто, шарфов и плащей, мы извлекли оттуда живое создание с вандейковской бородкой и удивительными бриллиантовыми перстнями. Подвергнув это существо обязательной в таких случаях обработке — растиранию снегом, вливанию горячего молока вместе с виски по чайной ложке, — мы привели его в состояние выпускника, достойного диплома в виде хлебной водки, влитой на три пальца в стакан горячей воды. Один из подручных, повинуясь трубному гласу Росса, уже загнал шатающегося пони незнакомца в крытый кораль, где содержались животные.

Перейдем к краткому изложению биографии Жиро.

Как мы поняли, Этьен первоначально был оперным певцом; однако бедствия и снег сделали его «non compos vocis», то есть лишили голоса. Бедствия персонифицировались в виде выброшенной на мель Сан-Сальвадорской оперной компании, периода трудов на втором этаже отеля, а после — работы в качестве профессионального хироманта, кочующего из города в город. Ибо, подобно прочим профессиональным хиромантам, всякий раз, когда ему случалось продвинуться

по Линии Сердца, он немедленно двигался и по Линии Наименьшего Сопротивления. И хотя Этьен не стал просвещать нас, мы сделали вывод о том, что он успел нырнуть в сумерки минут за двадцать до появления на сцене констебля и таким образом попал под этот снегопад. Снег он костерил самыми отборными и прочувственными словами — будучи уроженцем Парижа, Этьен любил снег той же самой страстной любовью, что и цветущая орхидея.

— Отв`атительное убожество! — высказался Этьен и принял еще на три пальца спиртного.

— Полное, литое и на кошачьих лапках, и еще белое-белое! — добавил Росс и последовал его примеру.

— Тухлое к тому ж, — проговорил я.

Повар не сказал ничего. Застыв в дверях, он взвешивал наш эмоциональный порыв, и каменное лицо его немедленно отправило мне два сообщения по беспроволочному телеграфу. Первое гласило, что Джордж считает наши порочащие слова в адрес снега пустым ребячеством; а второе — что Джордж не любит даго. Однако, поскольку Этьен был французом, а не итальянцем, испанцем или португальцем, я решил, что последнее сообщение ошибочно. И потому обратился

непосредственно к отправителю: ясные глаза, вы и в самом деле имели в виду даго? — получив по тому же телеграфу вполне определенный смертоносный и психический ответ в виде трех «да». Тут я подумал, что, судя по всему, для Джорджа все иностранцы попадают под определение «даго». Что ж, мне уже случалось раз говаривать с другим лагерным кашеваром, который считал, что Mons., Sig., и Millie (так на замиссисипском наречии произносится Mlle, мадемуазель) — имена итальянские; тот повар поэтому удивлялся скудости неороманских имен… так что, почему бы и нет…

Я уже говорил, что снег есть испытание, посланное человекам. День или два Этьен простоял у окна, терроризируя ногти на пальцах рук, вскрикивая и стеная по поводу отсутствия разрывов в сплошном полотне. С моей точки зрения, Этьен был столь же непереносим, как и снег; и в поисках облегчения уже на второй день я отправился посмотреть, как там поживает мой конь. И, нелепо поскользнувшись на камне, сломал ключицу, подпав под испытание уже не снегом, а лежанием пластом на спине. Испытание болезнью, слишком уж часто посещающее нас, человеков.

Тем не менее я мужественно справлялся с ним. Теперь я сделался просто зрителем и со своей

постели в большой комнате мог лежа наблюдать игру страстей человеческих с тем отстраненным, безличным бесстрастием, которое, по словам французских писателей, столь важно для литератора, а по мнению американских писателей, жизненно необходимо для специалиста по игре в «фараон».

— Я сойду с ума в этом отв`атительном, ничтожном месте! — постоянно пророчествовал Этьен.

— Никогда раньше не думал, что Марк Твен станет скучен мне, — то и дело повторял Росс.

Час за часом он проводил возле окна, сидя между коробкой дешевых питсбургских сигар, обладавших силой, длиной и ароматом питсбургского коррупционного скандала, по одну руку от него, и сборниками «На веслах», «Скачущая лягушка» и «Жизнь на Миссисипи» — по другую. Ради каждой новой главы, отчаянно пыхтя, он запаливал новую сигару. По мере течения времени на него накатывало предчувствие спазмов, гастрита, колик курильщика… ну, словом, того, что случается в Питсбурге после слишком долгого участия в коррупционных скандалах. Чтобы справиться с коликой, Росс время от времени обращался к янтарному бальзаму от колик старого

доктора Стилла. Ну а после сорока восьми часов такого времяпрепровождения последовал срыв.

— И в самом деле, не знал, что Марк Твен настолько утомителен. В самом деле не знал. — Росс швырнул книжку «На веслах» на пол. — Должно быть, если снег запер тебя в доме, нужно читать трагедии. Юмор только извлекает на поверхность наше упрямство. Ты читаешь о жалких и беспомощных попытках человека сделаться забавным, и это приводит тебя в такое негодование, что ты хочешь немедленно разодрать книжку и завопить во все горло.

На противоположном конце комнаты француз извлек свои пальцы изо рта на достаточный срок, чтобы произнести:

— Юмо`! Юмо` в такую по`у! Боже мой, я сойду с ума в этой отв`атительной…

— Ужинать, — объявил Джордж.

Наши трапезы отнюдь не были трапезами Рабле, который как-то сказал: великий Бог создал планеты, а мы должны поддерживать чистоту на наших тарелках. К этому времени еда на ранчо перестала быть делом вкуса, она служила для отвлечения духа, а не для питания тела. А о том, во что превратились эти трапезы потом, никогда не забыть ни мне, ни Россу, ни Этьену.

После ужина снова шли в ход и сигары, и ногти. Плечо мое отчаянно болело, и, прикрыв глаза, я пытался забыть о нем, наблюдая за ловкими движениями солидного повара.

Внезапно он по-собачьи наставил ухо и прислушался. После чего быстрыми шагами подошел к двери, распахнул ее настежь и замер.

Все прочие недоуменно смотрели на него, так как никто не слышал ни звука.

— Что случилось, Джордж? — спросил Росс.

Повар протянул руку во тьму вдоль дверного косяка.

Осторожными движениями поддержал что-то. А потом с опаской шагнул в снег. Нагнулся — мышцы на спине напряглись — и поднял какой-то груз. Шагнул назад, закрыл за собой дверь и опустил ношу на безопасном расстоянии от огня.

Распрямившись, он посмотрел на нас торжественным оком. Никто из нас не решился даже шевельнуться под его орфическими чарами, доколе Джордж не произнес:

— Это женщина.

Звали эту мисс, как оказалось, Вилли Адамс. Род занятий — школьная учительница. Нынешнее положение — заблудилась в метель. Возраст —

юмюм (двадцать лет по-персидски). Если хотите услышать описание ее внешности, обратимся к лесам. Ива подойдет как образец гибкости; орешник гикори — как эталон прочности и силы духа; береза — как пример чистой белизны, присущей ее коже; глаза уподобим кусочкам синего неба, проглядывающего между ветвями; шелк на коконах шелковичного червя явно сродни ее волосам; в голосе звучал шепот июньского ветерка в вечерней листве; рот можно сравнить с ягодами на снегу; пальцы напоминали легкие перышки папоротника; поступь — быстрый и легкий перебор оленьих копытец. Общее впечатление, создающееся в глазах внемлющего, — за деревьями леса не видно.

И в данный момент Психология с заглавной буквы, ступая мягкими рысьими лапами, пробирается в дом на ранчо. Трое мужчин, повар и хорошенькая молодая женщина отрезаны снегом от мира. Можете вычесть меня, если хотите, я все равно вне счета. Я никогда не пользовался успехом у женщин. Можно вычесть и повара, если угодно. Однако отметим эффект, произведенный на Росса и Этьена Жиро.

Росс отправил в чемодан Марка Твена и чемодан этот запер. Кроме того, он немедленно

отказался от питсбургских скандальных сигар. Ну, и сбрил трехдневную щетину.

Этьен как истинный француз начал с собственной бородки и напомадил ее из тюбика венгерского крема, хранимого в жилетном кармане. Потом расчесал ее маленькой алюминиевой расческой, происшедшей из того же кармана. Подровнял ее маникюрными ножницами, обретавшимися в том же кармане. И его легкомысленное галльское настроение преобразилось самым внезапным и чудесным образом. В устах его зазвучал мотивчик из репертуара Сан-Сальвадорской оперной компании, он улыбался, ухмылялся, раскланивался, выписывал пируэты, вертелся, крутился, пустословил, нес чепуху, пускал рулады. Никакой знаменитый трубадур не мог бы сравниться с Этьеном.

Росс избрал другой способ наступления — короткий и властный.

— Маленькая женщина, — начал он, — добро пожаловать в этот дом!

И считая, что выражается достаточно тонко и двусмысленно, добавил:

— Рад видеть вас здесь столько, сколько захотите, будет снег или не будет снега.

Мисс Адамс поблагодарила его с некоторым

смущением, и часть румянца ягод зимней зелени[27] переползла на кору березы. Она поспешно огляделась вокруг, как бы разыскивая пути к спасению. Но таковых не было — если не считать кухни и отведенной ей комнаты. Извинившись, она исчезла за дверью.

Чуть позже, прикидываясь спящим, я услышал следующие слова:

— Мисс Адамс, я уже наме`евался сгинуть, уме`еть от тоски и однооб`азия, когда ваше дивное и чистое лицо появилось в этом убогом доме.

Я приоткрыл правый по курсу глаз. Бородка уже завивалась на пальце, глаза этого Свенгали[28] бегали по сторонам, кресло оказалось подвинутым к креслу учительницы.

— Я ф`анцуз — понимаете, — я по`ывист, темпе`аментен, не`вичен! Я не могу вынести столь бесцветные часы в этом доме, на этом `анчо; но появляется женщина! Ах! — Плечи изобразили девятикратное «ура» в исполнении тигра. — И

---

[27] Примечания: 27

Зимняя зелень — гаультерия; низкорослое растение, распространенное в восточных районах США, с белыми или розоватыми цветами, вечнозеленой листвой, ароматным запахом и съедобными красными ягодами.

[28] Примечания: 28

Свенгали — вымышленный персонаж написанного Джорджем Дюморье в 1894 г. романа «Трильби». Произведя в свою пору сенсацию, этот роман создал стереотип злобного гипнотизера.

с`азу какая `азница! С`азу вок`уг свет и веселье; все улыбаются, когда улыбаетесь вы. Вы наделены се`дцем, к`асотой, изяществом. Се`дце вновь возв`ащается ко мне, когда я ощущаю ваше се`дце возле себя. Итак! — Он положил свою ладонь на жилетный карман. И, воспользовавшись удобным положением, вдруг схватил учительницу за руку. — Ах! Мисс Адамс, если бы только я мог сказать вам, как…

— Обедать, — сухо заметил Джордж, став как раз за спиной француза. Глаза его были обращены прямо в глаза учительницы. И после тридцати секунд исследования губы его шевельнулись в глубинах того кремнистого, застывшего мальстрема[29], каким сделалось его лицо. — Обед, — продолжил он, — будет готов через две минуты.

Мисс Адамс с облегчением вскочила на ноги.

— Мне нужно причесаться к обеду, — мудро сказала она и удалилась в свою комнату.

Росс запоздал на пятнадцать минут. Наконец тарелки были опустошены и убраны, и, дождавшись удобного мгновения, когда комната на короткое время осталась в нашем с ним рас-

---

[29] Примечания: 29
Мальстрем — водоворот в Норвежском море.

поряжении, я рассказал ему о подслушанном разговоре.

Росс пришел в такое волнение, что без дальнейших раздумий запалил вонючую сигарку.

— Ах ты, немытый, желтокожий, хиромантский скунс, — молвил он сквозь зубы. — Я ж в тебе таких дыр понаделаю, если ты не перестанешь подобным образом разговаривать с моей женой!

Я вздрогнул так, что моей ключице это стоило доброй недели покоя, и охнул:

— Твоей женой!

— Ну, то есть я хочу взять ее в жены, — объявил он.

И весь остаток дня дом на ранчо наполняло постоянно сгущавшееся облако эмоций, о наилучшие покупатели наилучших бестселлеров.

Росс следил за мисс Адамс, как ястреб за курочкой; он поглядывал на Этьена, как на воронье пугало. Этьен поглядывал на мисс Адамс, как пробравшаяся в курятник ласка; на Росса он внимания не обращал.

Состояние мисс Адамс в качестве предмета вожделения было просто ужасным. Совсем недавно избавленная от долгих мук и страданий, причиняемых белым холодом, когда Природа столько долгих часов обращала зрение маленькой учи-

тельницы вглубь самой себя… кто может сказать, какие глубинные женские тайны она постигла! И теперь, вдруг оказавшись среди мужчин, она попала в новый, другого рода конфликт, вместо того чтобы обрести облегчение и безопасность. Даже в своей комнате она могла слышать громкие голоса самозваных женихов.

— Я наделаю в тебе дыр! — кричал Росс.

— Будьте свидетелями, — взвизгивал Этьен, призывая на помощь нас с поваром.

Она никак не могла знать о пережитых трудностях, которые привели обоих мужчин к такому состоянию. Ей было известно только одно — там, где она рассчитывала встретить открытых и честных вольных каменщиков Запада, ее ожидало тонкое сплетение амбиций двух мужчин, намеревавшихся извлечь возможный для себя романтический эффект из ее затрудненного положения.

Она пыталась уклониться от внимания, оказываемого ей Россом и французом, обратившись к уходу за мной, и на помощь добровольной медсестре явились все остальные. Это тройственное соединение вызвало во мне такой приступ бессильного раздражения, что всем пришлось удалиться. Лишь однажды ей удалось шепнуть

мне на ухо:

— Мне так тревожно здесь. Я просто не знаю, что делать.

На что я негромко ответил, подняв плечо, что я, дескать, горбатый мудрец, что под знаком этим находится Восьмой дом и Луна пребывает в Деве, указывая на благоприятное разрешение ситуации.

Но по прошествии двадцати минут я увидел, что Этьен толкует ее судьбу по ладони, и подумал, что придется переделать ее гороскоп, взяв за основу темного человека с тюком в руках.

Перед закатом Этьен на какое-то время оставил дом, и Росс, сделавшийся неразговорчивым и угрюмым и даже доставший из-под замка Марка Твена, предпринял другую попытку. В типичной для себя манере.

Став перед девушкой, он величественным взором посмотрел на ту прохладную и совершенную точку, где лоб мисс Адамс соприкасался с прибором в ее благоуханных волосах. Впрочем, сперва он бросил полный отчаяния взгляд на меня. Я пребывал в глубоком сне.

— Маленькая женщина, — начал он, — такому человеку, как я, трудно видеть вас, пребывающей в таком состоянии. Вы, — судорожный глоток, —

слишком долго прожили в одиночестве посреди этого мира. Вы нуждаетесь в защитнике. И я даже сказал бы, что вы нуждаетесь сейчас в защитнике, наделенном высшей свирепостью, готовом в три раунда растереть в порошок шафранную рожу любого желтокожего скунса, которому приспичит докучать вам. Гм. Гм. Я — человек одинокий, мисс Адамс. До сих пор мне приходилось влачить свою жизнь без, — судорожный глоток, — сладостного сияния, — судорожный глоток, — женщины, разливающегося по моему дому. И особенно одиночество это досадно в такие дни, как этот, когда я просто вынужден оставаться внутри дома, и потому ваше появление в этой хижине заставило меня приветствовать вас с таким восторгом. И с тех пор меня наполняют под завязку всякие чувства — куда более разные, чем все отвратительные, средние, головокружительные и высокие, что за прошедшие годы попадались мне на жизненном пути.

Мисс Адамс безнадежно пошевелилась, явно думая лишь о спасении. Но Росс оставался непреклонным.

— Не хочу докучать вам, мисс Адамс, но, ей-богу, даже если так, все равно выслушайте. Надо же мне высказаться. Этого ладонного щекотуна,

жлоба-французишку, надлежит выставить из дома, и если вы захотите этого, он немедленно отправится восвояси. Только я не хочу ошибиться. Вы должны выказать свое предпочтение. Я уже подбираюсь к собственному предмету, мисс… мисс Вилли, на свой корявый фасон. За последние два дня я вынес все, что выпадало на мою долю, но что-то случиться должно. От этого сидения под крышей пастух повеситься может. Мисс Вилли, — грубой силой Росс заарканил ее руку, — только скажите слово. Должен же кто-то играть свою роль в вашей жизни. Выйдете ли вы…

— Ужинать, — отрывисто проговорил Джордж, появившись из кухни.

Мисс Адамс поспешила прочь.

Росс в гневе повернулся:

— Ты…

— Вертится вот у меня в голове… — проговорил Джордж.

Он с напряжением внес кофейник. Затем — с отвагой — большое блюдо со свининой и бобами. Затем — с угрюмым видом — картошку. И с великим глубокомыслием — печенье.

— Вертится вот у меня в голове. Нет нужды так долго дожидаться Свенгали. Можно поесть прямо сейчас.

Со своего превосходного наблюдательного пункта на кушетке я наблюдал за ходом этой трапезы. Росс, пребывавший в смятении, сердитый, разочарованный; Этьен, вечно льстивый, внимательный, томный; мисс Адамс, нервно клюющая пищу, с промедлением, едва ли не в истерике отвечающая на вопросы; а за спинами их то и дело проплывала крепкая и внушительная тень повара — словно дредноут[30] за пологом тумана.

Некогда мне принадлежали часы, хрипевшие и булькавшие минуты три, прежде чем пробить время. Посему медленная тяжесть ожидания прекрасно известна мне. Ибо, услышав это бульканье, я просыпался в три часа утра и ждал три минуты, пока не прозвучат один за другим эти три удара. Alors[31]. В ту ночь к ранчо Росса неторопливо приближался товарняк с Развязкой и уже посвистывал вдалеке.

Этьен приступил к делу после обеда. Мисс Адамс внезапно обнаружила самый живой интерес к оборудованию кухни, и со своего места я мог видеть, как она что-то оживленно говорит

---

[30] Примечания: 30

Дредноут — букв.: «неустрашимый», английский линейный корабль первой половины XX в., положивший начало этому классу кораблей.

[31] Примечания: 31

Итак (*фр.*).

Джорджу — ему, а не с ним, — а он только кивает и гремит своими кастрюлями.

— Мой д`уг, — проговорил Этьен, затянувшись сигаретой, выдыхая облако дыма и чуть касаясь плеча Росса украшенной перстнями рукой. — Понимаю, что вынужден быть отк`овенным с вами. Во-пе`вых, потому, что мы стали сопе`никами; и, во-вто`ых, потому, что вы восп`инимаете эти мате`ии настолько се`ьезно. Я… я — ф`анцуз. Я люблю женщин… — Он откинул назад свои кудри, и, блеснув желтыми зубами, послал в сторону кухни нечистый поцелуй. — Таков, полагаю, обычай моего на`ода. Все ф`анцузы любят женщин… оча`овательных женщин. И вот смот`ите: вот он — я! — Он широко развел руки. — Холодно сна`ужи! А я те`петь не могу холод! Снег! Я п`ези`аю этот жалкий снег! Двое мужчин! Этот, — указывая на меня, — и этот! — указывая на Росса. — Я в `асте`янности! Целых два дня я стою у окна и `ву на себе волосы! Я взволнован, `асст`оен, нет никакого покоя моей голове! И вот… внезапно… ее явление! Женщина… милая, хо`ошенькая, оча`овательная, невинная молодая женщина! Естественно, я ликую. Я вновь становлюсь собой — веселым, легкомысленным, счастливым. И я об`ащаюсь к мадемуазель, чтобы п`овести в`емя.

Вот для чего… вот для чего, мсье, п`едназначены женщины — для п`овождения в`емени! Для `азвлечения — как музыка, как вино! Они взывают к наст`оению, кап`изу, темпе`аменту. Иг`ать с этой женщиной, следить за ней че`ез ее наст`оение, добиваться ее… ах! не в этом ли наилучший способ п`оводить в`емя?

Росс хлопнул ладонью по столу.

— Заткнись, жалкая желтая морда! — взревел он. — Я возражаю против того, чтобы ты преследовал кого бы то ни было в моем доме. А теперь выслушай меня, ты… — Схватив коробку с сигарами, он хлопнул ею об стол для придания большего веса своим словам. Звук этот привлек внимание находившейся на кухне девушки, которая незаметно вошла в комнату. — Не знаю ничего о том, как вы, французы, свои романы крутите… и знать не хочу. У нас здесь дело обстоит по-другому, побеждает лучший. А лучший здесь я — и не смей забывать это! И девушка эта будет моей. И по этому поводу не будет никаких игр, никакого филантропства и чтения судьбы по ладони. Я решил, что девушка эта моя, и на этом довольно. Слово мое — закон посреди этого леса. Она принадлежит мне, и как только она согласится на это, ты вылетишь отсюда. — Коробка с

сигарами поставила в конце этого утверждения внушительную и громогласную точку.

Этьен оставался невозмутимым в своей браваде.

— Ах, вот что! Но так женщину не завоевать, — он непринужденно улыбнулся. — Готов п`едсказать, что таким способом ты ее не добьешься. Нет. С женщинами нужно обходиться иначе. Ее нужно заинте`есовать, потом поцеловать… это восхитительное и оча`овательное маленькое создание. Один только поцелуй! И тогда ты получаешь ее. — Он снова обнажил отталкивающего вида зубы. — Предлагаю вам пари в том, что сумею поцеловать ее…

Как счастливый хроникер благодатных деяний, с радостью сообщаю, что амурные уста Этьена затворила не его собственная рука. Раздался один короткий звук, словно бы мул лягнул дощатый забор, и через распахнувшиеся ворота француз отправился в область забвения.

Я видел, как был нанесен этот удар. Он получился каким-то равнодушным, спонтанным, почти что рассеянным. Мне даже подумалось, что повар воспользовался своими познаниями в области переворачивания блинов.

Какое-то время он просто постоял на месте,

почесывая в голове и погрузившись в размышления. А потом начал опускать закатанные рукава.

— Собирай-ка свои вещи, мисс, и поедем отсюда, — решил он наконец. — Закутайся потеплее.

Я услышал, как с тихим вздохом облегчения она направилась к своему пальто, свитеру и шляпке.

Росс вскочил на ноги и проговорил:

— Джордж, что ты намереваешься делать?

Джордж, уже направившийся в мою сторону, медленно развернулся лицом к своему работодателю.

— Будучи лагерным кашеваром, я не слишком обременен лошадьми, — просветил он присутствующих. — И потому собираюсь взять лошадь взаймы у этого вот парня.

Впервые за четыре последних дня душа моя искренне возрадовалась.

— Если ты собрался уподобиться Лохинвару[32], езжай куда хочешь, — благородно проговорил я.

Повар внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь обнаружить крупицу оскорбления в моих словах.

— Нет, — ответил он. — Ради нужд меня самого и этой юной леди мы проедем на лошади только

---

[32] Примечания: 32

Лохинвар — персонаж баллады Вальтера Скотта, похитившего любимую со свадьбы с другим.

три мили до Хиксвилля. Позволь теперь мне кое-что сказать тебе, Росс.

Широкая спина повара вдруг оказалась передо мной, и его низкий, отрывистый, властный голос загудел в комнате. Джордж повернулся к Россу:

— Ты свихнулся. Что с тобой произошло? Это снег так на тебя действует. С каждым днем ты становишься все более нервным и безумным. Снег и этот даго… — он ткнул пальцем в полумертвого француза, валявшегося в уголке, — довели тебя до той точки, когда я почел за благо вмешаться. Я все крутил это в голове и понял, что, если кое-чего не сделать, и притом скоро, здесь будет убийство или, может, кое-что и похуже…

Повар чуть кивнул головой в сторону занимаемой девушкой комнаты.

Он умолк, на мгновение погрузившись в сугроб собственных мыслей, затем поднял кверху корявый палец, призывая к молчанию.

— Об этой женщине. Я знаю тебя, Росс, и знаю, как ты на самом деле относишься к женщинам. Если бы она не попала сюда в этот снегопад, ты и два раза не подумал бы о женском вопросе. Когда непогода уляжется, ты с ребятами выкатишься из дома и все мысли о бабах выскочат из твоей головы… ты о юбке не вспомнишь и до Второго

пришествия. Потому лишь, что сейчас кругом снег, помни, что ты по-прежнему живешь в том же самом мире, каким он был четыре дня назад. И остался таким, как прежде. Так зачем же эта грызня после четырех дней проживания в доме? Вот что я крутил в голове, и вот решение, к которому я пришел.

Он подошел к двери и крикнул, чтобы один из конюхов оседлал моего коня.

Росс запалил сигарку и в задумчивости застыл посреди комнаты. Наконец он выпалил:

— Я испытываю сильное желание, Джордж, сорвать твою мудрую голову с плеч и выбросить в этот самый сугроб, если…

— Ошибаешься, мистер. Желание твое хорошим не назовешь. Скверное оно, желание это. Посмотри-ка сюда! — Он указал пальцем в проем двери, и нам обоим невольно пришлось последовать движению указующего перста.

— Вы застряли здесь еще на неделю, как пить дать. — И дав этому факту укорениться в наших головах, гаркнул, обращаясь к Россу: — Готовить умеешь? — А потом обратился ко мне: — А ты?

После чего он посмотрел на оставшиеся от Этьена руины и пренебрежительно фыркнул.

Наступило томительное молчание, пока мы с

Россом пытались представить, каково нам будет здесь жить неделю без еды.

— Если у тебя в голове есть хотя бы конский умишко, — продолжил Джордж, — и если ты не намереваешься оскорблять мои чувства, так я просто отвезу эту молодую девицу в Хиксвилль, а потом вернусь сюда и буду готовить для тебя.

Конь и мисс Адамс появились одновременно, оба очень серьезные и притихшие. Конь — потому что знал, что предстоит ему в такую погоду; девушка — потому что понимала, от чего ее избавляют.

И тут я вдруг осознал, что именно намеревается предпринять этот кашевар.

— Бог мой, Джордж! — воскликнул я. — Неужели вы не боитесь выезжать в такой снег?

За моей спиной Росс пробормотал:

— С чего бы ему бояться…

Джордж аккуратно помог девушке усесться на круп коня за седлом, натянул перчатки, вставил ногу в стремя и повернулся, оценивая меня ленивым оком.

Под этим взглядом я мысленно увидел в замершем передо мной человеке алгебраическое уравнение снега со знаком равенства посередине и его решение.

— Фамилия моя такая, снежная, — Сноу, — проговорил Джордж, затем вскочил в седло и осторожно направил коня под вихрь свежего серебра, только что отчеканенного на монетном дворе снегопада. Девушка, чтобы удержаться, блаженно приникла к надежной фигуре лагерного кашевара.

В конечном счете, расставшись с ранчо Росса Кертиса и его домом, я вывез с собой три… нет, четыре вещи.

Во-первых, отношение к снегу, которое смиренно попытался здесь передать; во-вторых, ключицу, с которой приходится обходиться с чрезвычайной осторожностью; в-третьих, воспоминание о том, что целую неделю нам пришлось питаться исключительно скверно приготовленной едой; и, в-четвертых, причину номера третьего: маленькую записку, доставленную нам в конце той недели, несколько строчек, набросанных синим карандашом на листке упаковочной бумаги: «Не могу вернуться назад на эту работу. Миссис Сноу говорит: нет, Джордж. Я прокрутил ее слова в голове; учитывая все обстоятельства, она права».

Властитель человеков

Я бродил по улицам сего Града Надменного, стремясь увидеть незнакомое лицо. Ибо Город этот есть пустыня, преисполненная знакомых, похожих друг на друга, как песчинки в пыльную бурю; и ты постепенно привыкаешь их ненавидеть — как неразлучного с тобой друга или кого-нибудь из своей родни.

И желание мое воистину исполнилось, ибо на углу Бродвея и Двадцать девятой улицы я увидел невысокого мужчину с льняными волосами и лицом, подобным изборожденной морщинами скорлупе ореха гикори; человек продавал быстро собиравшейся вокруг него толпе некий инструмент универсального назначения, исполняющий функции консервного ножа, отвертки, крючка для застегивания пуговиц, пилки для ногтей, рожка для обуви, цепочки для часов, картофелечистки и заодно достойный послужить украшением для кольца с ключами истинно благородного джентльмена.

В толпе появился раскормленный на убой коп, немедленно начавший протискиваться сквозь

конгрегацию покупателей. Закаленный годами торговли продавец моментально свернул лавочку, захлопнул свой саквояж и ловкими движениями ласки ускользнул через противоположную оконечность кружка. Утратившая цель толпа постепенно разбрелась во все стороны подобно тому, как разбредаются муравьи от внезапно убранной крошки. Коп сразу потерял всякий интерес к земле и ее обитателям и всей своей тушей застыл на месте, изощренным образом помахивая дубинкой. Я поспешил следом за Канзас-Биллом Бауэрсом и схватил его за рукав.

Он не повернулся ко мне и не замедлил шага, но в руке моей неожиданно очутилась аккуратно сложенная пятидолларовая бумажка.

— Я бы сказал, Канзас-Билл, — проговорил я, — что ты слишком дешево ценишь старых друзей.

Тут он повернул голову, и орешек-гикори треснул, являя широкую улыбку.

— Отдавай деньги, — ответил он, — или я натравлю на тебя полисмена за ложные претензии. Я подумал, что ты — коп.

— Мне хотелось бы поговорить с тобой, Билл, — сказал я. — Давно ли ты оставил Оклахому? Где сейчас находится Редди Макгилл? И почему ты торгуешь на улице этими немыслимыми

штуковинами? Сколько золота дали твои копи в Биг-Хорне? И как тебе удалось так сильно загореть? Что будешь пить?

— Год назад, — приступил к систематическому ответу Канзас-Билл. — Ставит ветряные мельницы в Аризоне. Хочу собрать денег, чтобы накупить всякой всячины. Пропил. Был в тропиках. Пиво.

Мы направились в подходящее место и уподобились пророку Илие, а темноволосый официант безукоризненно исполнял роль ворона. Следовало обратиться к воспоминаниям, чтобы привести Билла в эпическое настроение.

— Да, — заметил он, — помню, как веревка Тимотео оборвалась на рогах той самой коровы, пока теленок гонялся за тобой. Ты и эта корова! Никогда не забуду.

— Тропики велики, — продолжил я. — Какие области Рака или Козерога удостоились твоего визита?

— Вниз от Китая или Перу… а может, и Аргентинской Конфедерации, — ответил Канзас-Билл. — Во всяком случае, я обитал среди великого народа — неблагопристойного, но прогрессивного. Я провел там три месяца.

— Вне сомнения, ты был рад вернуться в лоно истинно великого народа, — предположил я.

— Тебе особенно приятно оказаться среди ньюйоркцев, самых прогрессивных и независимых среди граждан всех стран мира, — продолжил я с тупостью провинциала, довольно вкусившего от бродвейского лотоса.

— Ты хочешь затеять спор? — спросил Билл.

— А есть ли о чем спорить? — ответил я.

— Как ты думаешь, есть ли у ирландца чувство юмора? — переспросил он.

— У меня найдется свободный час или два, — проговорил я, посмотрев на часы, висевшие на стенке кафе.

— Не сказал бы, что американцы не являются великой коммерческой нацией, — сдал позиции Билл. — Однако вина лежит на людях, которые пишут ложь в своих произведениях.

— И как же звали этого ирландца? — спросил я.

— А было ли достаточно холодным последнее пиво? — задумчиво вопросил он.

— Насколько я понимаю, нам следует поговорить об очередных волнениях среди русских крестьян, — согласился я.

— Его звали Барни О'Коннор, — сказал Билл.

Таким образом, исстари привычные к ходу мыслей друг друга, мы приближались к точке, в

которой начиналась история Канзас-Билла.

— Я встретил О'Коннора в вестсайдском пансионе. Он предложил мне выпить у него в столовой, и мы поладили, как воспитанные вместе пес и кот. Итак, он сидел — высокий, утонченный и красивый, — упираясь ногами в стенку и спиной припав к другой, и разглядывал карту. На постели его три фута занимала прекрасная золотая шпага с кистями и стразами из горного хрусталя на рукоятке.

— Что это? — говорю (к этому времени мы уже стали близкими друзьями). — Готовится ежегодный парад в честь посрамления змеюкой выползших из Ирландии экспатриантов? И каков будет маршрут шествия? Вдоль по Бродвею до Сорок второй; потом на восток до кафе Маккарти и далее…

— Сядь на умывальный столик, — отвечает О'Коннор, — и слушай. И не надо говорить никаких извращений об этом мече. Это отцовский, из старого Мюнстера. А это карта, Бауэрс, а не схема праздничного шествия. Если ты глянешь еще раз, то увидишь на ней целый континент, называемый Южной Америкой, состоящий из четырнадцати зеленых, синих, красных и желтых стран, которые время от времени начинают

ныть и просить, чтобы их освободили от ярма угнетателей.

— Понимаю, — говорю я О'Коннору. — Идея эта имеет литературное происхождение. Десятицентовый журнальчик спер ее из Ридпатовой «Истории мира от каменноугольного периода до экватора».

— Она присутствует в истории каждой из этих стран в виде романа с продолжениями о рыцаре удачи, как правило носящем имя О'Киф, возводящем себя в диктаторы под дружные возгласы испано-американского населения «Cospetto!»[33], попутно не забывающего упомянуть и прочие итальянские ругательства. Но сомневаюсь, что это когда-нибудь случалось на самом деле.

— Барни, а не задумал ли ты подобную авантюру? — спрашиваю я его.

— Бауэрс, — говорит он, — ты человек образованный и отважный.

— Не могу отрицать, — соглашаюсь я. — Образованность просто в крови у нашего семейства; а отвагу я приобрел в жестокой борьбе с жизнью.

— О'Конноры, — говорит он, — племя воинственное. Вот тебе меч моего отца, а вот карта.

---

[33] Примечания: 33
«Черт побери!» (*ит.*)

Жизнь в бездействии не для меня. Мы, О'Конноры, рождены, чтобы править. И я должен властвовать над людьми.

— Барни, — говорю я ему тогда, — почему ты не можешь сделать над собой усилие и осесть на месте, погрузившись в тихую жизнь с присущими ей кровавой резней и развратом?.. Все лучше, чем бродить по заграницам. Разве можно найти лучший способ реализовать свое желание подчинять угнетенных и жестоко обращаться с ними?

— А ты еще раз глянь на карту, — говорит он, — на страну, которую я наметил для острия своего ножика. Ту, которую я выбрал, чтобы облагодетельствовать и низвергнуть отцовским мечом.

— Понимаю, — говорю я. — Конечно, зеленую; и это делает честь твоему патриотизму, и самую маленькую, что вызывает похвалу твоему суждению.

— Ты обвиняешь меня в трусости? — спрашивает Барни, чуть розовея.

— Человека, — говорю я, — который в одиночку нападает на целую страну и конфискует ее, ни в коей мере нельзя назвать трусом. В худшем случае тебя можно обвинить в подражании или плагиате. Если Энтони Хоуп и Рузвельт позволят тебе улизнуть с этой идеей, права возразить не

будет более ни у кого.

— Я не шучу, — говорит О'Коннор. — И у меня есть 1500 долларов на осуществление схемы. Ты мне понравился. Хочешь поучаствовать или нет?

— Я не на работе, — отвечаю, — но как это произойдет? Предстоит мне вкушать трудности подготовки к восстанию или ты назначишь меня военным министром после того, как страна будет покорена? Словом, что меня ждет — конверт с оплатой или всего лишь министерская должность?

— Я оплачиваю все расходы, — говорит О'Коннор. — И мне нужен человек, которому я смогу доверять. Если мы добьемся успеха, сможешь занять любую должность в качестве правительственного дара.

— Тогда ладно, — говорю. — Можешь составить для меня стопку контрактов, а также назначить членом верховного суда, чтобы я не мог претендовать на пост президента. В той стране, которую ты имеешь в виду, президентов пользуют чересчур болезненными пушками. Можешь заносить меня в ведомость на зарплату.

Через две недели О'Коннор и я отправились на пароходе в маленькую, зеленую и обреченную

страну. В пути мы находились три недели. О'Коннор объяснил мне, что планы его разработаны наперед; однако, будучи командующим вооруженными силами, он считает, что положение обязывает его хранить их в тайне от своей армии и кабинета, известного под именем Вильям Т. Бауэрс. Плата, за которую я нанялся освобождать не открытую еще нами страну от зол, угрожавших ей или, напротив, питавших ее, составляла три доллара в день. Так что каждым субботним вечером я строился на палубе парохода в парадную шеренгу, и О'Коннор вручал мне двадцать один доллар.

Высадились мы в городке по имени Гвайякерита — так мне сказали.

— Местечко не для меня, — говорю. — Пусть лучше будет старый добрый Хиллдейл… или Томпкинсвилль… или Черри-Трикорнерс, если уж говорить о нем. Вот уж где надо воткнуть реформу правописания и как следует ее разглаголить.

Если смотреть с бухты, городок, однако, оказался приятным. Беленький с зелеными рюшками и кружевной оторочкой на юбке, разложенной на песке у прибоя. Он казался столь же тропиче-

ским и dolce far ultra[34], как озеро Ронконкома на картинке из брошюры пассажирского отделения Лонг-Айлендской железной дороги.

Мы прошли через все унижения карантина и таможни; и тут О'Коннор ведет меня к сырцовому домишке на улице под заглавием «Авеню Грустных Бабочек Личных и Коллективных Святых». Десять футов шириной, идешь по колено в люцерне и сигарных окурках.

— Хулиганский переулок, — говорю я, перекрещивая ее.

— Тут будет наша штаб-квартира, — говорит, О'Коннор. — Мой агент, дон Фернандо Пачеко, снял этот дом для нас.

И вот в этом самом доме мы с О'Коннором открываем революционный центр. В передней комнате мы держали всякую показуху — фрукты, гитару и стол с большой витой ракушкой на нем. В задней комнате О'Коннор поставил свой стол и большое зеркало, а шпагу спрятал в соломенном тюфяке. Спали мы в гамаках, которые подвешивали на вбитых в стену крюках; а харчились в отеле «Инглез», бобовой столовке, устроенной по американскому образцу немцем-хозяином, с

---

[34] Примечания: 34
Сладкое безделье (*ит.*).

китайской кухней в стиле Канзас-Сити.

Похоже, что О'Коннор действительно продумал свою систему заранее. Он рассылал много писем; и каждый первый-второй день какой-нибудь из благородных туземцев входил в нашу штаб-квартиру, после чего его на полчаса запирали в задней комнате в компании с О'Коннором и переводчиком. Я скоро отметил, что, входя в эту комнату, они всегда находились в полном мире с самими собой и курили восьмидюймовые сигары; однако, появляясь из нее, складывали десяти- или двадцатидолларовую купюру и жутко костерили правительство.

Однажды вечером, когда мы пробыли в Гвайя… этом городишке Аромавилле-у-Моря около месяца и вместе с О'Коннором сидели у моря, помогая старине темпусу, времени то есть, течь свои чередом посредством рома со льдом и лимоном, говорю я ему:

— Если ты простишь патриота, не вполне понимающего, чему именно он содействует, хочу задать вопрос — в чем заключается твой план по подчинению этой страны? Ты намереваешься повергнуть ее в море крови или мирным и достопочтенным образом скупить голоса пришедших к урнам?

— Бауэрс, — говорит он, — ты отличный маленький человек, и после завершения конфликта я намереваюсь использовать тебя в полной мере. Но ты не понимаешь государственного управления. К настоящему времени мы уже создали целую стратегическую сеть, протянувшую свои незримые пальцы к горлу тирана Кальдераса. Наши агенты заняты своим делом в каждом городе республики. Либеральная партия просто обязана победить. В наших тайных списках насчитывается достаточно имен наших сторонников, чтобы сокрушить проправительственные силы единым ударом.

— Выборочные опросы только показывают, куда ветер дует, — говорю я.

— И кто совершил все это? — продолжает О'Коннор. — Я совершил. Я направил ход событий. Ситуация уже созрела, когда мы появились здесь, так утверждают мои агенты. Народ изнемогает под тяготой налогов и пошлин. Кто станет его вожаком, когда этот народ восстанет? На кого могут они рассчитывать, кроме меня? Только вчера Зальдас, наш представитель в провинции Дураснас, сообщил, что народ втайне уже называет меня «El Library Door», что по-испански означает «либерейтор», «освободитель».

— Зальдас — это тот старый ацтек со свекольной рожей, который явился в бумажном воротничке и нечищеных домашних туфлях? — спросил я.

— Он самый, — ответил О'Коннор.

— Видел я, как он укладывал в жилетный карман крупную купюру, когда выходил, — говорю я. — Зовут-то они тебя библиотечной дверью, а пользуются как дверью в банк. Будем рассчитывать на худшее.

— Конечно, это стоило мне денег, — говорит О'Коннор, — но через месяц страна будет в наших руках.

Вечерами мы гуляли по площади, слушали оркестр и присоединялись к населению в его достойных огорчения и предосудительных удовольствиях. В городе водилось тринадцать экипажей, принадлежавших высшим его слоям, — в основном рокевеи и старомодные ландо, наподобие того, в котором мэр выезжает на открытие новой богадельни в Миллиджвилле, штат Алабама. Вот они и разъезжали круг за кругом вокруг безводного фонтана посреди площади, поднимая высокие шелковые цилиндры перед друзьями. Простонародье гуляло босоногими группами, пыхтя дешевыми сигарами, которыми пренебрег бы даже питсбургский миллионер в Дамский

день в своем клубе. Но самую значительную роль в этом круговерчении играл Барни О'Коннор.

Глыбой в шесть футов два дюйма стоял он в своем наряде с Пятой авеню, озираясь орлиным оком и щекоча черными усами собственные уши. Он — рожденный быть диктатором, царем, героем, разорителем рода людского. И казалось мне, что все глаза обратились к О'Коннору и что каждая женщина влюбилась в него, а каждый мужчина — его боялся. Раз или два поглядев на него, я задумывался о вещах более приятных, чем выигрыш в затеянной им игре; и сам начинал чувствовать себя Идальго де Оффицио де Мошеннеро де Южная Америка. И тогда я вновь опускался на прочную почву и гнал свое воображение наслаждаться двадцатью одним американским долларом, причитавшимся по субботним вечерам.

— Обрати внимание, — говорит мне О'Коннор за такой прогулкой, — на народные массы, на их угнетенный и меланхоличный вид. Разве ты не видишь, что они созрели для революции? Разве ты не видишь, как они разочарованы?

— Не вижу, — говорю я. — Не вижу никакого дезочарования. Я начинаю понимать этих людей. Когда они кажутся несчастными, они на самом

деле наслаждаются собой. А когда чувствуют себя несчастными, то отправляются спать. Они не из тех, кто обнаруживает интерес к революциям.

— Они соберутся у нашего знамени, — говорит О'Коннор. — Три тысячи мужчин только в этом городе станут под ружье по условленному знаку. Я уверен. Но пока все остается в тайне. Неудача просто невозможна.

Вдоль Хулиганского переулка, как я предпочитаю называть улочку, на которой располагался наш штаб, тянулся рядок плоских глинобитных домишек под красными черепичными крышами, было еще несколько соломенных бараков, битком набитых индейцами и собаками, а чуть подальше находился единственный двухэтажный деревянный дом с балконами. В нем обитал генерал Тумбало, команданте и командующий вооруженными силами. Напротив нашего дома располагалась частная резиденция, напоминавшая гибрид печи для обжига и раскладушки. И вот однажды идем мы с О'Коннором одной шеренгой по обочине, которая у них тротуаром называется, мимо нее, и тут из окна вылетает большая красная роза. О'Коннор — он шел впереди — поднимает ее, целует, прижимает к пятому ребру и кланяется до самой земли. Клянусь всеми

каррамбами! Ирландское позерство в крови у этого парня. Я оглянулся по сторонам, рассчитывая увидеть маленького мальчика и девочку в белом атласном платьице, готовых вспрыгнуть ему на плечи, чтобы он мог потом потискать их и спеть: «Усни, крошка, усни».

Проходя мимо окна, я заглянул внутрь и заметил там белое платье, пару больших блестящих черных глаз и сверкающие белизной зубы под черной кружевной мантильей.

Вернулись мы домой, тут О'Коннор принялся расхаживать взад и вперед по коридору и крутить ус.

— Ты видел ее глаза, Бауэрс? — спрашивает он меня.

— Видел, — говорю, — видел — и не только их. Все, — говорю, — у нас идет как по писаному. Но чего-то, понимаешь ли, не хватает. Любовного интереса. Что там происходит в главе VII для того, чтобы подбодрить галантного ирландского авантюриста? Ну, любовь, конечно… любовь пускает шапку по кругу. Наконец-то мы располагаем в своем активе полуночного цвета глазами и розой, брошенной из приоткрытого окна. Итак, чему там положено быть дальше? Подземному ходу… перехваченному письму… предателю в

нашем стане… герою, брошенному в темницу… таинственной записке от сеньориты… наконец, развязке… сражению на площади…

— Не надо дурачиться, — прерывает меня О'Коннор. — Но это, Бауэрс, моя суженая, единственная на свете. Мы, О'Конноры, столь же скоры на любовь, как и на битву. Когда я поведу своих людей в сражение, сердце мое будет прикрывать эта роза. Подлинную силу хорошему бою может придать только женщина.

— Обязательно, — говорю, — без бабы не выйдет доброй потасовки. Смущает меня всего лишь одна вещь. В романах светловолосого друга героя всегда убивают. Ну, припомни сам все, что читал, и увидишь, что я прав. Так что не худо бы мне сходить в Botica Española[35] и приобрести бутылку каштановой краски, прежде чем ты начнешь свою войну.

— Но как я узнаю ее имя? — говорит О'Коннор, подпирая подбородок ладонью.

— Может, стоит просто перейти на ту сторону улицы и спросить ее? — спрашиваю я.

— Неужели ты не способен относиться к жизни серьезно? — вопрошает О'Коннор, глядя на меня

---

[35] Примечания: 35
Испанская аптека (*исп.*).

сверху вниз, словно школьный учитель.

— А что, если розу она предназначала мне… — говорю я и принимаюсь насвистывать испанское фанданго.

Тут впервые с момента нашего знакомства О'Коннор расхохотался. Распрямился во весь рост и принялся ржать во всю глотку, а потом привалился к стене и гоготал до тех пор, пока на крыше не задребезжали в такт черепицы. После этого он отправился в заднюю комнату, посмотрел на себя в зеркало и снова заржал, пока не прошел всю сцену с самого начала до конца. А затем посмотрел на меня и еще раз повторил представление.

Вот почему я и спросил у тебя, может ли быть у ирландца чувство юмора. Не понимая того, он отправлял свою роль в комедии, в фарсе с самой первой нашей встречи; а когда умный человек впервые самым серьезным образом намекнул на это, отреагировал словно две двенадцатых доли секстета в бродячем оркестре «Флорадора».

На следующее утро он является с триумфальной улыбкой и начинает вытягивать из кармана нечто вроде телеграфной ленты или серпантина.

— Великолепно! — говорю я. — Прямо как дома. Каков сегодня курс акций «Амальгамейтед Коппер»?

— Я узнал ее имя, — говорит О'Коннор и зачитывает нечто вроде: — Донья Изабель Антония Инес Лолита Каррерас и Буэнкаминос и Монтелеон. Она живет вместе со своей матерью. Отец ее погиб во время последней революции. И потому она наверняка будет сочувствовать нашему делу.

И, будь уверен, на следующий день она подбросила небольшой пучок роз прямо к нашей двери. О'Коннор рыбкой нырнул за ним и обнаружил, что стебли обмотаны бумажкой, а на ней строчка, написанная по-испански. Он тут же извлек из уголка переводчика и посадил его за работу. Толмач почесал затылок и предложил нам на выбор три варианта:

«У удачи лицо сражающегося человека»; «Удача выглядит как человек отважный»; «Удача предпочитает отважных».

Мы поставили деньги на последний вариант.

— Ну, видишь? — говорит О'Коннор. — Она намекает на то, что мне пора мечом освободить ее отчизну.

— На мой взгляд, скорее приглашает поужинать, — говорю я.

Итак, сеньорита день за днем сидит за закрытыми окнами и выбрасывает каждый раз по букетику. А О'Коннор расхаживает, как домини-

канский петух, надувает грудь и клянется передо мной, что заслужит ее бранными подвигами и великими деяниями на поле кровавой битвы.

Мало-помалу, но и революция начала вызревать. И вот однажды О'Коннор приглашает меня в заднюю комнату и выкладывает все как есть.

— Бауэрс, — говорит он мне, — ровно через неделю в двенадцать часов дня начнется наша борьба. Тебя развлекал и занимал мой проект, ибо у тебя не хватало разумения, чтобы понять, насколько легко и просто его может осуществить такой человек, как я, — человек, наделенный отвагой, умом и чувством исторического превосходства. Что для нас целый мир, — продолжает он, — мы, О'Конноры, правили мужчинами, женщинами и народами. И подчинить себе такую малую и безразличную страну, как эта, для меня сущий пустяк. Ты еще увидишь, что за босоногая мелюзга здешние мужчины. Да я одной рукой справлюсь с четырьмя из них.

— Не сомневаюсь, — отвечаю. — А как насчет шестерых? И что будет, если против тебя выставят целое войско из семнадцати душ?

— Слушай же, — говорит О'Коннор, — что будет дальше. В следующий вторник, точно в полдень, во всех городах республики выступят 25 000 пат-

риотов. Правительство окажется совершенно не готовым к восстанию. Мы захватим общественные здания, арестуем регулярную армию, назначим новое правительство. В столице будет не так легко, потому что там находится большая часть армии. Правительственные войска займут президентский дворец и укрепленные правительственные сооружения и сядут в осаду. Однако в первый же день восстания наши войска пойдут маршем на столицу, предварительно добившись местной победы. Выверен каждый шаг, удача неминуема. Я сам поведу войска. Новым президентом станет сеньор Эспада, министр финансов в нынешнем кабинете.

— И что же получишь ты? — спрашиваю.

— Было бы странно, — улыбнулся О'Коннор, — если бы мне не предложили на выбор все должности на серебряной тарелочке. Я исполнял роль мозгового центра всего заговора и полагаю, что, когда начнется вооруженная борьба, окажусь не в заднем ряду. Кто устроил так, что наши войска смогли получить оружие, тайно провезенное в страну? Разве не я договорился об этом с нью-йоркской фирмой, прежде чем отправляться сюда? Наши финансовые агенты проинформировали меня о том, что 20 000 винто-

вок Винчестера с полным боекомплектом были выгружены месяц назад в тайном месте на побережье и распределены по городам. Говорю тебе, Бауэрс, партия уже выиграна.

Откровенно говоря, подобные разговоры несколько пошатнули мое неверие в непогрешимость этого серьезного ирландского джентльмена и солдата удачи. Похоже было на то, что патриотическое жулье прокрутило мероприятие в самом деловом духе.

Я посмотрел на О'Коннора с большим уважением и начал прикидывать в уме фасон мундира, который будет положен мне как военному министру.

Вторник, день, назначенный для революции, явился своим чередом согласно намеченному плану. О'Коннор сказал, что назначен и сигнал к восстанию. На пляже возле национального пакгауза находилась старая пушка. Ее тайным образом зарядили, чтобы выпалить ровно в двенадцать часов. Услышав сей знак, революционеры должны были похватать припрятанное оружие, атаковать войска команданте, захватить таможню и всю правительственную собственность и припасы.

Я нервничал с самого утра. А около одиннадца-

ти и О'Коннор воспылал волнением и проникся марциальным духом кровопролития. Вооружившись отцовским мечом, он метался по задней комнате, словно лев, переевший овса в зоопарке. Выкурив пару дюжин сигар, я остановился на желтых лампасах на брюках моего будущего мундира.

В половине двенадцатого О'Коннор попросил меня быстренько пройтись по улицам города и посмотреть, заметны ли какие-то признаки народного возмущения. Я вернулся через пятнадцать минут.

— Что-нибудь слышал? — спрашивает он.

— Слышал, — отвечаю. — Сперва решил, что это барабаны. А потом понял, что ошибся: это был храп. Весь город спит.

О'Коннор торопливо достает часы.

— Дураки! — говорит он. — Надо же было назначить восстание на самое время сиесты, когда все спят. Но пушка разбудит их! Все будет в порядке, положись на меня.

Ровно в двенадцать часов мы услышали грохот выстрела — бу-ум! — потрясший весь город.

Тут О'Коннор выхватывает из ножен шпагу и мчится к двери. Я дошел до двери и остановился в проеме.

Люди уже повысовывали головы из дверей и окон. И посреди присмиревшего ландшафта разворачивалось великое зрелище. Генерал Тумбало — команданте — скатывался по ступеням своей укрепленной обители, размахивая пятифутовой саблей. В шляпе с плюмажем, сидевшей набекрень, и в парадном мундире с золотым позументом и пуговицами. Дополняли наряд небесно-голубая пижама, на одной ноге галоша, а на другой — красный плюшевый шлепанец.

Услышав пушечный выстрел, генерал, пыхтя, направился к солдатской казарме со всей скоростью, на которую были способны две сотни фунтов его бесцеремонно разбуженного тела.

Увидев его, О'Коннор испускает боевой клич, обнажает папин меч и бросается через всю улицу на врага.

И вот посреди улицы они с генералом явили пример кузнечного мастерства и смертоубийства. Искры сыпались от клинков, генерал рычал, а О'Коннор отвечал девизом своего народа и привычными ему выражениями.

Наконец сабля генерала переломилась пополам; и, взяв ноги в руки, он припустился наутек, выкрикивая «полисиос» на каждом шагу. Вдохновленный духом человекоубийства О'Коннор

гнал его до угла квартала, смахивая отеческим оружием пуговицы с фалд генеральского сюртука.

На углу его уже поджидали пятеро босоногих полицейских в хлопковых кальсонах и соломенных шляпах. Не тратя времени даром, они повалили О'Коннора, подчинив его действующим муниципальным законам.

Потом они понесли свою жертву прямо в тюрьму — мимо штаб-квартиры несостоявшейся революции. Я оставался в дверях. За каждую ногу и руку его держал полицейский, и тащили они О'Коннора по траве, словно черепаху. Дважды по пути они останавливались, и свободный полисмен сменял одного из несущих, который тут же раскуривал сигару. Когда его проносили мимо, великий рыцарь удачи повернул голову и посмотрел в мою сторону. Чуть покраснев, я занялся новой сигарой. Процессия проследовала дальше, и в десять минут первого все окрестности вновь погрузились в сон.

Днем ко мне заглянул переводчик и с улыбкой положил руку на большой красный глиняный кувшин, в котором мы обыкновенно держали воду со льдом.

— Поставщик льда сегодня не заходил, — гово-

рю я. — И как вообще дела в городе, Санчо?

— Ах да, — отвечает ливерного цвета лингвист. — В городе говорят: очень плохо. Очень плохо, что сеньор О'Коннор подрался с генералом Тумбало. Конечно, генерал Тумбало большой солдат и крупный человек.

— Что они сделают с мистером О'Коннором? — спрашиваю.

— Я беседовать мало с Juez de la Paz… по-вашему — мировой судья, — говорит Санчо. — Он сказать мне, что оч-чень скверное преступление, когда сеньор американо попытался убить генерала Тумбало. Он сказать, что они продержат сеньор О'Коннор в тюрьме шесть месяцев, а потом суд, а потом сеньор американо застрелят из ружей. Оч-чень жаль. Оч-чень.

— А как насчет революции, которая собиралась здесь начаться? — спрашиваю я.

— Ох, — жалуется этот Санчо, — по-моему, для революции сейчас слишком жарко. Революция лучше зимой. Возможно, даже следующей. Quien sabe?[36]

— Но пушка-то выстрелила, — говорю. — Знак был дан.

---

[36] Примечания: 36
Кто знает? (*исп.*)

— Тот громкий звук? — говорит Санчо с ухмылкой. — Котел на морозильной фабрике взорвался… буум! Всех пробудил от сиесты. Очень, оч-чень жаль. Льда нет. А день mucho[37] жаркий.

Перед закатом я сходил в тюрьму, и мне позволили переговорить с О'Коннором через решетку.

— Какие новости, Бауэрс? — спрашивает он. — Мы уже захватили город? Я весь день ожидал отряд освободителей, но стрельбы так и не услышал. Из столицы нет никаких вестей?

— Постарайся смириться, Барни, — говорю я. — Как мне кажется, планы несколько переменились. Но у нас есть более важное дело. У нас остались еще какие-нибудь деньги?

— Нет, — отвечает О'Коннор. — Последний доллар ушел вчера на оплату счета за жилье. Но наши войска, наверно, захватили таможню? Там должна быть уйма правительственных денег.

— Забудь, — говорю тогда ему, — о битвах. Я тут навел справки. Тебя расстреляют через шесть месяцев за вооруженное нападение и оскорбление действием. Сам я рассчитываю на пятьдесят лет исправительных работ за бродяжничество. Тебе

---

[37] Примечания: 37
Очень (*исп.*).

в тюрьме будут давать только воду. В отношении пропитания ты полностью зависишь от друзей. Посмотрю, что я смогу сделать.

Отправившись восвояси, я нашел чилийский серебряный доллар в старом жилете О'Коннора. На ужин я принес ему вяленой рыбы с рисом. Утром я сходил на лагуну и досыта напился воды, а потом вернулся в тюрьму. О'Коннор уже явно тосковал по говяжьему бифштексу.

— Барни, — говорю я тогда, — мне тут удалось обнаружить пруд, полный самой чистой воды. Самой свежей, чистой и лучшей воды во всем мире. Скажи только слово, и я принесу тебе целое ведерко, чтобы ты мог выплеснуть эту мерзкую правительственную отраву в окошко. Для друга я готов буквально на все.

— Неужели дошло до этого? — говорит О'Коннор, на глазах свирепея и расхаживая по камере взад и вперед. — Неужели меня насмерть заморят голодом, а потом расстреляют? О, когда я вырвусь отсюда, изменники и предатели ощутят на себе тяжесть руки О'Коннора.

Тут он подходит к решетке и говорит уже тише:

— А от доньи Исабель ничего не слышно? Пусть предаст меня весь мир, — говорит, — я верю

глазам ее. Она найдет способ добиться моего освобождения. А не можешь ли ты связаться с ней? Одно только слово ее… даже просто роза облегчит мои печали. Но только обращайся с ней предельно деликатно, Бауэрс. Эти знатные кастильянки так чувствительны и горды.

— Хорошо сказано, Барни, — отвечаю. — Ты подал мне идею. Расскажу подробно потом. Следует поторопиться с реализацией — пока мы с тобой не подохли от голода.

Вышедши, я отправился прямо на Хулиганский переулок, — на противоположную его сторону. Иду я себе мимо окна доньи Изабель Антонии Кончи Регалии, и тут из него, как водится, вылетает роза, и прямо мне в ухо.

Дверь была открыта, так что я снял шляпу и вошел. Свет внутри не горел; но она сидела в качалке возле окна и курила черную манильскую сигару. Приблизившись, я отметил, что даме уже лет тридцать девять и она ну разве что самую малость косоглаза. Я присел на ручку ее кресла, извлек манильскую сигару из ее рта и сорвал поцелуй.

— Привет, — говорю, — Иззи. Извини за нешаблонное обращение, но мне кажется, что я знаю тебя уже целый месяц. И чья у нас Иззи будет?

Дама нырнула головой под мантилью и набрала полную грудь воздуха. Я уж решил, что она собирается завизжать, однако при всем запасе кислорода в легких из нее вышло только:

— Моя люби американос.

И как только она произнесла эти слова, я понял, что нам с О'Коннором будет над чем потрудиться вечером с ножом и вилкой в руках. Я пододвинул к ней кресло поближе и через какую-то половину часа мы уже были помолвлены. После этого я взял свою шляпу и сказал, что должен ненадолго отлучиться.

— Ты вернешься? — говорит Иззи в тревоге.

— Я ж за проповедником, — говорю. — Вернусь через двадцать минут. Женимся сегодня. Не возражаешь?

— Женимся сегодня? — переспрашивает Иззи. — Хорошо!

Я отправился прямо на пляж — в шалаш консула Соединенных Штатов. Седой такой детина, аж восемьдесят два фунта веса, черные очки, росточку пять футов одиннадцать дюймов, и подшофе. Он как раз играл в шахматы с каучуковым мужчиной в белом костюме.

— Простите за вмешательство, — говорю, — но скажите, как можно здесь быстро пожениться?

Консул встает и запускает пальцы под сукно.

— Кажись, у меня была лицензия на это дело, год или два назад… поищу и…

Я хватаю его за руку.

— Не надо искать, — говорю. — Брак все равно всегда лотерея. И я готов рискнуть без лицензии, если вы не возражаете.

Консул вместе со мной отправился в Хулиганский переулок. Иззи кликнула маменьку, но старая леди ощипывала цыпленка в патио и сослалась на занятость. Так что мы встали рядом, и консул провел церемонию.

Вечером миссис Бауэрс состряпала отличный обед из тушеной козлятины, с тамалом, печеными бананами, фаршированными красными перцами и кофе. После обеда я уселся у окна в кресло-качалку, а она устроилась на полу, перебирая гитарные струны, — счастливая, как и положено миссис Вильям Т. Б.

Но тут меня словно сорвало с места. Я совсем забыл об О'Конноре. Я попросил Иззи собрать ему в корзинку еды.

— Этому высокому уродине? — спросила Иззи. — Но ничего, раз он твой друг.

Я вынул одну розу из стоявшего в кувшине букета и отнес корзинку в тюрьму. О'Коннор ел как

волк. А потом вытер лицо банановой шкуркой и спросил:

— А от доньи Изабель ничего не слышно?

— Тс! — говорю я, просовывая розу между прутьев. — Она посылает тебе вот это. И молит тебя помнить об отваге. Двое в масках посреди ночи принесли цветок и еду к развалинам замка в апельсиновой роще. Как тебе понравилась эта козлятина, Барни?

О'Коннор поднес розу к губам.

— Этот цветок значит для меня больше, чем вся пища мира. Однако ужин получился великолепным. Где ты добыл его?

— Заслужил уважение в городской лавке деликатесов, — отвечаю ему. — А теперь отдыхай. И если тебе что-то нужно, я сделаю это.

Так продолжалось несколько недель. Иззи оказалась отменной кухаркой, и если бы у нее нашлось чуть больше характера, и если бы она курила чуть более приличный табак, то, наверно, смогла бы понемногу освоиться с той честью, которую я оказал ей. Но время шло, и я уже начал тосковать по той настоящей леди, которую можно встретить только в трамвае. Я оставался в этой стране жульничества и денег исключительно потому, что просто не мог уехать, и мне казалось,

что приличия требуют от меня дождаться конца и увидеть, как расстреляют О'Коннора.

Но вот однажды заваливается ко мне наш старый переводчик и, прокурив целый час, сообщает, что мировой судья прислал его, чтобы пригласить меня в свою контору, располагавшуюся в лимонной роще на горке на окраине города; тут меня ждало истинное изумление. Я рассчитывал обнаружить в ней одного из темнокожих туземцев в подтяжках и старой шляпе в стиле Писарро. Но увидел перед собой элегантного джентльмена, самую чуточку загорелого, сидевшего в кожаном кресле с чехлом, потягивающего виски с содовой и читающего сочинения миссис Хэмфри Вард. С помощью Иззи я успел поднабраться испанских слов и потому начал с густым андалузским прононсом:

— Buenas dias, señor. Yo tengo… yo tengo…[38]

— О, садитесь, мистер Бауэрс, — говорит он. — Я провел в вашей стране восемь лет в колледжах и на юридических факультетах. Позвольте мне составить для вас коктейль. С лимонной кожицей или без?

Словом, мы прекрасно поладили. Примерно

---

[38] Примечания: 38

Добрый день, сеньор. Ваш язык… ваш язык… (*исп.*)

через полчаса я уже начинал рассказывать ему о скандале в нашем семействе, случившемся, когда тетя Эльвира убежала с пресвитерианским проповедником из Кемберленда.

Тут он и говорит мне:

— Я послал за вами, мистер Бауэрс, чтобы известить о том, что вы можете наконец получить своего друга мистера О'Коннора. Конечно, нам пришлось для вида наказать его за нападение на генерала Тумбало. Устроено так, что он будет освобожден завтра ночью. Вас обоих препроводят на борт груженного фруктами парохода «Вояджер». Он направляется как раз в Нью-Йорк и сейчас в гавани. Ваш проезд уже обговорен.

— Минуточку, судья, — говорю я, — а эта революция…

Судья от хохота валится на спинку кресла.

— Видите ли, — говорит он наконец, — это была маленькая шутка, устроенная нашими шалунами и сорванцами из общества, еще и парой-другой магазинных приказчиков. Город надрывает бока от смеха. Мальчишки прикинулись конспираторами и постарались — как это говорится у вас? — избавить сеньора О'Коннора от лишних денег. Весьма забавная история.

— Действительно, — соглашаюсь я. — Шутка

была ясна мне с самого начала. Еще один бокал, если ваша честь не против.

Вечером следующего дня, по темноте, двое солдат привели О'Коннора на пляж, где я уже ждал его под кокосовым деревом.

— Тс! — говорю я ему на ухо. — Донья Изабель устроила наш побег. Ни слова больше!

Солдаты же подвезли нас на гребной лодке до маленького парохода, пропахшего салатным маслом, дешевым пансионом и костным фосфатом.

Огромная, зрелая тропическая луна поднималась над отплывавшим кораблем. О'Коннор опирался на гакаборт на корме корабля и молча прощался с Гвайя… Мошентоном-на-Пляже. В руке его была красная роза.

— Она подождет, — решил он наконец. — Такие глаза не обманывают. Но я еще увижу ее… увижу. Изменники не способны вечно унижать О'Коннора.

— Ты говоришь уже о продолжении, — говорю я. — Только во втором томе, пожалуйста, больше не упоминай светловолосого друга, который таскает герою харч в темницу.

И, памятуя о сем, мы возвратились в Нью-Йорк.

Канзас-Билл Бауэрс смолк, и наступила пауза,

нарушавшаяся только привычным уличным шумом.

— О'Коннор все-таки вернулся туда? — спросил я.

— Он исполнил желание своего сердца, — промолвил Билл. — Ты можешь пройти со мной два квартала? Я тебе покажу.

И он повел меня на восток, а потом вниз по лестнице, прикрытой забавным, ярким и похожим на пагоду сооружением. Знаки и изображения на кафельных стенках и поддерживающих колоннах утверждали, что мы находимся на Большой Центральной станции подземки. Сотни людей заполняли среднюю платформу.

Из тоннеля выскочил направлявшийся в центр экспресс и остановился. В нем было людно. Но еще более многолюдная толпа устремилась к вагонам.

Возвышавшийся над всем собранием великолепный и широкоплечий атлет ринулся в самую гущу столпотворения. Хватая обеими руками мужчин и женщин, он забрасывал их, словно манекены, в открытые двери вагона.

Время от времени кто-нибудь из пассажиров, сохранивший еще лоскут души и долю самоуважения, поворачивался к атлету, чтобы выразить

недовольство подобным обхождением; однако синий мундир на рослой фигуре, свирепый и властный взгляд его глаз и нежелание попасть в могучие руки склеивали плотно губы, уже собравшиеся возмутиться.

Когда поезд оказался набитым, атлет продемонстрировал всем, кто мог видеть и восхититься, свой непревзойденный дар правителя человеков. Коленями, локтями, плечами, не знающими сопротивления ногами он впихивал, вталкивал, вдавливал, втискивал, вбивал, впрессовывал в вагон еще остававшихся на перроне пассажиров. Наконец, заглушая стуком колес стоны, вопли, молитвы и проклятия несчастных, экспресс продолжил путь.

— Это он самый и есть. Ну, разве не чудо? — с восхищением промолвил Канзас-Билл. — Просто та тропическая страна — не место для него. И мне хотелось бы, чтобы наш известный путешественник, писатель, военный корреспондент и драматург Ричмонд Хобсон Дэвис увидел его сейчас. О'Коннор должен быть воспет на сцене.

Тысяча долларов

— Тысяча долларов, — повторил адвокат Толман сурово и торжественно. — Вот деньги.

Юный Джиллиан весело усмехнулся, щупая тонкий конверт с новенькими пятидесятидолларовыми купюрами.

— Самая неудобная сумма, — объяснил он радушным тоном. — Скажем, на десять тысяч можно хотя бы устроить фейерверк. Даже от пятидесяти долларов меньше мороки, чем от тысячи.

— Вы присутствовали при оглашении дядюшкиного завещания, — сухо, как и подобает профессионалу, проговорил адвокат Толман. — Не уверен, что вы обратили надлежащее внимание на детали. Напомню об одной из них. Вы обязаны предоставить нам отчет о способе расходования этой тысячи, как только ее потратите. Таково безусловное требование завещателя. Надеюсь, вы в точности исполните волю почившего мистера Джиллиана.

— Можете не сомневаться, — вежливо ответствовал молодой человек, — хоть это и повлечет дополнительные расходы. Не исключено, что

мне придется нанять секретаря. Я не силен в бухгалтерии.

Джиллиан отправился в свой клуб, где отыскал человека, которого называл стариной Брайсоном.

Старина Брайсон, разменявший пятый десяток, был спокоен и любил уединение. Он читал в углу книгу.

Увидев приближающегося Джиллиана, он вздохнул, отложил книгу и снял очки.

— Очнись, старина Брайсон, — обратился к нему Джиллиан. — Я расскажу тебе забавную историю.

— Ступал бы ты со своей историей в бильярдную, — буркнул старина Брайсон. — Сам знаешь, я твои истории не переношу.

— Эта приличнее остальных, — заверил его Джиллиан, закуривая. — Я рад, что ты станешь первым ее слушателем. К тому же она плохо сочетается со звуком катящихся бильярдных шаров. Я только что вернулся от корсаров, рядящихся в дядюшкиных душеприказчиков. Как, по-твоему, правильнее всего поступить с тысячей американских долларов?

— Я полагал, — откликнулся старина Брайсон, демонстрируя примерно столько же интереса,

сколько проявляет пчела к графинчику с уксусом, — что почивший Септим Джиллиан стоил как минимум полмиллиона.

— Именно столько он и стоил, — радостно подтвердил Джиллиан, — в том-то вся штука! Но он доверил весь свой груз дублонов презренному микробу. Иными словами, часть отойдет некоему изобретателю новых бацилл, а часть будет израсходована на строительство больницы, где с этими бациллами будут яростно бороться. Ну и кое-что еще по мелочи. Дворецкий и экономка получат по десятке и по перстню с печаткой. Доля ненаглядного племянника — одна тысяча долларов.

— У тебя всегда хватало денег, чтобы швырять их на ветер, — напомнил ему старина Брайсон.

— Тонны! — сказал Джиллиан. — Раньше дядюшка на меня не скупился.

— Ты перечислил всех наследников? — спросил старина Брайсон.

— Всех до одного. — Джиллиан хмуро скосил глаза на свою сигарету и зачем-то лягнул каблуком кожаный диван. — Хотя нет… Есть еще некая мисс Хейден, при которой дядюшка состоял опекуном, — она жила в его доме. Такая спокойная, музыкальная… Дочь человека, некогда по

оплошности сдружившегося с дядей. Так вот, она тоже удостоена перстня с печаткой и десяти зеленых. Я ей завидую! Заказал бы две бутылки сухого шампанского, сунул бы официанту чертов перстень вместо чаевых — и дело с концом! Не оскорбляй меня своим высокомерным видом, старина Брайсон. Лучше расскажи, как лучше пристроить тысячу долларов.

Старина Брайсон протер очки и улыбнулся. Улыбка старины Брайсона всегда служила Джиллиану сигналом, что оскорбления продолжатся.

— Тысяча долларов, — изрек Брайсон, — это либо много, либо мало. Один приобретет на эти деньги славный домик и посмеется над Рокфеллером. Другой отправит жену на благословенный юг и тем сохранит ей жизнь. Третий накупит молока для тысячи младенцев на три летних месяца и спасет половину из них от верной смерти. На тысячу можно купить себе полчаса захватывающей игры в «фараон» в одной из крепостей порока, а можно выучить честолюбивого юношу приличной профессии. Говорят, вчера за эту сумму на аукционе был приобретен подлинник Коро[39]. Можно, например, перебраться в Нью-

---

[39] Примечания: 39

Коро, Камиль (1796–1875) — французский живописец.

Гемпшир и прожить на эти деньги два года в ус не дуя или снять на один вечер «Медисон-Сквер-Гарден», чтобы прочесть аудитории, если таковая соберется, лекцию о полной опасностей участи наивного наследника.

— Тебе бы цены не было, — парировал Джиллиан, нимало не смутившись, — если бы не привычка читать морали. Напоминаю, как звучал вопрос: что сделать с тысячей долларов.

— Тебе? — переспросил Брайсон со снисходительной улыбкой. — В твоем распоряжении, Бобби Джиллиан, один-единственный логичный поступок. Купи мисс Лотте Лорьер бриллиантовый кулон, после чего отправляйся в Айдахо и наймись там на ранчо. Я бы посоветовал овцеводческое — на дух не переношу овец!

— Благодарю, — молвил Джиллиан, поднимаясь. — Я на тебя понадеялся, и не напрасно. Золотые слова! Ухнуть разом все деньги — самый правильный путь. Мне ведь за них отчитываться, а я этого терпеть не могу.

Вызвав такси, он скомандовал водителю:

— Сценический вход театра «Колумбина».

Мисс Лотта Лорьер пыталась обмануть природу при помощи пудры, готовясь к выходу, когда костюмерша сообщила, что к ней просится мистер

Джиллиан.

— Впустите, — разрешила мисс Лорьер. — Что за срочность, Бобби? Через две минуты мне надо быть на сцене.

— Попудри немного правое ухо, — посоветовал Джиллиан, большой знаток будуарных тонкостей. — Так-то лучше. Я не отниму у тебя много времени. Как ты отнесешься к скромному кулону? Я могу себе позволить единичку с тремя нулями.

— Как скажешь! — пропела мисс Лорьер. — Подайте мне правую перчатку, Адамс. Послушай, Бобби, ты видел, какое ожерелье было вчера на Делле Стейси? У «Тиффани» оно стоило две тысячи двести. Но, конечно… Потяните мой пояс немного влево, Адамс.

— Мисс Лорьер, на сцену! — крикнули в коридоре.

Джиллиан направился к своему такси.

— Что бы вы сделали с тысячей долларов, если бы они у вас были? — обратился он к водителю.

— Открыл бы таверну, — тут же ответил тот, словно ждал этого вопроса. — Я знаю местечко, в которое можно выгодно вложить денежки, — угловой четырехэтажный кирпичный дом. Я все продумал. Второй этаж — блюда китайской

кухни, третий — маникюр и иностранные представительства, четвертый — бильярд. А что, у вас водятся лишние деньжата?

— Нет-нет, — успокоил его Джиллиан, — это я так, из чистого любопытства. Будете возить меня час. Езжайте, я скажу, когда остановиться.

Миновав восемь бродвейских кварталов, Джиллиан постучал тростью по подножке и сошел. На тротуаре сидел на табурете слепой, торговавший карандашами. Джиллиан остановился перед ним.

— Прошу меня извинить, — произнес он. — Скажите, что бы вы сделали, если бы у вас в кармане оказалась тысяча долларов?

— Вы вышли из только что подъехавшего такси? — спросил слепой.

— Совершенно верно.

— Надеюсь, — рассудил продавец карандашей, — вы можете себе позволить разъезжать на такси при свете дня. Взгляните-ка.

Он достал из кармана пальто книжечку и подал ее Джиллиану. Тот увидел, что это удостоверение о банковском депозите на сумму 1785 долларов.

Отдав слепому его сокровище, Джиллиан снова уселся в такси.

— Только что вспомнил… Отвезите меня в ад-

вокатскую контору «Толман энд Шарп», Бродвей, дом…

Толман устремил на него вопросительно-враждебный взгляд из-под очков в золотой оправе.

— Прошу прощения, — начал Джиллиан жизнерадостно. — У меня возник вопрос. Полагаю, это не будет с моей стороны нахальством. Завещал ли мой дядя что-нибудь мисс Хейден, помимо кольца и десяти долларов?

— Ничего, — заверил его Толман.

— Премного вам благодарен, сэр, — молвил Джиллиан и вернулся в такси, чтобы назвать водителю адрес почившего дядюшки.

Мисс Хейден сидела в библиотеке и писала письма. Миниатюрная, стройная, одетая во все черное. От ее глаз было невозможно оторваться. Джиллиан возник перед ней с таким видом, словно для него перестал существовать весь остальной мир.

— Я только что от Толмана, — начал он. — Они разбираются с бумагами. Только что они наткнулись на… — Он порылся в памяти, надеясь выудить из нее подходящий юридический термин, — на приложение, дополнение, в общем, продолжение завещания. Одним словом, старикан в последнюю минуту взялся за ум и отписал

вам тысячу долларов. Я ехал как раз в эту сторону, и Толман попросил меня вручить вам денежки. Держите! Пересчитайте — этим типам нельзя верить на слово. — И Джиллиан выложил перед ней деньги.

Мисс Хейден побелела.

— О! — сказала она. — О!

Джиллиан деликатно отвернулся к окну.

— Полагаю, — проговорил он негромко, — для вас не составляет тайны, что я в вас влюблен.

— Мне очень жаль, — сказала мисс Хейден, — забирая деньги.

— Мне не стоит рассчитывать на взаимность? — спросил Джиллиан почти что игривым тоном.

— Мне очень жаль, — повторила она.

— Позвольте выписать чек, — сказал Джиллиан с улыбкой и присел. Она вручила ему лист бумаги и ручку и отошла к своему бюро.

Джиллиан облек трату тысячи долларов в следующие слова: «1000 долларов, внесено отщепенцем Робертом Джиллианом на счет вечного блаженства, каковое по воле Небес способна даровать лучшая и прекраснейшая женщина на свете».

Вложив листок в конверт, Джиллиан поклонился и вышел.

Такси снова затормозило у конторы «Толман энд Шарп».

— Итак, я истратил тысячу долларов, — радостно объявил Джиллиан Толману, не снимавшему золотых очков, — и прибыл отчитаться, как мы договаривались. В воздухе уже пахнет летом — вам так не кажется, мистер Толман? — Он бросил на стол адвоката белый конверт. — Здесь вы найдете меморандум о modus operandi расходования денег, сэр.

Толман, не притронувшись к конверту, подошел к двери и позвал Шарпа, своего партнера. Вдвоем они исследовали бездонные глубины громадного сейфа и извлекли трофей — большой конверт, запечатанный сургучом. Безжалостно его вскрыв, они склонили умудренные головы над содержимым. Потом Толман нарушил затянувшееся молчание.

— Мистер Джиллиан, — произнес он официальным тоном, — ваш дядя продиктовал дополнительное распоряжение к завещанию. К нему было приложено требование к нам не раскрывать вам его содержание, пока вы не предоставите нам отчета о расходовании тысячи долларов. Поскольку вы выполнили это условие, мой партнер и я ознакомились с дополнительным распоряжением.

Чтобы не путать вас юридической терминологией, затрудняющей понимание, я передам суть.

В случае, если то, как вы истратили тысячу долларов, доказывает, что вы обладаете достоинствами, заслуживающими вознаграждения, последнее не заставит себя ждать и будет весьма велико. Судьями завещатель назначил мистера Шарпа и меня. Смею вас заверить, мы исполним свой долг ответственно, либерально и в духе законности. Мы вовсе не настроены против вас, мистер Джиллиан. Но вернемся к букве дополнительного распоряжения. Если вы поступили с означенной суммой осмотрительно, мудро, не проявив эгоизма, то в нашей власти вручить вам ценные бумаги на сумму пятьдесят тысяч долларов, доверенные нам завещателем с этой целью. Однако в случае, как пожелал оговорить наш клиент, покойный завещатель, если вы распорядились деньгами тем же образом, как делали это в прошлом, — я всего лишь цитирую покойного мистера Джиллиана, — то есть растранжирили их в компании сомнительных личностей, — то означенные пятьдесят тысяч немедленно перейдут к Мириам Хейден, находившейся под опекой завещателя.

Итак, мистер Джиллиан, разрешите мистеру

Шарпу и мне изучить ваш отчет о расходовании тысячи долларов. Полагаю, вы приготовили его в письменном виде. Надеюсь, вы доверяете нашему решению.

Толман потянулся к конверту, но Джиллиан оказался быстрее его. Порвав свою записку вместе с конвертом в мелкие клочки, он спрятал их в карман.

— Не беспокойтесь, — произнес он с улыбкой. — Содержание все равно оказалось бы для вас непонятным. Я ведь просадил эту тысячу на скачках. Всего доброго, джентльмены.

Толман энд Шарп горестно качали головами, провожая Джиллиана глазами. Потом из коридора, где ветреный юнец ждал лифта, до них донесся его веселый свист.

Поражение Города

Столкновение Роберта Уолмсли с Городом вылилось в борьбу титанов, из которой Роберт вышел победителем, заработав состояние и репутацию. При этом Город заглотнул его, не поперхнувшись. Город дал ему то, чего он от него хотел, но заклеймил своим клеймом, переделал, перекроил, отлил заново по своему вкусу. Город распахнул перед ним ворота общества и тут же сделал затворником на подстриженной, безликой лужайке, членом стада избранных жвачных. Одеждой, манерами, провинциализмом, обыденностью, узостью взглядов он уже не отличался от стандартных манхэттенских джентльменов, очаровательно мелких даже в своем величии.

Одно из отдаленных графств штата с гордостью называло теперь удачливого городского адвоката своим воспитанником. А ведь всего шестью годами раньше то же графство советовало ему выплюнуть солому и хорошенько почистить зубы и презрительно посмеивалось, когда веснушчатый Боб, ослушавшись папашу, махнул рукой на дешевую кормежку на ферме,

гордо владевшей единственной лошадью, сделав выбор в пользу дорогих городских ленчей. Но прошло шесть лет — и не осталось ни одного процесса по делу об убийстве, увеселительной поездки, дорожного происшествия или котильона, в связи с которыми не упоминался бы Роберт Уолмсли. Портные заманивали его в свои салоны, чтобы соорудить хотя бы одну складочку на его безупречно отглаженном костюме. Завсегдатаи клубов, носители сложных фамилий, которые пишутся через черточку, выходцы из старейших семей, накопивших горы судебных повесток, считали редкой удачей похлопать его по спине и назвать попросту Бобом.

Однако вершину успеха Роберт Уолмсли покорил только с женитьбой на Алисии Ван дер Пул — так недоступна, хладнокровна и бела была дочь старейших жителей Города. У ее ног простерлись Альпы высшего общества, где каждый из высочайших пиков штурмовала добрая тысяча верхолазов, но пики эти доходили ей разве что до колен. Она наслаждалась собственной, доступной одной ей, разреженной атмосферой, гордилась целомудрием и не залезала в фонтаны, не кормила обезьянок, не разводила собачек ради привлечения внимания. Она носила фамилию

Ван дер Пул — этим все сказано. Фонтаны били в ее честь, обезьянки резвились для категории людей, которую она не разглядела бы и в лорнет, собаки имели право на существование разве что в роли поводырей слепцов и компаньонов предосудительных персонажей, курящих трубки.

Она и стала триумфом Роберта Уолмсли. Если, покорив эту высочайшую из вершин, он, как и предполагал один хромоногий поэт с искусственной завивкой, обнаружил, что и там, за облаками, скалы укутаны вековыми непреступными снегами, то не подавал виду, отделываясь улыбкой победителя. Он был редким счастливчиком и отдавал себе в этом отчет, хоть и изображал спартанца с толстым слоем льда в области сердца.

После короткого свадебного вояжа за границу супруги возвратились, чтобы нарушить общественное спокойствие, больше напоминавшее мертвый сон. В мавзолее красного кирпича, кричавшем о своем величии посреди старой площади, давно ставшей кладбищем репутаций, они давали бесконечные приемы. Роберт Уолмсли гордился женой, но, тряся руку очередному гостю, не забывал про альпеншток и градусник.

Однажды на глаза Алисии попалось письмо, отправленное Роберту матушкой. Авторша не

блистала эрудицией, делала ошибку за ошибкой, простодушно признавалась в материнской любви и выбалтывала деревенские секреты. Из письма получилось сделать глубокомысленные выводы о здоровье поросенка и новорожденного теленка; покончив с новостями этого свойства, матушка справлялась о здоровье сына. Это было послание с запахом земли, дома, с биографией пчел, турнепса, свежеснесенных яиц, со слезой родителей, обиженных сыновним невниманием, с запахом сушеных яблочек.

— Почему ты никогда не читаешь мне писем своей матери? — спросила Алисия. Звук ее голоса всегда наводил на мысли о лорнете, счетах от «Тиффани», санях, скользящих в сторону «Сорока Миль», звоне бабушкиных хрустальных канделябров, снеге на покатой крыше, сержанте полиции, отказывающемся выпустить задержанного под залог.

— Твоя мать, — продолжила Алисия, — приглашает нас посетить ферму. Я никогда не была на ферме. Мы поедем туда на неделю-другую, Роберт.

— Обязательно, — ответствовал Роберт с видом заместителя судьи Верховного суда, соглашающегося со старшим коллегой. — Я не показал

тебе приглашение, потому что думал, что ты не захочешь ехать. Очень рад, что ты решила по-другому.

— Я сама напишу ей ответ, — произнесла Алисия со слабым подобием энтузиазма. — Фелиция сейчас же начнет укладывать мои чемоданы. Думаю, хватит семи. Не думаю, что твоя мать принимает много гостей. Много ли приемов она устраивает?

Роберт встал и сделал профессиональный отвод шести чемоданам из семи, после чего живописал ферму во всех пригодных для слуха своей белоснежной супруги подробностях, не веря собственным ушам. До этой минуты он сам не догадывался, в какого истого горожанина превратился.

Спустя неделю супруги оказались на маленькой железнодорожной станции в пяти часах езды от города. Их громко окликнул саркастически ухмыляющийся юнец, приехавший на станцию на телеге, увлекаемой мулом.

— Хэлло, мистер Уолмсли! Наконец-то вернулись? Извините, что я встречаю вас не на автомобиле, но отец сегодня вывозит на нем клевер с десятиакрового участка. Я приехал попростому, а не в вечернем костюме, — за это тоже

не осуждайте, ведь до шести часов еще далеко…

Алисия, ежась на летней жаре, как на арктическом ветру, белая, как норвежская снегурочка, в невесомом муслине, с летучим кружевным зонтиком в руке, вышла из-за угла станционного здания — и братец Том мигом забыл о своем высокомерии. Весь путь он, не сводя взгляда со своих коленок, обращался исключительно к мулу, доверяя ему свои мысли о мироздании.

Солнце изливало золотые потоки на тучные пшеничные поля, города остались так далеко, словно их не существовало вовсе. Дорога вилась по лесу, долине, взбиралась на холмы, бежала вниз, как лента, оторвавшаяся от сарафана беспечного Лета. Ветерок следовал за повозкой, как нежный жеребенок из конюшни Феба.

Потом на горизонте показалась ферма; к дому вела каштановая аллея. В воздухе разливался аромат шиповника и влажных прохладных ив, шелестящих у ручья. И, конечно, душа Роберта Уолмсли умиленно внимала голосам земли. Они доносились из зачарованной лесной чащи, жужжали из высокой травы, журчали в ручье, неслись с лугов, где играл на свирели невидимый Пан; козодои, кувыркавшиеся в воздухе, добавляли к этой песне свои выкрики; колокольчики,

звякающие на шеях коров, вышибали слезу. Во всем этом многоголосье можно было расслышать рефрен: «Наконец-то ты дома!»

Голоса земли обращались к беглецу, воротившемуся назад. Листья и лепестки цветов говорили с ним старым языком беззаботной юности; им вторили даже неодушевленные предметы: камни и ворота, плуги и крыши; каждый поворот дороги был для него как откровение. Все вокруг улыбалось ему, он дышал одним дыханием с Природой, сердце потянулось к старой любви. Город отступил.

Так сельский атавизм поймал Роберта Уолмсли в свои сети, полностью им завладел. Алисия, сидевшая рядом, казалась теперь совершенно чужой. В той жизни, к которой он сейчас вернулся, ей не было места. Никогда еще она не выглядела такой далекой, бесцветной, высокомерной, бесплотной, нереальной. И тем не менее никогда он не восхищался ею сильнее, чем в этой скрипучей телеге — таком неподходящем для урожденной Ван дер Пул средстве передвижения.

Вечером, когда стихли все приветствия и закончился ужин, вся семья, включая рыжего пса Баффа, устроилась на веранде. Алисия, уже не высокомерная, а просто молчаливая, сидела в

тени, одетая в великолепное бледно-серое платье. Мать Роберта беззаботно щебетала про мармелад и люмбаго; Том восседал на верхней ступеньке, сестры Милли и Пэм ловили светлячков, сидя на нижней. Мать качалась в плетеном кресле, креслу отца недоставало одной ножки. Бафф разлегся в центре, мешая всем сразу. Невидимые феи и эльфы сновали в сумерках, целясь в сердце Роберта все новыми воспоминаниями. В его душе уже поселилось сельское безумие. Слишком далеко находился город.

Отец не принес на веранду свою трубку, что было наивысшим проявлением учтивости.

— Не вздумай! — крикнул Роберт, сам принес отцовскую трубку и зажег ее, сам стал стягивать с отца тяжелые сапоги. Первый сапог поддался легко, второй сначала не поддавался, а потом слетел. Мистер Роберт Уолмсли, обитатель Вашингтон-сквер, свалился с крыльца вниз, сверху на него плюхнулся с испуганным лаем тяжелый пес Бафф. Том презрительно захохотал.

Роберт снял пиджак и забросил его в цветущий сиреневый куст.

— Иди-ка сюда, хохотун! — крикнул он Тому. — Кажется, ты обзывал меня «городским хлыщом»? Руки чешутся положить тебя на лопатки.

Том с радостью принял приглашение. Трижды они схватывались, как борцы на ковре, и дважды Том был вынужден кусать траву, умоляя брата не вывихивать ему заломленную руку. Потом, потные, раскрасневшиеся, все еще доказывая окружающим, что один проворнее другого, они снова заползли на веранду. Услышав пренебрежительное замечание Милли о достоинствах брата-горожанина, Роберт, прихвативший из травы огромного кузнечика, набросился на сестру, та вырвалась и кинулась наутек. Сделав круг длиной в четверть мили, оба вернулись, причем Милли принесла брату-победителю прочувствованные извинения. Сельская идиллия преобразила его на глазах.

— Куда вам, деревенщине, со мной тягаться! — кричал он воинственно. — Лучше заранее просите пощады!

Накричавшись, он принялся делать в траве сальто, вызывая у Тома приступы завистливого сарказма. Потом вдруг исчез, но вскоре появился снова, толкая перед собой дядюшку Айка, старого чернокожего слугу, вооруженного банджо. Накидав на ступеньки песка, он изобразил пантомиму «Цыплята, клюющие зерно», а потом не меньше полутора часов исполнял чечетку.

Кто бы мог подумать, что он способен на столь дерзкие выдумки, что настолько неутомим? Он пел, рассказывал байки, заставляя слушателей покатываться со смеху, незлобиво пародировал походку и выговор деревенских жителей. Он попросту сошел с ума оттого, что в жилах забурлила кровь прежней, настоящей жизни.

Он так разошелся, что матери пришлось его ласково пожурить. Потом всем показалось, что Алисия собралась что-то сказать, но она смолчала. На протяжении всего представления она сидела неподвижно — тонкая белая тростинка, непостижимая для окружающих.

Наконец она попросила разрешения удалиться в свою комнату, сославшись на усталость, и невозмутимо прошла мимо Роберта. Тот застыл в двери с видом последнего паяца — растрепанный, раскрасневшийся, одежда в непростительном беспорядке. Куда подевался безукоризненный Роберт Уолмсли — изысканный завсегдатай клубов, украшение светского общества? Сейчас он проделывал простецкие фокусы с предметами домашнего обихода, и все семейство, покоренное его напором и воодушевлением, взирало на него расширенными от восхищения глазами.

При виде уходящей Алисии Роберт вздрогнул.

Он успел забыть об ее присутствии. Даже не взглянув на него, она поднялась наверх.

С этой минуты веселье угасло. Еще час пролетел в разговорах, после чего Роберт тоже поспешил наверх.

Войдя, он застал ее стоящей у окна, в той же одежде, в которой она сидела на веранде. За окном белела, словно заваленная снегом, цветущая яблоня.

Роберт вздохнул и замер рядом с женой. Он предвидел свою участь. Вульгарную деревенщину, расписавшуюся в собственной вульгарности, ждал безжалостный приговор и заслуженная кара. Перед его мысленным взором вставало насупленное, посуровевшее лицо Ван дер Пула.

Он был крестьянином, позволяющим себе низменные игрища в глубокой затерянной долине, а она — обитательницей незапятнанных горних вершин, чистой, ледяной и белоснежной. Он сам сорвал с себя маску. Весь глянец, поза, позолота, которые он приобрел, казалось бы, в городе, легко осыпались, опали, как плохо сидящая накидка, слетающая при первом же порыве свежего ветерка. Он ждал вердикта, заранее втянув голову в плечи.

— Роберт, — раздался тихий, холодный голос

судии, — я думала, что вышла замуж за джентльмена.

Расплата надвигалась неизбежно, но, даже ожидая худшего, Роберт Уолмсли не мог оторвать взгляд от яблони, на которую когда-то карабкался, вылезая наружу из этого самого окна. Он не сомневался, что и сейчас способен на такой подвиг. Еще интересовало, как когда-то в детстве, сколько всего цветков наберется на яблоне — никак не меньше трех миллионов, а то и все десять… Но голос жены не позволил ему забыться.

— Я думала, что вышла замуж за джентльмена, а оказалось…

Почему тогда она подошла к нему так близко?

— А оказалось, что мой муж лучше. — Неужели эти слова произносит его Алисия? — Он — мужчина! Боб, милый, поцелуй меня.

Город был очень далеко.

Ночь страха в городе

— Во время последней волны жары, — сказал мой друг Карни, вожатый вагона-экспресса № 8606, — можно было вдоволь понаблюдать за проявлениями человеческой натуры.

Комиссар по паркам, начальник полиции и глава комиссии по лесному хозяйству собрались и решили позволить людям ночевать в парках, пока метеорологическое бюро не опустит ртутный столбик в термометре до пригодного для жизни уровня. Вынесли они резолюцию о массовой ночевке на открытом воздухе и подписали ее у министра сельского хозяйства и в Обществе уничтожения комаров в Саут-Орандж, штат Нью-Джерси.

Стоило появиться объявлениям о том, что особым распоряжением для людей открываются парки, и так, кстати, им принадлежащие, как начался всеобщий исход в Центральный парк тех, кто обитает в его окрестностях. Уже через десять минут после захода солнца казалось, что происходит костюмированная репетиция Картофельного голода в Ирландии или Кишинев-

ского погрома. Люди шли семьями, компаниями, шайками, группами, кланами и племенами с намерением насладиться сном в прохладе, на зеленой травке. Те, у кого не было печек, тащили с собой груды одеял. Разведя под кронами деревьев костры и улегшись кто на дорожках для верховой езды, кто на земле, где трава помягче, люди в количестве примерно пяти тысяч душ успешно противостояли ночной прохладе в одном только Центральном парке.

Как тебе известно, сам я проживаю в элегантно обставленном доходном доме под названием «Беершеба», как раз над изящной эстакадой нью-йоркской центральной железной дороги. Когда раздался приказ ночевать в парке, вытекавший из инструкций консультационного комитета Городского клуба и компании восстановления почвы «Мерфи», у нас в доме поднялся крик, словно при пожаре или выселении. Жильцы похватали перины, сапоги, связки чеснока, грелки, резиновые лодки и ведра с углем, чтобы удобнее расположиться в парке. Толпа на тротуаре выглядела точь-в-точь как наступающая русская армия. Плач и причитания раздавались по всей лестнице, от квартиры Данни Гохегана наверху до жилища миссис Голдштейпупски на первом

этаже.

— С какой стати, — неистовствовал Данни, подбегая к дворнику в одних синих носках, — я должен покидать свою уютную квартиру и валяться в пыли, как какой-нибудь кролик? Вот так, с мелочей, начинаются крупные неприятности. Вместо того, чтобы…

— Тихо! — прикрикнул на него полицейский Рейган, постукивая себя по ладони палкой. — Это приказ начальника полиции. Всем живо в парк!

Надо сказать, жили мы в «Беершебе» как одна счастливая семья. О'Додсы и Штейновицы, Каллаганы и Коэны, Спиццинелли и Макманусы, Шпигельмайеры и Джонсы — все нации мира прекрасно находили у нас общий язык. Когда ночи стали нестерпимо душными, мы выстроили детей цепочкой от дверей дома до лавочки Келли на углу и получали в нужном количестве пиво, избавившись от необходимости за ним носиться. Одевались мы самую малость, лишь бы приличия соблюсти, сидели себе на подоконниках, болтали в воздухе ногами и слушали, как на пожарной лестнице на уровне шестого этажа поют девчонки Розенштейн, на восьмом играет на флейте Патси Рурк, а женщины перекликаются из окон, называя друг дружку разными бранны-

ми словечками и никогда не повторяясь. А уж когда дул ветерок, наша «Беершеба» и подавно превращалась в летний курорт, с которым не сравнятся никакие горы Кетсскилл. Надуешься пивом, свесишь с подоконника ноги, нюхаешь отбивные, которые жена жарит на угольной плите, любуешься на детей, пляшущих на улице в одних трусиках вокруг шарманщика, знаешь, что за квартиру уплачено на неделю вперед, — что еще нужно человеку в жаркий вечер? Как вдруг появляется полиция со своим предписанием и гонит людей из уютных гнездышек на ночевку в парк — это что, Россия, живущая по царским указам? Ничего, вот подойдут выборы…

Значит, гонит нас полицейский Рейган в парк, заводит в ближайшие ворота… В темноте дети сразу поднимают вой — домой хотят!

— Проведете ночь среди зелени, на природе, — командует Рейган. — Отказ и оскорбления комиссара по паркам и директора метеорологического бюро наказываются штрафом и тюремным заключением. Я отвечаю за участок в тридцать акров отсюда до Египетского монумента и очень вам советую вести себя тихо. Власти приговорили вас к ночевке на траве — вот и отбывайте приговор. Утром можете расходиться, а вечером

снова сюда. Насчет залога в приказе ничего не говорится, но я все выясню и поставлю в воротах поручителей.

Освещения не было, если не считать автомобильных фар на улице, так что мы, 179 жителей комплекса «Беершеба», приготовились заночевать как в дремучем лесу. Лучше всего чувствовали себя те, кто прихватил с собой одеяла и дрова. Зажгли они костры, обмотали головы одеялами и, бранясь, попадали в траву. Смотреть было не на что, пить нечего, заняться нечем. В темноте врага не отличишь от друга, разве что схватишь за нос и опознаешь происхождение на ощупь. Сам я принес в парк зимнее пальто, зубную щетку, таблетки хины и красный плед с кровати. Трижды за ночь кто-то пытался улечься на мой плед и тыкался мне в горло коленями. Трижды я пытался определить, с кем имею дело, щупая ему физиономию, а затем пинками сгонял с пледа и вообще с холма. Потом на меня дохнули запахом виски, я потрогал неизвестному нос и сказал:

— Так это ты, Патси?

— Я, Карни, — ответил он. — Думаешь, это надолго?

— Я не пророк и предсказывать погоду не умею, — ответил я, — знаю только, что осенью им при-

дется очень постараться, чтобы заманить меня на избирательный участок.

— С меня и подавно довольно игры на флейте в вентиляционной шахте, потения в своем собственном окне под веселые звуки пробегающих мимо поездов, нюханья соседской вони — жареной печенки с луком — и чтения в газете про последние убийства, — подхватил Патси. — Зачем им понадобилось загонять нас в парк? Не говоря уж о тварях, заползающих под брюки, и нечисти, нежно именуемой комарами! Что-то я не пойму, Карни, зачем нам в таком случае вносить квартплату?

— Мы участвуем в великой городской вечеринке на открытом воздухе, — объяснил я, — устроенной полицией и остальными городскими службами. Иначе нас пришлось бы везти на пляж.

— Так или иначе, спать на земле я не могу, — пожаловался Патси. — У меня аллергия и ревматизм, а в ухе уже полно муравьев.

Ночь продолжается, бывшие жители удобных квартир стонут и бродят в темноте по лесу, напрасно надеясь на успокоение. Дети плачут от холода, дворник готовит для них горячий чай и подкладывает в костер таблички «таверна» и

«казино». Жильцы пытаются устраиваться на ночлег семьями, но получается не очень хорошо: редким счастливчикам удается разместиться рядом с соседом по этажу или с единоверцем. То какой-нибудь Мэрфи окажется на траве Розенштейна, то Коэн заберется под куст к О'Грейди. За этим следует ощупывание выразительных носов и скатывание очередного тела со склона вниз. Женщины таскают друг дружку за волосы. Оказавшихся под рукой ребятишек шлепают на ощупь, невзирая на родство. При дневном свете в «Беершебе» соблюдают социальные различия, но в темноте это сложно. Миссис Рафферти, презирающая даже асфальт, по которому ступает «даго», просыпается поутру и обнаруживает, что положила ноги на грудь Антонио Спиццинелли. Майк О'Дауд, всегда с удовольствием спускающий разносчиков с лестницы, вынужден распутывать обмотавшие ему шею пейсы старого Исаакштейна, поднимая своим криком спящих рядом. Однако находятся и такие, кто, воспользовавшись темнотой, познакомились поближе и теперь пренебрегают чинимыми природой неудобствами. Следующим утром пять пар объявило о скорой свадьбе.

Ближе к полуночи я встал, смахнул с волос росу,

вышел к проезжей части и присел там. Меня радовал вид улицы, домов; я думал о счастливчиках, курящих трубки у своих окон и наслаждающихся прохладой так, как это предусмотрено природой.

И тут рядом со мной останавливается автомобиль, из которого выходит хорошо одетый господин.

— Объясните, — обращается он ко мне, — почему столько людей валяются в парке на траве? Я думал, это не разрешается.

— Вышло распоряжение полиции, подтвержденное ассоциацией стрижки лужаек, согласно которому всякий, кто не вывешивает на задней оси автомобиля номерной знак, задерживается и направляется в общественный парк в ожидании дальнейших указаний. К счастью, распоряжение издано в период хорошей погоды, так что смертность, исключая тех, кто устроится на берегу озера и на обочине дороги, не превысит обычную.

— Кто эти люди на склоне холма? — спросил господин.

— Жители доходного дома «Беершеба», — ответил ему я, — отличного приюта для любого, особенно жаркой ночью. Скорее бы рассвет!

— Итак, они приходят сюда по ночам, — заклю-

чил он, — дышат свежим воздухом, наслаждаются ароматами цветов и деревьев. Здесь они находят отдых после пекла каменных городских стен.

— Прибавьте к этому мрамор, штукатурку и железо.

— Проблема будет немедленно решена, — сказал он, вынимая записную книжку.

— Вы комиссар по паркам? — осведомился я.

— Я владелец «Беершебы». Да благословит Господь траву и деревья, позволяющие моим жильцам передохнуть. Завтра квартирная плата будет увеличена на пятнадцать процентов. Доброй ночи!

Искатели приключений

Вполне возможно, что эту историю ждет крушение на изгибающихся рельсах компании «Non Sequitur»[40]. Но сперва извольте занять ненадолго место в застекленном вагоне «raison d'etre»[41] и ознакомиться с кратким рассуждением на тему… скажем, «Что находится за углом».

Omne mundus in duas partes divisum est[42]: на тех, кто носит калоши и платит подушный налог, и тех, кто открывает новые континенты. Новых континентов нынче уже не откроешь; но к тому времени, когда калоши выйдут из моды, а подушный налог будет заменен подоходным, вторая половина человечества уже проложит железнодорожные ветки вдоль марсианских каналов.

В словарях слова «фортуна», «удача», «риск» даются как синонимы. Но для посвященных у каждого слова свое значение. Фортуна — это

---

[40] Примечания: 40
Неверный вывод (*лат.*).

[41] Примечания: 41
Оправдание существования (*фр.*).

[42] Примечания: 42
Мир делится на две части (*лат.*).

награда, выигрыш. Риск — путь к выигрышу, когда в тени обочины может маячить удача. Лик Фортуны сияет и прельщает. Риск багрян и отдает геройством. У Удачи симпатичная внешность — как симпатична любая неопределенность, взросшая на мечтах; мы любуемся ею по утрам, смотрясь в чашку с утренним кофе.

Искатель приключений — это тот, кто, скитаясь по дорогам Фортуны, не спускает глаз с придорожных изгородей и рощиц. В этом и заключается разница между ним и Авантюристом. Употребление в пищу запретного плода — наивысшее достижение Искателя приключений в истории. Авантюрист же пытается доказать, что сие имело место. Тот и другой нарушают своей неугомонностью порядок мироздания. Ну а мы, как подобает стандартным благонамеренным горожанам, закурим трубочку, пожурим детишек и киску, устроимся в плетеном креслице под лампой у окошка и побалуемся сказкой о двух современных искателях Удачи.

— Слыхали историю про одного человека с Запада? — спросил Биллинджер, сидя в гостиной с темными дубовыми стенами. — Войдете в «Паухатан-Клаб» и увидите ее сразу справа.

— Несомненно, — отозвался Джон Реджинальд

Форстер и немедленно покинул гостиную.

Получив от гардеробщика шляпу, Форстер удалился (возможно, и вам неоднократно захочется, не дослушав меня, забрать шляпу и сбежать). Биллинджер привык к такому поведению слушателей и не обижался. Тем более что у Форстера часто возникало настроение бежать без оглядки, где бы он ни находился. Чтобы человек находился в ладу с собой, ему необходимо подтверждение его суждений; желательно также, чтобы другие люди разделяли его настроение.

Еще чаще Форстеру хотелось поймать за хвост Удачу. По натуре он был Искателем приключений, но условности, происхождение, традиции и сдерживающее влияние манхэттенского племени не давали ему развернуться. Он уже испробовал все магистральные пути и почти все ответвления, которые, как считается, помогают отвлечься от прозы жизни, но покоя не обрел. Причина была проста: он всегда знал, что его ждет в конце улицы. Опыт и логика неизменно подсказывали ему, к чему приведет любое отступление от рутины. Во всех музыкальных вариациях основной темы жизни он слышал удручающую монотонность. Он так и не уяснил, что несмотря на то, что Земля — шар, на ней хватает граней, а значит, и углов.

А истинный интерес всегда поджидает нас за углом.

Удрав из «Паухатан-Клаб», Форстер побрел наугад, даже не пытаясь понять, чего ему в данный момент хочется и на какую улицу желательно свернуть. Он с радостью заблудился бы, но на это нечего было надеяться. Риск и Фортуна манят в Великом городе всякого, Удача же попадается на пути прискорбно редко. Она — дама под вуалью, восседающая на пышных носилках и перемещающаяся под защитой бдительных охранников. Можно долго прочесывать город во всех направлениях и ни разу с ней не столкнуться.

Пробродив целый час, Форстер оказался на углу широкой авеню, напротив живописного старого отеля, озаренного мягким, манящим светом. Взгляд Форстера выражал уныние: он знал, что его ждет трапеза, но трапеза в этом отеле никак не претендовала на приключение. То был один из излюбленных его караван-сараев — с безмолвным и расторопным обслуживанием, с изысканным выбором блюд. Совершенство кухни заставляло мгновенно забыть про голод. Музыка — и та звучала там ненавязчиво и не действовала на нервы.

Форстера посетила блажь: не поужинать ли ему

лучше в каком-нибудь дешевом, предпочтительно сомнительном ресторанчике, где-нибудь в простонародном районе, где можно попробовать стряпню из любого уголка мира? Уж там-то может произойти что-нибудь из ряда вон выходящее: за подлежащим не последует сказуемого, у дороги не окажется конца, на вопрос не прозвучит ответ, у причины не найдется следствия; только там, в соленом океане жизни, может прорезаться течение, опровергающее законы физики. Одежда Форстера благоприятствовала приключению: на нем был темный деловой костюм, который не вызовет подозрения даже там, где официанты в рубашках с короткими рукавами подают спагетти.

Приняв решение, Джон Реджинальд Форстер принялся шарить по карманам в поисках денег, ибо правило гласит: чем дешевле твой ужин, тем неизбежнее требование платы. Увы, во всех его тринадцати карманах и карманчиках не обнаружилось ни одной монетки. У него имелся пятизначный банковский счет, однако…

В следующее мгновение он почувствовал, что слева стоит и насмешливо наблюдает за ним незнакомый человек. Незнакомец выглядел как ничем не примечательный бизнесмен лет

тридцати, был опрятно одет и вроде бы дожидался трамвая. Впрочем, трамвайные пути на улице отсутствовали. В связи с этим близость и нескрываемое любопытство человека Форстер воспринял как вторжение в свою личную жизнь. Однако, будучи убежденным поклонником «событий за углом», он не возмутился, а лишь смущенно улыбнулся.

— Все на месте? — поинтересовался любопытный, подходя еще ближе.

— Как будто, — откликнулся Форстер. — Хотя я думал, что у меня есть доллар-другой…

— Понятно. — Незнакомец усмехнулся. — Доллара не оказалось. Я сам только что занимался теми же изысканиями с почти таким же результатом: в верхнем кармане пиджака я обнаружил ровно два цента — понятия не имею, как они там очутились. Представляете, как можно отужинать на два цента?

— Значит, вы еще не ужинали? — спросил Форстер.

— Нет, хотя не отказался бы. В связи с этим у меня есть к вам предложение. У вас вид очень приличного господина, костюму даже можно позавидовать — вы уж извините меня за такую фамильярность. Мой вид тоже вряд ли вызовет

у метрдотеля подозрение. Предлагаю посетить ресторан вот этого отеля и пообедать вдвоем. С меню мы обойдемся, как миллионеры, — или, если хотите, как джентльмены среднего достатка, решившие в кои-то веки позволить себе роскошь. Насытившись, мы сыграем моими монетками в «орел или решка» и выясним, кто из нас двоих примет на себя удар раздражения и мести добропорядочного заведения. Разрешите представиться — Айвз. Полагаю, мы занимали в жизни схожее положение, прежде чем денежки послали нам воздушный поцелуй.

— Неплохо придумано, — добродушно согласился Форстер. Наконец-то ему улыбнулось приключение в границах загадочной страны Удачи, обещающее нечто большее, нежели скука пополам с робостью за общим столом.

Вскоре они уже сидели за угловым столиком ресторана. Айвз бросил Форстеру одну монетку.

— Посмотрим, кому из нас делать заказ.

Форстер проиграл. Айвз рассмеялся и начал диктовать официанту заказ, перечисляя напитки и мясные блюда с видом человека, родившегося с ресторанным меню в руках. Форстер внимательно слушал и сопровождал слова партнера одобрительными кивками.

— Я из тех немногих, — начал Айвз за устрицами, — которые всю жизнь ищут чудес, словно у них в запасе вторая жизнь, когда можно будет испытать найденное. Я не обычный авантюрист, тянущийся к жирному барышу, и не игрок, делающий ставку и знающий, что возможен как выигрыш, так и проигрыш. Я стремлюсь пережить приключение с непредсказуемым исходом. Для меня вершина существования — бросить вызов слепой судьбе. На свете так много унылой зазубренности и подчинения закону всеобщего тяготения, что на любой жизненной тропе вас поджидают указатели с полной информацией о том, куда она упрется. Я как клерк из министерства многословия, горько сетовавший на посетителей, требующих справок. «Ему понадобилось ЗНАТЬ!» — жаловался он коллегам. Так вот, я ничего не хочу знать, не желаю ни рассуждать, ни догадываться. Я делаю ставки не глядя.

— Понимаю! — радостно подхватил Форстер. — Мне часто хочется передать словами свои ощущения. Наконец-то это произошло — вы сделали это за меня. Очень хочется подергать Судьбу за усы. Как вы думаете, у нее есть усы? Закажем-ка бутылку мозельского.

— Согласен, — сказал Айвз. — Рад, что вы ме-

ня поддерживаете. Тем сильнее будет ярость обманутого заведения, которую испытает на себе проигравший. Если это вас не утомляет, я разовью поднятую тему. Очень редко я встречаю истинных искателей приключений — людей, не требующих от Судьбы расписания и карты, прежде чем пуститься в путешествие. Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее угодить в приключение, исход которого невозможно предвидеть. В елизаветинские времена можно было дать пинка стражнику, стащить с двери молоточки, в любом месте нарваться на головорезов — и никто не рискнул бы заранее предсказать, чем это кончится. А теперь? Попробуйте нагрубить полицейскому — и вся романтика неведомого сведется к гаданию, в каком именно полицейском участке вы окажетесь.

— Знаю, знаю, — кивал Форстер.

— Только сегодня я вернулся в Нью-Йорк, — продолжал Айвз, — после трех лет скитаний по земному шару. И что вы думаете? В других землях немногим лучше, чем дома. Весь мир захлестнула эпидемия выводов и заключений. Единственное, что меня по-настоящему интересует, — это предпосылка. Я пытался охотиться на крупную дичь в Африке. Я знаю, каким будет результат выстрела

из винтовки с повышенной начальной скоростью пули в зависимости от расстояния, поэтому, если мой выстрел валил слона или носорога, я испытывал примерно такую же радость, как в школе, когда, оставленный за шалость после уроков, успешно решал на доске арифметические задачки.

— Знаю, знаю, — продолжал кивать Форстер.

— Возможно, какую-то новизну принесут аэропланы, — задумчиво продолжил Айвз. — Я уже поднимался на большую высоту на воздушном шаре, но это оказалось скучно: ветер, балласт, заведомо известный результат.

— Женщины? — с улыбкой предложил Форстер.

— Три месяца назад, — молвил Айвз, — я бродил по константинопольскому базару и заметил там женщину. Лицо ее, разумеется, скрывала ткань, но тем ярче сияли глаза. Она перебирала в лавке янтарь и жемчуг. При ней находился слуга — огромный нубиец, черный как уголь. Приблизившись, он сунул мне записку. Там было поспешно написано карандашом: «Арочные ворота Соловьиного сада в девять вечера». Любопытная предпосылка, мистер Форстер?

— Продолжайте! — взмолился заинтересовав-

шийся Форстер.

— Я навел справки и выяснил, что Соловьиный сад принадлежит одному старому турку, чуть ли не великому визирю. Разумеется, я разведал, как добраться до этих самых ворот, и был там в назначенный час. Знакомый гигант-нубиец впустил меня в сад, и я уселся на скамью у благоуханного фонтана, рядышком с женщиной с закрытым личиком. Мы долго беседовали. Она оказалась Миртл Томпсон, журналисткой, готовящей для чикагской газеты материал про турецкие гаремы. Она призналась, что обратила внимание на нью-йоркский покрой моей одежды и решила, что я мог бы вести в ее газете раздел моды.

— Понимаю… — пробормотал Форстер.

— Или вот еще, — продолжил Айвз. — Я путешествовал на каноэ по рекам Канады, преодолел много порогов и водопадов. Но желаемого все равно не получил, ибо знал, что вариантов всего два: либо я пойду ко дну, либо доплыву до моря… Я перепробовал все мыслимые карточные игры, но математики уже испортили картежникам все удовольствие, подсчитав процентную вероятность выигрыша.

Я заводил знакомства в поездах, отвечал на объявления, звонил в чужие двери, испробовал

все шансы, какие мне только предоставлялись, — но меня неизменно ждал банальный итог, логический вывод из начальной предпосылки.

— Знаю, — повторил Форстер. — Я все это прочувствовал. Но у меня было маловато возможностей испытать судьбу. Есть ли другое место, где невозможное так же нереально, как в этом городе? Казалось бы, здесь не счесть шансов проверить непроверяемое; но всякий раз итог оказывается именно таким, каким ты его видел с самого начала. Хотелось бы, чтобы езда в подземке и на трамвае сулила так же мало неожиданностей.

— Все ночи в количестве тысячи и одной кончились, над Аравией поднялось солнце, — сказал Айвз. — Халифов тоже не сыскать нынче днем с огнем. Лампа Аладдина заменена термосом с гарантией сохранения любого джинна в замороженном или кипящем состоянии на протяжении двух суток. Жизнь воспроизводит сама себя, наука убила приключение. У Колумба и у человека, первым полакомившегося устрицей, был целый веер возможностей, а у нас — ни одной. Очевидно одно: неочевидное искоренено.

— Увы, — проговорил Форстер, — у меня ограниченный опыт городского жителя. В отличие от

вас, я не повидал мир, однако мне кажется, что мы смотрим на него одинаково. Будьте уверены, я благодарен вам за эту небольшую вылазку в область рискованного. Возможно, нам придется хотя бы на мгновение затаить дыхание, когда принесут счет. Не исключено, что пилигримы, путешествовавшие Христа ради, острее ощущали жизнь, нежели рыцари Круглого стола, наведывавшиеся в чужие страны в сопровождении свиты и с подписанными королем Артуром чеками за подкладкой шлемов. Что ж, если уже допили кофе, предлагаю прибегнуть к монеткам и проверить, для кого из двоих Судьба припасла удар. Что у меня, орел или решка?

— Орел, — небрежно бросил Айвз.

— Действительно, орел, — подтвердил Форстер, разжав ладонь. — Я проиграл. Мы с вами забыли договориться о плане бегства выигравшего. Есть предложение: когда подойдет официант, вы вспомните, что должны позвонить другу. Я провожусь со счетом достаточно долго, чтобы вы успели забрать шляпу и удалиться. Благодарю вас за столь необычную трапезу, мистер Айвз. Хотелось бы, чтобы она не осталась единственной.

— Если мне не изменяет память, — проговорил Айвз с улыбкой, — ближайший полицейский

участок расположен на Макдугал-стрит. Поверьте мне, я тоже получил удовольствие от вашего общества.

Форстер поманил официанта. Тот, подчиняясь скорее законам пневматики, чем земного тяготения, не столько подошел, сколько подъехал к столу и положил счет перед проигравшим, лицевой стороной вниз. Форстер взял листок и стал проверять, правильно ли в ресторане складывают цифры. Айвз развалился в кресле и не думал вставать.

— Простите, — обратился к нему Форстер, — по-моему, вы собирались позвонить Граймсу, чтобы пригласить его в театр на четверг.

— О, — отозвался Айвз, принимая еще более удобную позу, — это может и подождать. Официант, принесите мне стакан воды.

— Хотите присутствовать при сцене зверского убийства? — спросил его Форстер.

— Надеюсь, вы не станете возражать? — взмолился Айвз. — Никогда еще не присутствовал при аресте в ресторане джентльмена, отказывающегося платить по счету.

— Хорошо, — спокойно молвил Форстер. — Вас ждет картина растерзания христианина дикими зверями на арене.

Официант вернулся со стаканом воды и остался ждать с безразличным видом изощренного сборщика дани.

Форстер поколебался ровно пятнадцать секунд, потом вынул из кармана карандаш и написал на счете свое имя. Официант поклонился и унес листок.

— Дело в том, — объяснил Форстер, смущенно посмеиваясь, — что я вряд ли отношусь к любителям риска, которых еще называют «солдатами удачи». Вынужден покаяться: вот уже больше года я обедаю или ужинаю в ресторане этого отеля по два-три раза в неделю и всегда подписываю счета. А вы поступили очень отважно, оставшись до конца, хотя знали, что у меня нет денег и что вас тоже могут уволочь в участок.

— Теперь моя очередь каяться, — сказал Айвз с усмешкой. — Этот отель — моя собственность. Конечно, я пользуюсь услугами наемного управляющего, но неизменно оставляю за собой апартаменты на третьем этаже на случай, если окажусь в городе.

Подозвав официанта, он спросил:

— Мистер Гилмор на месте? Отлично. Передайте ему, что здесь мистер Айвз. Пусть приготовит и проветрит мои апартаменты.

— Очередное приключение, закончившееся неизбежной банальностью? — спросил Форстер. — Будем надеяться, что в следующий раз вам попадется настоящая головоломка без решения. А пока я хотел бы поговорить еще несколько минут на затронутую нами тему. Нечасто мне попадаются люди, разделяющие мои претензии к повседневности. Я помолвлен и через месяц женюсь.

— Разрешите никак не комментировать ваше сообщение, — попросил Айвз.

— Конечно. Тем более что это только начало. Я очень привязан к своей избраннице, но никак не решу, что лучше: явиться в церковь на венчание или удрать на Аляску. Это все та же тема, которую мы с вами развивали: лежащие перед нами возможности и как их умножить. Меня ждет общеизвестная рутина: поцелуй с ароматом цейлонского чая после завтрака, работа, возвращение и переодевание к ужину, дважды в неделю театр, счета, ежевечерние попытки поддержать разговор и не задремать, иногда небольшие ссоры, реже крупные и в конце концов развод — или совместное старение, что еще хуже.

— Знаю, — сказал Айвз, кивая.

— Именно непоколебимая уверенность, как все

сложится, — продолжил Форстер, — и заставляет меня сомневаться. После женитьбы можно перестать заглядывать за угол — там уже никогда ничего не будет меня поджидать.

— Церковь — и конец, — подтвердил Айвз. — Ровным счетом ничего.

— Поймите меня правильно. Чувства, которые я испытываю к своей избраннице, несомненны. Именуются они коротко — любовь. Но кровь, бегущая по моим жилам, вопиет против определенности в любом проявлении. Я не знаю сам, чего хочу, но знаю точно, чего не хочу. Наверное, это звучит как речь полного идиота, но сам я хорошо себя понимаю.

— И я вас понимаю, — медленно проговорил Айвз, улыбаясь. — Что ж, мне пора к себе. Буду очень рад, мистер Форстер, если вы вскоре снова разделите со мной трапезу.

— В четверг? — предложил Форстер.

— В семь, если вас устраивает, — дополнил Айвз.

— Вполне устраивает.

В половине девятого Айвз сел в кеб и поехал в район Семидесятых улиц на западной стороне Манхэттена. Предъявив визитную карточку, он оказался в старомодном доме, куда никогда

не залетал дух Фортуны, Удачи и Авантюры. На стенах висели гравюры Уистлера и еще одного художника, не помню имя, а также натюрморты с живыми виноградными гроздями и только что выплюнутыми арбузными семечками. То был подлинный семейный очаг. Для полноты впечатления в камине даже стояла бронзовая подставка для дров. На столе лежал сафьяновый альбом с серебряными уголками. На каминной полке громко тикали часы. Без пяти девять тиканье грозно усилилось. Косясь на воинственное устройство, Айвз вспомнил бабушкины часы, обладавшие точно таким же свойством.

А потом вниз спустилась Мэри Марсден. Ей было двадцать четыре года, остальное вообразите сами. Я подскажу одно: молодость, здоровье, простота, смелость и фиалковые глаза — все это красиво само по себе, и всем этим она обладала. И не только этим. Она подала Айвзу руку с сердечностью давнего друга.

— Вы не представляете, какое удовольствие мне доставляете, — произнесла она, — появляясь у нас примерно раз в три года.

Их беседа длилась полчаса. Пересказывать ее я не буду — если захотите, то сами найдете образцы в произведениях изящной словесности. По

прошествии получаса Мэри произнесла:

— Нашли ли вы за границей то, что вам нужно?

— А что мне нужно? — переспросил Айвз.

— Вы всегда были не такой, как остальные. В детстве вы отказывались играть в мраморные шарики, бейсбол, вообще любые игры с правилами. Нырять вы соглашались только в местах, где глубина могла составлять и десять футов, и десять дюймов. Потом вы выросли, но остались прежним. Мы часто возвращаемся к теме ваших странностей.

— Наверное, я неисправим, — сознался Айвз. — Я борюсь с доктриной предопределенности, с тройным правилом, с законами гравитации, с налогообложением и всем прочим в этом же роде. Жизнь всегда казалась мне романом с продолжением, в котором очередному эпизоду предшествует краткое содержание последующих глав.

Мэри посмеялась и сказала:

— Боб Эймс рассказал мне об одном вашем странном поступке. Вы с ним ехали в поезде на юг. Неожиданно вы вышли на станции, на которой вовсе не собирались выходить, и только потому, что кондуктор повесил в конце вагона

табличку с названием следующей остановки.

— Как же, помню, — подтвердил Айвз. — «Следующая станция» — это именно то, чего я всю жизнь избегаю.

— Знаю, — молвила Мэри. — Как это глупо! Надеюсь, за три года отсутствия вы не нашли того, чего не хотели найти, не вышли там, где не было никакой станции, и не стали жертвой непредвиденных происшествий.

— Перед отъездом у меня было одно желание, — признался Айвз.

Мэри заглянула ему в глаза и улыбнулась, как улыбаются воплощения совершенства.

— Я помню. Вам была нужна я. Вы отлично знаете, что могли добиться желаемого.

Вместо ответа Айвз обвел взглядом комнату. За три года в ней ровно ничего не изменилось. Он отлично помнил свои мысли трехлетней давности. Содержимое комнаты было таким же неизменным, как холмы за окнами. Перемен не произойдет и впредь, за исключением тех, что становятся неизбежным следствием времени и увядания. Так же будет лежать на краю стола альбом с серебряными уголками, так же будут висеть на стенах картины, кресла не сдвинутся с места, пока будет жив дом. Бронзовые подстав-

ки для дров в камине выглядели монументами порядку и стабильности. Повсюду бросались в глаза реликвии вековой старины, все еще находившие применение и не собиравшиеся ветшать. Человек, покидающий этот дом, мог не горевать, что не узнает его, когда вернется: он найдет то, что оставил, и оставит то, что найдет. Особа под вуалью, зовущаяся Удачей, никогда не посмеет постучаться в эти двери.

Перед ним сидела неотъемлемая частица этого дома — спокойная, нежная, верная женщина. От нее не приходилось ждать неожиданностей. Если провести с ней жизнь, то, даже когда она поседеет и покроется морщинами, перемена будет незаметной. Три года он ее не видел, а она его по-прежнему ждала — верная, как сам дом. Он не сомневался, что раньше она о нем мечтала. Уверенность, что так будет всегда, прогнала его отсюда три года назад.

— Скоро я выйду замуж, — сообщила ему Мэри.

В четверг вечером Форстер прибыл, как договаривались, в отель Айвза.

— Старина, — начал он с порога, — нам придется отложить ужин примерно на год: я уезжаю за границу. Пароход отплывает в четыре часа. Наш с вами разговор заставил меня принять ответ-

ственное решение.

Я совершу кругосветное путешествие, чтобы отделаться от кошмара, который нас гнетет, — страха перед уверенностью в будущем. Я совершил поступок, который отягощает мою совесть, однако знаю, что так будет лучше для нас обоих. Я написал даме, с которой был помолвлен, письмо, в котором все объяснил, изложил причины своего отъезда: я не скрыл от нее, что не создан для монотонности супружеского существования. Как по-вашему, я правильно поступаю?

— Не мне судить, — отвечал Айвз. — Плывите и охотьтесь на слонов, если считаете, что это привнесет в вашу жизнь элемент случайности. Такие решения каждый принимает сам. Одно я вам скажу, Форстер: я нашел свой путь. Я принял величайший в жизни вызов, вступил в игру случайностей, которой никогда не будет конца. Меня поманило приключение, которое может закончиться либо высоко в небесах, либо в черной бездне. Принявший правила этой игры вынужден оставаться настороже, пока на его гроб не упадут комья земли, потому что неизвестность будет преследовать его до последней минуты — но и тогда ему не откроется ответ. Это будет плавание без штурвала и компаса, в котором ты один во

всех лицах — и капитан, и команда, и круглосуточный впередсмотрящий, не надеющийся на смену. Я нашел ПРИКЛЮЧЕНИЕ. А вы, Форстер, забудьте про угрызения совести из-за того, что не женились на Мэри Марсден. Я сам женился на ней вчера в полдень.

Блеск золота

Рассказ с довеском в виде морали — все равно что комариное жало. Сначала он просто раздражает, а потом кусает, надолго выводя из равновесия благополучно спавшую совесть. Поэтому давайте-ка начнем прямо с морали, чтобы больше к ней не возвращаться. Не все то золото, что блестит; но настоящее золото — ребенок, не выдергивающий пробку из пузырька с кислотой…

Место, где Бродвей достигает угла площади, украшенной монументом Джорджу Правдивому, зовется Маленьким Реальто. Здесь толкутся местные актеры, откликающиеся на пароль: «Нет, — сказал я Фрохману, — хочешь меня нанять — плати два пятьдесят и ни копейкой меньше, тогда я согласен на выход».

На запад и на юг от театрального зарева тянутся улочки, где попыталась воссоздать родной тропический уют испаноамериканская колония, занесенная на Север. Центр притяжения — кафе «Эль-Рефуджио», где потчуют ветреных беженцев с Юга. Сюда тянет сеньоров в плащах и

сомбреро, уроженцев Чили, Боливии, Колумбии, неспокойных республик Центральной Америки и пышущих гневом островов Вест-Индии, выброшенных из родных краев извержениями политических вулканов. Должно же быть местечко, где бы они могли плести ответные заговоры, бездельничать, требовать денег, нанимать флибустьеров, покупать и продавать оружие и боеприпасы, находить забавы себе по вкусу! В «Эль-Рефуджио» царит самая подходящая для этого атмосфера.

В «Эль-Рефуджио» подают обжигающие и малосъедобные составы, приятные нёбу тех, кто пожил вблизи Северного и Южного тропика. Любовь к ближнему требует, чтобы на этом мы умолкли. Но нам ее, наверное, недостает… О гурман, уставший от кулинарных ухищрений галльских кудесников, добро пожаловать в «Эль-Рефуджио»! Только здесь ты найдешь рыбу — голубую, алозу, трахинотуса, — запеченную по испанскому рецепту. Помидоры придают блюдам цвет, индивидуальность, душу; без чили они лишились бы пикантности, оригинальности, остроты; неведомые травы отвечают за загадочность, в которую впадает любой, кто отведает эти лакомства. Однако апофеоз ощущений, вызывае-

мых ими, заслуживает отдельного предложения. Ибо вокруг, сверху, сбоку и снизу — только не у гурмана внутри! — витает настолько восхитительный и изысканный аромат, что только Общество физиков не сумело бы объяснить его происхождение. И не смейте клеветать, что в «Эль-Рефуджио» готовят рыбу с чесноком. Тут требуется более продуманное определение: скажем, что «чесночный дух оставил на увенчанной петрушкой рыбьей голове легкое воспоминание, подобно следу чужого поцелуя на предназначенных для вас губах...» Ну а потом официант Кончито приносит вам блюдо бурых frijoles и графин вина, какого можно пригубить только здесь, в «Эль-Рефуджио», — о боги!

Однажды прибывший из Гамбурга океанский лайнер высадил на причал-55 генерала Перрико Хименеса Виллабланку Фалкона, пассажира из Картахены. Ликом генерал был темен, имел талию в 42 дюйма и рост 5 футов 4 дюйма, считая высокие каблуки. Усами он походил на владельца тира, одеждой — на техасского конгрессмена, важной осанкой — на делегата партийного съезда, которому еще не шепнули, что его место на галерке.

Генерал владел английским в достаточной сте-

пени, чтобы справиться, как попасть на улицу, где находится «Эль-Рефуджио». Оказавшись в нужном месте, он узрел приличное здание из красного кирпича с вывеской «Hotel Espanol». В витрине было написано «Aqui se habla Espanol»[43]. Генерал выпятил грудь и вошел.

В уютном кабинетике сидела миссис О'Брайен, владелица. Она была безупречной блондинкой, в остальном же — воплощением дружелюбия и приятной полноты. Генерал Фалкон царапнул пол широким полем своей шляпы и завернул тираду по-испански, прозвучавшую как треск целой связки бенгальских огней.

— Испанец или даго?[44] — осведомилась миссис О'Брайен.

— Я колумбиец, мадам, — гордо ответил генерал. — Я говорю по-испански. У вас там написано, что здесь говорят по-испански. Как это понять?

— Вот вы и говорите, — парировала хозяйка. — А я не умею.

Генерал Фалкон снял в гостинице номер и удобно устроился. На закате он вышел на улицу с намерением полюбоваться чудесами знамени-

---

[43] Примечания: 43
Здесь говорят по-испански (*исп.*).

[44] Примечания: 44
Даго — презрительная кличка испанца в США.

тейшего города Севера. На ходу он вспоминал замечательные золотистые волосы миссис О'Брайен. «Вот где, — рассудил генерал про себя, пользуясь, несомненно, родным языком, — можно найти прекраснейших сеньор на свете! В своей Колумбии я таких блондинок еще не встречал. Однако генералу Фалкону не подобает размышлять о женской красе. Он должен хранить преданность родине».

На углу Бродвея и Маленького Реальто генерал попал в переплет. Заглядевшись на трамваи, он оказался прижат буфером одного из них к тележке с апельсинами. Возница едва не задел его ступицей колеса и обрушил на его голову бурный поток варварских оскорблений. Выскочив на тротуар, генерал едва не оглох от крика торговца жареными каштанами, выбравшего его ухо как воронку для особенно пронзительных вокальных упражнений.

— Valgame Dios![45] — простонал генерал. — Что за дьявольский город!

Раненый бекас — колумбийский генерал, прижатый толпой к стене дома, — был немедленно назначен жертвой двумя охотниками. Один, Бы-

---

[45] Примечания: 45
Клянусь Богом! (*исп.*).

чок Макгвайр, полагался на спортивное оружие в виде кулаков и восьмидюймового обрезка трубы со свинцом. Другим Нимродом асфальтовой чащи был Паук Келли, спортсмен с чуть более утонченными повадками.

Оба устремились к лакомой добыче. Мистер Келли проявил немного больше прыти и мягко отодвинул локтем несколько замешкавшегося мистера Макгвайра.

— Полегче! — прошипел он. — Я первым его увидел.

Пришлось Макгвайру отстать из уважения к выдающимся умственным способностям и зоркости напарника.

— Прошу прощения, — обратился Келли к генералу, — как я погляжу, вас оскорбляет эта вульгарная толпа. Позвольте вам подсобить. — Он поднял с тротуара генеральскую шляпу и стряхнул с нее пыль.

Действия Келли были обречены на успех. Генерал, ошеломленный уличным гамом и толчеей и испытывающий возмущение пополам с тошнотой, отнесся к спасителю как к истинному кабальеро, не способному вынашивать задние мысли.

— У меня одно желание, — сообщил он, —

вернуться в гостиницу О'Брайена, в которой поселился. Карамба, сеньор, как же шумно и суматошно в городе Нуэва-Йорк!

Вежливость не позволила мистеру Келли подвергнуть славного колумбийца новому испытанию — возвращению в гостиницу без провожатых. В дверях «Hotel Espanol» они задержались. На другой стороне улицы светилась скромная вывеска «Эль-Рефуджио». Келли, ориентировавшийся в районе точно в собственном кармане, знал это заведение как «кабачок даго». Всех иностранцев он грубо подразделял на «даго» и «французиков». Генерал получил предложение закрепить знакомство жидкой субстанцией.

Спустя час генерал Фалкон и Келли сидели в углу ресторана, облюбованном заговорщиками. Между ними скопилось немало бутылок и рюмок, но это не препятствовало крепнущей дружбе. Генерал в десятый раз подряд выдавал первому встречному проходимцу секрет своей тайной миссии в Эстадос Унидос. Ему предстояло приобрести две тысячи винтовок-винчестеров для колумбийских революционеров. В кармане у него лежал чек на 25 тысяч долларов, выписанный «Картахена Бэнк» своему нью-йоркскому филиалу. За соседними столиками другие ре-

волюционеры тоже громко выбалтывали свои секреты соратникам по борьбе, однако генерал перекрикивал их всех. Он лупил по столу кулаком, ежеминутно требовал еще вина, оглушал собеседника откровениями насчет секретности своей миссии, о коей нельзя поведать ни одной живой душе. Келли не составляло труда сочувствовать и высказывать энтузиазм. Схватив генерала за руку, он с жаром проговорил:

— Мсье, не знаю, где расположена эта ваша страна, но я за нее. Полагаю, впрочем, что это часть Соединенных Штатов, ибо всякие поэты и школьные учительницы тоже иногда называют нас Колумбией. Вам повезло, что вы нарвались на меня. Я — единственный человек во всем Нью-Йорке, который может провернуть для вас эту сделку с оружием. Военный министр США — мой лучший друг. Он сейчас как раз в городе, я увижусь с ним завтра утром по вашему делу. А пока что, мсье, не вынимайте из кармана свой чек! Завтра утром я зайду за вами и отведу к нему. Эй, а вы, часом, не из округа Колумбия? — вдруг забеспокоился Келли. — С двумя тысячами стволов вам его не захватить — там и с большими арсеналами проваливались!

— Нет-нет! — оскорбился генерал. — Это Республ-

лика Колумбия, великая республика на макушке Южной Америки, да-да!

— Тогда другое дело! — успокоился Келли. — Значит, можно расходиться по домам. Вечером я напишу министру. Вывезти оружие из Нью-Йорка — непростая задачка. Сам Макласки — и тот оплошал бы.

На пороге «Hotel Espanol» они расстались. Генерал закатил глаза и вздохнул.

— Ваш Нуэва-Йорк — великая страна, — поделился он умозаключением. — Правда, от трамваев на улице некуда деться, а эта машина, жарящая орехи, ревет еще громче, чем человек, который к ней приставлен. Но зато, сеньор Келли, златокудрые сеньоры в теле — вот что magnificas! Muy magnificas![46]

Келли воспользовался ближайшей телефонной будкой, чтобы позвонить в кафе Макграри, что на Бродвее, и подозвать Джимми Данна.

— Джимми Данн?

— Он самый, — ответили на том конце.

— А вот и нет! — радостно сообщил Келли. — Ты теперь военный министр. Дождись меня. Мне на крючок попалась такая рыбка, что ты не

---

[46] Примечания: 46
Великолепны! Прямо великолепны! (*исп.*).

поверишь! Колорадо мадуро с золотой каймой и таким количеством денег, что на них можно отменно обставить гостиную. Я прибуду на первом же трамвае.

Джимми Данн был магистром мошенничества, кудесником втирания в доверие. Ни разу в жизни не держал он кастета и с презрением относился к налетчикам. Перед своими жертвами он неизменно выставлял самые лучшие напитки, при условии, что в Нью-Йорке их удавалось достать. Заветной мечтой Паука Келли было подняться на уровень ловкача Джимми.

Вечер двое джентльменов посвятили военному совету в заведении Макграри.

— Он прост, как подметка сапога, — втолковывал сообщнику Келли. — Прибыл к нам с острова Колумбия, где разразилась не то всеобщая стачка, не то феодальная междоусобица, и его прислали за винчестерами — верным средством решить проблему. Он показал мне три чека — два на десять тысяч долларов и один на пять. Я, конечно, очень рассердился, что он не привез оплату тысячными купюрами и не преподнес мне их на серебряном подносе. Так что теперь придется ждать, пока он сходит в банк и обналичит для нас свои чеки…

Разговор продолжался два часа, после чего Данн изрек:

— Приведи его завтра в четыре часа дня по адресу: Бродвей, номер такой-то.

В должный час Келли явился в гостиницу за генералом и застал того за приятной беседой с миссис О'Брайен.

— Нас ожидает военный министр, — напомнил Келли.

Генералу потребовалось усилие, чтобы оторваться от пышной блондинки.

— Зов долга! — сказал он в свое оправдание. — Как же хороши сеньоры в Эстадос Унидос! Яркий тому пример — мадам О'Брайен. Настоящая богиня, волоокая Юнона!

Мистер Келли был вынужден с ним согласиться: немало мужчин становятся жертвами собственного воображения. Однако любовь к истине принудила его оговориться:

— Крашеная Юнона — все равно богиня.

Услышав это скандальное замечание, миссис О'Брайен вскинула златокудрую голову и проводила умудренным взглядом фигуру выходящего из гостиницы Келли.

Грубость в отношении женщины простительна разве что в трамвае.

Славный колумбиец и его провожатый, прибывшие по бродвейскому адресу, прождали в прихожей два часа, а затем их пригласили в элегантный кабинет с большим письменным столом, за которым усердно трудился приятный мужчина с гладким лицом. Генерал Фалкон был представлен военному министру Соединенных Штатов. Мистер Келли поведал своему старому другу-министру о характере миссии отважного полководца.

— Аа, Колумбия! — протянул министр, вникнув в сказанное. — Боюсь, здесь могут возникнуть кое-какие затруднения. У нас с президентом наметились разногласия: он предпочитает существующее у вас правительство, тогда как я… — И министр адресовал генералу загадочную, но полную ободрения улыбку. — Как вы, разумеется, знаете, генерал Фалкон, после войны с индейским племенем таммани конгресс издал закон, по которому экспорт из страны оружия и боеприпасов должен осуществляться только через военное министерство. Я с радостью помогу вам, чтобы оказать услугу своему старому другу мистеру Келли, но учтите, что необходимо соблюдать полную секретность, так как президент, как я уже сказал, неодобрительно относится к

деятельности колумбийских революционеров. Я прикажу ординарцу принести сведения о наличии вооружений на складе.

Секретарь позвонил в колокольчик, и в кабинет немедленно вошел ординарец с буквами ADT на фуражке.

— Принесите список «би», стрелковое оружие, — приказал министр.

Ординарец быстро вернулся с листом бумаги. Министр внимательно изучил ее содержание.

— Как я погляжу, — изрек он, — на правительственном складе номер девять имеется партия из двух тысяч винтовок-винчестеров, заказанных султаном Марокко, который забыл об оплате своего заказа. У нас строгое правило: деньги в обмен на товар. Дорогой Келли, ваш друг, генерал Фалкон, получит эту партию оружия, если пожелает, по цене производителя. А теперь прошу меня простить: я вынужден закончить нашу встречу. Ко мне вот-вот пожалует японский министр.

Одним из итогов встречи стала глубокая благодарность генерала своему бесценному другу Келли. Другой итог заключался в том, что следующие два дня шустрый министр был чрезвычайно занят: он покупал пустые ящики из-под ружей и заполнял их кирпичами, после чего отправлял

на специально нанятый для этой цели склад. Был и третий итог: когда генерал вернулся в «Hotel Espanol», миссис О'Брайен подошла к нему, сняла ниточку с его лацкана и проговорила:

— Не хочу лезть не в свое дело, сеньор, но зачем вам понадобилась эта востроглазая обезьяна, по ошибке именуемая человеком?

— Sangre de ma vida![47] — вскричал генерал. — Не могу поверить, что вы так отзываетесь о моем добром приятеле, сеньоре Келли!

— Перейдем в летний сад, — предложила миссис О'Брайен. — Мне надо с вами проговорить.

Будем считать, что разговор продлился час.

— ... так вы говорите, — удивился генерал, — что за какие-то восемнадцать тысяч долларов можно приобрести все гостиничное хозяйство и годовую аренду вместе с этим очаровательным садом, так похожим на патио моей дорогой Колумбии?

— Это очень хорошая цена! — подтвердила достойная леди.

— Dios![48] — всплеснул руками генерал. — Что мне войны и политика? Здесь настоящий рай. В моей стране хватает героев, чтобы продолжить

---

[47] Примечания: 47
Кровь моего сердца! (*исп.*)

[48] Примечания: 48
Боже! (*исп.*)

борьбу. Что мне мирская слава, добываемая канонадой? Ничто, ибо здесь мне явился ангел во плоти. Давайте купим «Hotel Espanol», вы станете моей, а деньги не будут зря выброшены на какие-то ружья.

Миссис О'Брайен устроила свою белокурую головку на плече колумбийского патриота.

— Сеньор, — восхищенно проворковала она, — вы душка!

Через два дня настало время для передачи генералу оружия. Ящики с винтовками, то есть с кирпичами, громоздились на арендованном складе, поверх них восседал военный министр, дожидающийся, когда его дружок Келли доставит наивную жертву.

Келли тем временем торопился к генералу в гостиницу. Он застал полководца за изучением счетов.

— Я решил не покупать оружия, — жизнерадостно поведал генерал. — Вместо этого я приобрел гостиницу.

Скоро генерал Перрико Хименес Виллабланка Фалкон женится на мадам О'Брайен.

Келли чуть не задохнулся.

— Ах ты, старый лысый пузырек от гуталина! Мошенник! Ты купил ночлежку на деньги, при-

надлежащие твоей родине, разрази ее гром!

— Дело в том, — ответствовал генерал, суммируя трехзначные цифры, — что таковы правила политики. Война и революция — не детские игры. Не всегда надо следовать за Минервой, иногда приходится покупать гостиницы и оставаться с Юноной — волоокой Юноной… О, золото ее волос!

Келли захлебнулся злобой.

— Вы потому сердитесь, — заключил генерал прочувственно и встал, давая понять, что аудиенция окончена, — что не пробовали говяжий гуляш, который стряпает мадам О’Брайен.

«Роза Дикси»[49]

Когда в Тумз-Сити, штат Джорджия, силами акционерной компании создавался журнал «Роза Дикси», совладельцы были единодушны: на пост главного редактора есть один кандидат, и только один. Полковник Акуила Тельфэр — вот нужный им человек. Образование, происхождение, репутация, неписаные законы Джорджии — все говорило в его пользу; сама судьба определила, предназначила и логически выдвинула его в редакторы. И вот комитет из патриотически настроенных граждан Джорджии, подписавшихся на учредительный фонд в 100 000 долларов, явился к полковнику Тельфэру в его резиденцию «Кедровые выси», замирая от страха при мысли о том, что в случае возможного отказа предприятие и Юг в целом понесут непоправимый урон.

Полковник принял гостей в обширной библиотеке, где проводил большую часть своего времени. Библиотека досталась ему от отца: десять тысяч томов, часть из которых увидели

---

[49] Примечания: 49

Дикси — южные штаты США, по названию военной песни южан во время Гражданской войны.

свет прямо-таки в 1861 году. На момент прибытия депутации полковник Тельфэр восседал за массивным столом из веймутовой сосны в самом центре залы, почитывая Бертонову[50] «Анатомию меланхолии». Он поднялся и церемонно пожал руку каждому из членов комитета по очереди. Если вам знакома «Роза Дикси», вы наверняка помните портрет полковника — он то и дело появляется на страницах журнала. Вряд ли возможно забыть длинные, тщательно расчесанные седые волосы, крючковатый, с высокой переносицей нос, чуть изогнутый влево, проницательные глаза под все еще черными бровями; классической формы губы под вислыми седыми усами, чуть неряшливыми на концах.

Комитет пылко предложил полковнику пост ведущего редактора, смиренно обрисовав направленность предполагаемых публикаций и помянув весьма и весьма приличное жалованье. Земли полковника скудели с каждым годом и изрядно страдали от овражной эрозии. Кроме того, кто бы отказался от подобной чести?

В сорокаминутной ответной речи под стать президентскому изъявлению согласия полковник

---

[50] Примечания: 50

Бертон, Роберт (1577–1640) — английский священник, автор трактата «Анатомия меланхолии».

Тельфэр дал краткий обзор английской литературы от Чосера[51] до Маколея[52], вторично выиграл сражение при Чанселлорсвилле и заявил, что, с Господней помощью, намерен сделать все, что в его силах, дабы благоухание и краса «Розы Дикси» прославились по всему миру, и пусть северные прихвостни подавятся своим убеждением в том, что, дескать, ничего доброго и великого не может жить в умах и сердцах людей, чьи владения они разорили и чьи права попрали.

Издательство журнала разместилось на втором этаже здания Первого Национального банка — за перегородкой, в специально оборудованном помещении. Теперь от одного полковника зависело, расцветет ли «Роза Дикси» пышным цветом или увянет в благовонном воздухе земли цветов.

Собирая вокруг себя штат сотрудников и авторов, редактор-полковник Тельфэр попал, что называется, в яблочко. Просто-таки целую корзинку настрелял румяных яблочек Джорджии. Первый заместитель редактора Толливер Ли Фэйрфакс мог похвастаться тем, что отец его по-

---

[51] Примечания: 51
Чосер, Джеффри (1343–1400) — поэт английского Средневековья.

[52] Примечания: 52
Маколей, Томас Б. (1800–1859) — английский историк и эссеист.

гиб при атаке Пикетта[53]. У второго заместителя, Китса Антэнка, родной дядя сражался в отряде кавалеристов Моргана[54]. Книжный обозреватель Джейксон Рокингэм некогда числился самым юным солдатом армии Конфедерации; на поле битвы он появился с саблей в одной руке и с бутылочкой молока в другой. Заведующий отделом иллюстраций Ронсеваль Сайкс приходился четвероюродным братом племяннику Джефферсона Дэвиса[55]. Тетушку мисс Лавинии Терхьюн, машинистки и стенографистки полковника, однажды поцеловал сам Твердокаменный Джейксон[56]. Томми Вебстер, старший из мальчиков-рассыльных, получил место, отбарабанив наизусть все стихотворное наследие отца Риана на церемонии вручения дипломов в средней школе Тумз-Сити. Даже девицы, надписывающие адреса на конвертах с журналами, все как одна

---

[53] Примечания: 53

Пикетт, Джордж Эдвард (1825–1875) — офицер армии Конфедерации.

[54] Примечания: 54

Морган, Джон (1825–1864) — кавалерийский генерал, сражавшийся на стороне южан.

[55] Примечания: 55

Дэвис, Джефферсон (1808–1889) — президент Конфедерации южных штатов.

[56] Примечания: 56

Твердокаменный Джейксон — прозвище Томаса Джейксона (1824–1863), генерала армии конфедератов во время Гражданской войны в США.

происходили из старинных южных семейств в Стесненных Обстоятельствах. Кассиром подвизался заморыш по имени Хокинс из Энн-Арбор, штат Мичиган, с рекомендациями и закладной от компании-гаранта — она хранилась у владельцев. Даже акционерные компании Джорджии иногда сознают: для того, чтобы предать земле мертвых, потребны живые.

И что ж, сэр, хотите верьте, хотите нет, но «Роза Дикси» расцвела пять раз, прежде чем о ней услышал хоть кто-нибудь помимо тех, кто отоваривается застежками-крючками в Тумз-Сити. Но тут Хокинс слез со своего табурета и наябедничал акционерной компании. Даже во времена Энн-Арбора к его деловым предложениям, бывало, прислушивались аж до Детройта. И вот наняли менеджера по рекламе, Борегарда Фицхью Бэнкса, — юнца при бледно-лиловом галстуке, чей дедушка был Верховным Высокопоставленным Наволочконосителем Ку-клукс-клана.

Но и тогда «Роза Дикси» продолжала исправно выходить каждый месяц. И хотя в каждом выпуске печатались фотографии Тадж-Махала, или Люксембургских садов, или Карменситы,

или Лафоллета[57], на счету журнала числилось некоторое количество покупателей и даже подписчиков. Рекламы ради редактор-полковник Тельфэр опубликовал три разных вида на «Эрмитаж» — старый дом Эндрю Джейксона[58], гравюру с изображением второй битвы при Манассасе под названием «Ли, кругом!» на всю страницу и в том же номере — биографию Белль Бойд[59] в пять тысяч слов. В этом месяце количество подписчиков увеличилось до 118. В том же номере были напечатаны стихотворения Леонины Астинь Хэрикот (псевдоним, конечно!) — родственницы чарльстонских Хэрикотов, штат Южная Каролина, и Билла Томпсона, племянника одного из акционеров. А еще — статья от корреспондента, ведающего разделом светской хроники, с описанием чаепития, устроенного английскими и бостонскими великосветскими кругами, причем немало чая пролилось за борт усилиями отдельных приглашенных, выряженных индейцами.

---

[57] Примечания: 57

Лафоллет, Роберт М. (1855–1925) — губернатор штата Висконсин и сенатор США.

[58] Примечания: 58

Джейксон, Эндрю (1767–1845) — 7-й президент США.

[59] Примечания: 59

Белль Бойд (1844–1900) — занималась шпионажем в пользу Конфедерации в ходе Гражданской войны.

В один прекрасный день в издательство «Розы Дикси» вступил некий тип, чье дыхание без проблем затуманило бы зеркало — такой это был живчик. Габаритами гость смахивал на агента по продаже недвижимости, щеголял в галстуке-самовязе, а манеры, надо думать, поровну заимствовал у У. Дж. Брайана[60], Хакеншмидта[61] и Хетти Грин[62]. Его провели в редакторополковничий pons asinorum[63]. Полковник Тельфэр встал и принялся было отвешивать поклон а-ля принц Альберт.

— Я — Такер, — объявил незваный гость, усаживаясь в редакторское кресло. — Т. Т. Такер из Нью-Йорка.

И он сей же миг вывалил на полковничий стол несколько визиток, объемный конверт из оберточной бумаги и письмо от владельцев «Розы

---

[60] Примечания: 60

Брайан, Уильям Дженнингс (1860–1925) — американский политический деятель.

[61] Примечания: 61

Хакеншмидт, Джордж (1877–1968) — борец-профессионал по классу вольной борьбы.

[62] Примечания: 62

Грин, Хетти (1835–1916) — финансистка, считается одной из богатейших женщин своего времени.

[63] Примечания: 63

Ослиный мост (*лат.*) — название теоремы Пифагора (чертеж напоминает мост); здесь: шутливый намек на «офис» главного редактора.

Дикси». В письме содержались рекомендации мистера Такера и почтительная просьба к полковнику Тельфэру удостоить гостя аудиенции и предоставить любую потребную ему информацию касательно журнала.

— Я списался с секретарем совладельцев журнала, — бодро начал Такер. — Сам я журналистикой занимаюсь вплотную и тираж могу взвинтить так, что, ей-же-ей, мало не покажется. Гарантирую рост от десяти тысяч до ста тысяч в год любому изданию, лишь бы не на мертвом языке. На «Розу Дикси» я с самого начала глаз положил. Я этот бизнес как свои пять пальцев знаю: от редактуры до размещения объявлений по рубрикам. Так я вот к чему веду: я приехал вложить в журнал хорошие деньги, ежели вникну, что к чему. Пусть приносит прибыль, и точка. Секретарь говорит, пока от него сплошные убытки. Не вижу, почему бы южному журналу, ежели взяться за дело с толком, не обрести своего читателя и на Севере.

Полковник Тельфэр откинулся в кресле и протер очки в золотой оправе.

— Мистер Такер, — произнес он учтиво, но твердо, — «Роза Дикси» — это издание, призванное стать поддержкой и рупором южного гения. Его

девиз, — как вы, возможно, заметили, глядя на обложку, — «О Юге, для Юга, силами Юга».

— Но против распространения на Севере вы бы возражать не стали, верно? — уточнил Такер.

— Я так полагаю, что подписка традиционно бывает открыта для всех, — отвечал редактор-полковник. — С точностью не отвечу. Деловые вопросы, связанные с ведением журнала, меня не касаются. Меня призвали взять в свои руки редакторские бразды правления, и с тех самых пор я приношу на алтарь «Розы...» те ничтожные литературные таланты, коими, возможно, наделен, и тот запас эрудиции, который, хотелось бы верить, с течением лет приобрел.

— Само собой, — согласился Такер. — Но доллар — он везде доллар, будь то Север, Юг или Запад, — везде, где покупают треску, арахис или мускусные дыни Роки Форд. Так вот, я тут проглядел на досуге ваш ноябрьский номер. Вижу, и у вас на столе завалялся экземплярчик.

Как насчет пройтись по нему вместе?

Ну, положим, передовица ваша ничего себе. Недурственная реклама «хлопкового пояса», изрядно сдобренная фотографиями, всегда пройдет на ура. Нью-Йорк всегда интересуется урожаем хлопка. А этот сенсационный рассказ о вендетте

между Хатфильдами и кланом МакКой, состряпанный школьной подружкой племянницы губернатора Кентукки, — ведь неплохая идея, совсем неплохая! Дело было так давно, что о нем, почитай, уже и не помнят. Так… вот еще поэма на три страницы под названием «Пята тирана» за авторством Лорелллы Ласелль. Я тут на досуге порылся среди рукописей, но ни разу не углядел ее имени на бланке отказа.

— Мисс Ласелль — одна из наших самых прославленных южных поэтесс, — ответствовал издатель. — Она состоит в близком родстве с семейством Ласелль из Алабамы; она своими руками вышила шелковое знамя Конфедерации, подаренное губернатору помянутого штата в день его инаугурации.

— Но с какой стати поэма проиллюстрирована фотографией с видом на железнодорожную станцию «М. энд О. Рэйлроад» в Таскалусе? — не отступался Такер.

— На иллюстрации, — с достоинством пояснил полковник, — виден угол ограды вокруг старинной усадьбы, где появилась на свет мисс Ласелль.

— Ну, бог с ней, — смилостивился Такер. — Поэму-то я прочел, вот только не понял, про что она:

про железнодорожную станцию или про битву при Булл-Ране[64]. А вот еще рассказ под названием «Искушение Рози» за авторством Фосдайка Пигготта. Чушь собачья. Собственно, кто такой этот Пигготт?

— Мистер Пигготт приходится братом крупному акционеру журнала.

— И в порядке мир — Пигготт проходит, — согласился Такер. — Так… вот эта статья об арктических исследованиях и эта тоже — о ловле морского окуня — пожалуй, сгодятся. А как насчет вот этой хвалебной статейки про пивоварни Атланты, Нового Орлеана, Нашвилла и Саванны? Тут же сплошная статистика насчет объема производства да качества пива — и ничего больше. Что еще за шишка такая ее накорябала?

— Если я правильно истолковал вашу метафору, — ответствовал полковник Тельфэр, — дело обстоит следующим образом: помянутая вами статья была вручена мне владельцами журнала с указанием ее опубликовать. Ее литературные достоинства не нашли у меня отклика. Но в какой-то мере я чувствую себя обязанным в определенных вопросах считаться с пожеланиями

---

[64] Примечания: 64
Булл-Ран — ручей в штате Виргиния.

джентльменов, заинтересованных в финансовой стороне «Розы».

— Ясно, — кивнул Такер. — Далее: мы имеем две страницы избранных отрывков из «Лаллы Рух» Томаса Мура. Хотел бы я знать, из какой федеральной тюрьмы этот Мур сбежал и как прозывается то Первое Виргинское семейство, что служит ему гандикапом?

— Ирландский поэт Мур умер в 1852 году, — с сожалением пояснил полковник Тельфэр. — Он принадлежит к числу классиков. Я подумываю перепечатать на страницах журнала его перевод Анакреона — выпусками с продолжением.

— Главное, поосторожнее там с авторскими правами, — беспечно отшутился Такер. — Кто такая Бесси Беллеклер, прославшая эссе о недавно отстроенной водопроводной станции в Милледжвилле?

— Таков псевдоним мисс Эльвиры Симпкинс, — сообщил полковник Тельфэр. — Я не имею чести лично знать упомянутую леди; но ее статью переслал нам конгрессмен Бровер, избранный от ее родного штата. Мать конгрессмена Бровера приходилась родней Полкам из Теннесси.

— А теперь послушайте меня, полковник, — объявил Такер, отшвыривая журнал, — так дело

не пойдет. Нельзя с успехом издавать журнал для одного отдельно взятого региона. Шире, шире надо смотреть. Вы только гляньте, как северные издания приспосабливаются ко вкусам Юга и поощряют писателей-южан! Вот и вам надо привлекать авторов со всех концов страны. Надо закупать материал сообразно его качеству, не обращая внимания на сочинительскую родословную. Могу поспорить на кварту чернил, что этот ваш южносалонный орган вовеки не сыграл ни единой ноты, зародившейся за линией Мейсона — Хэмлина[65]. Я прав?

— Я сознательно и целенаправленно отвергал все материалы, поступающие из помянутого региона, если я правильно истолковал вашу метафору, — ответствовал полковник.

— Ясно. А теперь я вам кое-что покажу.

Такер потянулся к пухлому бумажному конверту — и вытряхнул на стол кипу отпечатанных на машинке рукописей.

— Товар что надо, — объявил он. — Я за него наличными заплатил.

И гость принялся разворачивать рукописи од-

---

[65] Примечания: 65

Линия Мейсона — Хэмлина — граница между Пенсильванией и Мэрилендом, проведенная двумя топографами, Ч. Мейсоном и Дж. Диксоном.

ну за одной, демонстрируя полковнику первые страницы.

— Вот четыре коротких рассказа от четырех самых дорогостоящих авторов Соединенных Штатов: трое живут в Нью-Йорке, один — в пригороде. Вот тематическая статья о венском обществе от Тома Вампсона. Вот итальянский роман в нескольких частях за авторством Капитана Джейка… нет, это еще один Кроуфорд. Вот три разоблачительные статьи Шиффингза о городском самоуправлении, а вот вам первосортная штучка под названием «Что лежит в дамском дорожном несессере?». Корреспондентка одной из чикагских газет нанялась в горничные аж на пять лет, чтобы раздобыть эти сведения. Вот краткое содержание предыдущих частей нового романа Холла Кайна — он выйдет в июне следующего года. А вот пара фунтов vers de societe[66] — я откупил их по твердой цене у толковых журналов. Такой товар везде нарасхват. А вот еще хвалебная статья о Джордже Б. МакКлеллане[67], с фотографиями его же в возрасте четырех, двенадцати, двадцати

[66] Примечания: 66

Букв.: светские стихи (*фр.*).

[67] Примечания: 67

МакКлеллан, Джордж Бринтон (1826–1885) — один из генералов армии северян.

двух и тридцати лет. Это — в порядке прогноза на будущее. Его как пить дать изберут мэром Нью-Йорка. Сенсация будет на всю страну. Он…

— Я прошу прощения, — произнес полковник Тельфэр, цепенея. — Какое имя вы назвали?

— А, понятно, — ухмыльнулся Такер. — Ну да, сын того самого генерала. Ладно, эту рукопись мы опустим. Но, вы уж меня извините, полковник, мы же стараемся раскачать журнал, а не первую пушку форта Самтер[68]. Ну так вот еще журнал; эта вам точно понравится. Первое стихотворение Джеймса Уиткомба Райли[69], ни больше ни меньше. Да-да, самого Дж. У.! Вы ж понимаете, что это значит для журнала. Я вам не скажу, сколько мне за эти вирши пришлось выложить, скажу лишь одно: Райли зашибает больше денег при помощи авторучки, чем под силу вам или мне при помощи типографской краски. Я вам зачитаю последние две строфы:

Па бьет баклуши день-деньской,
Ему, как видно, не до нас.

---

[68] Примечания: 68

Форт Самтер — форт на искусственном острове у входа в Чарльстонскую гавань.

[69] Примечания: 69

Райли, Джеймс Уиткомб (1849–1916) — американский поэт.

Хочу – ору, хочу – визжу,
Па даже не поднимет глаз.
Бранюсь, тяну кота за хвост —
Папуле вмешиваться лень.
Дурачусь – папе дела нет,
А мама – сразу за ремень!
Почему? Не потому ли,
Что не до того папуле?
Но лишь погасят в доме свет,
Я, устыдясь дневных проказ,
Взбираюсь к маме на кровать —
Обнять ее в десятый раз.
Пролепетав: «Ты лучше всех!»,
Целую в лоб ее и в нос
И вижу даже в темноте:
Ее глаза мокры от слез.
Почему? Не потому ли,
Что не до того папуле?

— Говорю ж, товар что надо, — продолжил Такер. — А как на ваш взгляд?

— Я не то чтобы вовсе незнаком с творчеством мистера Райли, — осторожно отозвался пол-

ковник. — Кажется, он из Индианы. Последние десять лет я живу сущим затворником, посвящая все свое время литературным занятиям, в моих руках перебывали без малого все тома библиотеки «Кедровых высей». Я также придерживаюсь мнения, что журнал должен публиковать известное количество поэзии. Многие сладчайшие певцы Юга уже подарили свои творения страницам «Розы Дикси». Сам я подумывал о том, чтобы перевести с оригинала и напечатать в «Розе» творения великого итальянца Тассо. Вам доводилось утолять жажду из источника вдохновения сего бессмертного поэта, мистер Такер?

— Ни чашечки, ни полчашечки, — покачал головой Такер. — Но к делу, полковник, к делу. Я уже вложил в проект немалые деньги — на собственный свой страх и риск. Эта подборка рукописей обошлась мне в четыре тысячи долларов. Моя цель — опробовать несколько штук в следующем выпуске, — я так понимаю, вы составляете номер почти за месяц, — и поглядеть, как это скажется на тираже. Я считаю, что, публикуя отборнейший материал, добытый на Севере, Юге, Востоке и Западе, мы журнал «раскрутим». У вас в руках письмо от владельцев компании с просьбой посодействовать мне в осуществле-

нии этого плана. Давайте-ка повыбрасываем часть той сентиментальной дребедени, что вы печатаете только потому, что авторы приходятся родней Скупдудлзам из графства Скупдудл. Вы меня слышите?

— Пока пост главного редактора «Розы» занимаю я, редактировать журнал буду я, и никто другой, — с достоинством ответствовал полковник Тельфэр. — Однако мне также хотелось бы уважить пожелания владельцев — ежели при этом мне не придется идти против своих принципов.

— Вот это разговор! — бодро откликнулся Такер. — Ну, так сколько тех писулек, что я привез, удастся втиснуть в январский номер? Надо ковать железо, пока горячо.

— В январском номере еще осталось свободное место — приблизительно на восемь тысяч слов, — заверил редактор.

— Великолепно! — отозвался Такер. — Это немного, но это позволит читателям слегка отвлечься от арахиса, губернаторов и Геттисберга[70]; какое-никакое, а разнообразие. Выбор материала я оставляю на ваше усмотрение: все,

---

[70] Примечания: 70

Геттисберг — городок в штате Пенсильвания.

что я вам подбросил, — товар отменный. А мне надо на всех парах мчаться обратно в Нью-Йорк. Я заеду еще раз недели через две.

Полковник Тельфэр неспешно раскачивал в воздухе очки на широкой черной ленте.

— Место в январском выпуске, о котором я упомянул, — сдержанно проговорил он, — оставлено свободным преднамеренно — в ожидании решения, которое я еще не принял. Не так давно в издательство «Розы Дикси» поступила рукопись — один из наиболее блестящих образчиков литературного творчества на моей памяти. Создать нечто подобное мог лишь выдающийся ум и талант. Это произведение почти полностью заняло бы то место, что я зарезервировал на случай его возможного использования.

Такер заметно встревожился.

— Это еще что за писанина? — полюбопытствовал он. — Восемь тысяч слов… звучит подозрительно. Не иначе как тут приложили руку самые что ни на есть старинные семейства. Уж не грядет ли очередной выход из Союза?

— Автор упомянутой статьи, — продолжал полковник, пропуская мимо ушей Такеровы намеки, — писатель довольно известный. Выдвинулся он также и в иных сферах. Я не считаю себя вправе

открыть вам его имя — по крайней мере до тех пор, пока не решу, принять или отклонить его рукопись.

— Так что ж это, собственно, такое? — нервно осведомился Такер. — Роман с продолжением или отчет о торжественном открытии новой городской водокачки в Уитмире, штат Южная Каролина, или список личных слуг генерала Ли, исправленный и дополненный, или что же?

— Вам угодно шутить, — невозмутимо отметил полковник. — Упомянутая статья вышла из-под пера выдающегося мыслителя, философа, гуманиста, ученого и риторика.

— Да тут, похоже, целый синдикат постарался, — фыркнул Такер. — Но, честное слово, полковник, вы бы не торопились! В наши дни единократную дозу печатного материала на восемь тысяч слов никто не переварит, если это не сводки Верховного суда и не судебные материалы по делу об убийстве. Вы, часом, не разжились текстом какой-нибудь там речи Дэниэла Уэбстера?

Развернувшись в кресле, полковник Тельфэр устремил на журнального толкача неотрывный взгляд из-под кустистых бровей.

— Мистер Такер, — внушительно проговорил он. — Я готов абстрагироваться от несколько

грубых проявлений вашего чувства юмора и понять вполне естественную озабоченность судьбой ваших капиталовложений. Но я должен попросить вас воздержаться от насмешек и уничижительных комментариев в адрес Юга и южан. Таковых, сэр, в офисе «Розы Дикси» и минуты не потерпят. И прежде чем вы продолжите свои завуалированные инсинуации касательно того, что я, главный редактор упомянутого журнала, не могу с компетентностью судить о достоинствах материала, представленного на мое рассмотрение, смиренно попрошу вас сперва предоставить подтверждения либо доказательства того, что вы превосходите меня в каком бы то ни было смысле, отношении или аспекте, имеющем отношение к данному вопросу.

— Да полно ж вам, полковник, — добродушно отмахнулся Такер. — Я вовсе ничего такого вам и не говорил. А то звучит прямо как обвинительный акт из уст четвертого заместителя генерального прокурора. Давайте-ка лучше вернемся к делу. Так о чем эти пресловутые восемь тысяч слов?

— Статья, — пояснил полковник Тельфэр, легким наклоном головы давая понять, что извинения принимаются, — изумляет широтою охвата.

В ней затрагиваются теории и вопросы, что на протяжении многих веков ставили мир в тупик, — и разрешаются кратко, сжато и логично. Один за одним анализирует автор пороки мира, указывает пути их искоренения и затем добросовестно и подробно восхваляет добродетель. Нет такой области человеческого существования, что не была бы рассмотрена с мудрым, невозмутимым беспристрастием. Крупномасштабная политика правительства, обязанности отдельных граждан, нормы семейной жизни, право, этика, мораль — все эти важные темы обсуждаются с таким спокойным глубокомыслием и убедительностью, что, признаю, я не смог сдержать восхищения.

— Отличная, должно быть, штука! — потрясенно согласился Такер.

— Это великий вклад в сокровищницу мировой мудрости, — кивнул полковник. — Единственное сомнение касательно того, сколь великим благом обернется для «Розы Дикси» публикация этой статьи, состоит в том, что на данный момент я не располагаю достаточной информацией об авторе, чтобы обнародовать его труд в нашем журнале.

— Не вы ли помянули о том, что автор, дескать, — человек выдающийся? — напомнил Такер.

— О да, — кивнул полковник, — как в литера-

турной сфере, так и в иных, сторонних и весьма разнородных областях. Но что до публикуемых мною материалов, тут я проявляю крайнюю осторожность. Мои авторы — люди безупречной репутации и происхождения, что можно удостоверить в любое время. Как я уже сказал, я придержу статью до тех пор, пока не получу более полной информации об авторе. Не знаю, смогу ли я напечатать сей труд или нет. Если я приму решение не в его пользу, я с превеликим удовольствием воспользуюсь в качестве замены теми материалами, что оставите мне вы, мистер Такер.

Такер слегка опешил.

— Чегой-то я не совсем понял насчет сути этого вдохновенного опуса, — проговорил он. — По мне — темная лошадка, куда там Пегасу!

— Это общественный документ, созданный человеком исключительных дарований, каковой, по моему мнению, лучше постиг мир и его судьбы, нежели любой из ныне живущих, — убежденно проговорил полковник-редактор. Взволнованный Такер вскочил на ноги.

— Сознайтесь! — воскликнул он. — Ведь быть того не может, чтобы вы купили мемуары Джона

Д. Рокфеллера[71], верно? Только не выкладывайте всего сразу, дайте мне прийти в себя!

— Нет, сэр, — возразил полковник Тельфэр. — Я говорю о литературе и духовности, а не о низменных ухищрениях торгаша.

— Ну так в чем, собственно, проблема? — осведомился Такер, начиная понемногу терять терпение. — Почему бы и не опубликовать статью, ежели этот тип — такая знаменитость и товар у него на руках?

Полковник Тельфэр вздохнул.

— Мистер Такер, — произнес он, — в кои-то веки меня одолевает искушение. На страницах «Розы Дикси» не появлялось еще ни строчки, вышедшей не из-под пера сына или дочери Юга. Мне мало что известно об авторе упомянутой статьи, кроме разве того, что он занимает видное положение в регионе, враждебном моему сердцу и уму. Но я признаю его гений и, как я уже имел честь сообщить вам, навожу справки в том, что касается его личности. Возможно, мои усилия ни к чему не приведут. Но я намерен продолжать расследование. И до тех пор, пока оно не завершится, я вынужден оставить вопрос о заполнении

---

[71] Примечания: 71

Рокфеллер, Джон Девисон (1839–1937) — основатель династии нефтепромышленников и финансистов.

свободного места в январском номере открытым.

Такер поднялся и откланялся.

— Ладно, полковник, — проговорил он как можно учтивее. — Судите сами. Если у вас и в самом деле имеется сенсация, способная расшевелить народ, — так печатайте ее вместо моих бумажек! Я загляну к вам недели через две. Удачи!

Полковник Тельфэр и журнальный агент пожали друг другу руки.

Спустя две недели Такер вышел из трясучего пульмановского вагона на станции Тумз-Сити. И обнаружил, что январский номер журнала уже составлен и сдан в набор.

Свободное место, некогда зияющее пустотой, занимала статья, озаглавленная:

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ КОНГРЕССУ,
написанное для «Розы Дикси» представителем
известной семьи Буллох, штат Джорджия, Т. Рузвельтом.

Тикток

Великий французский детектив в Остине. Успех политической интриги

Глава 1

Немногим известно, что Тикток, знаменитый французский детектив, на прошлой неделе побывал в Остине. Он остановился в гостинице «Авеню» под вымышленным именем, и его сдержанные, спокойные манеры сразу же выдали в нем того, кто выделяться не стремится.

Никто так и не узнал, зачем он приезжал в Остин; однако одному-двум вопрошающим детектив соизволил открыть, что исключительной важности миссия возложена на него французским правительством.

Есть версия, что французский министр внутренних дел обнаружил среди законов империи древний статут, вытекающий из договора между императором Карлом Великим и губернатором Робертсом, что недвусмысленно предписывает держать открытыми северные врата главного города штата, — но это не более чем догадка.

В прошлую среду после полудня в дверь гостиничного номера Тиктока постучался хорошо одетый джентльмен.

Детектив открыл дверь.

— Месье Тикток, полагаю, — молвил джентль-

мен.

— Соблаговолите убедиться, что в книге постояльцев я записался под именем Кв. Кс. Джонз, — отозвался Тикток, — и тот, кто называет себя джентльменом, несомненно понял бы, что мне угодно называться именно так и не иначе. Если вам не по душе, что вас исключают из числа джентльменов, я готов дать вам удовлетворение — в любое время после 1 июля, а тем временем, будь на то ваша воля, сражусь со Стивом О'Доннеллом, Джоном МакДональдом и Игнацием Доннелли.

— Да исключайте на здоровье, — отозвался джентльмен. — Вообще-то я к тому привык. Я — председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2, и у меня друг влип в неприятности. Я догадался, что вы — Тикток, поскольку вы как две капли воды смахиваете на себя самого.

— Антре ву, — пригласил детектив.

Джентльмен вошел; ему пододвинули кресло.

— Я — человек немногословный, — объявил Тикток. — Я помогу вашему другу, если смогу. Наши страны — большие друзья. Мы подарили

вам Лафайета[72] и картофель фри. Вы подарили нам калифорнийское шампанское и… и забрали назад Уорда Макалистера. Изложите дело.

— Я буду краток, — начал гость. — В номере 76 этого самого отеля остановился известный кандидат от Популистской партии. Он там один. Вчера вечером у него похитили носки. Пропажа до сих пор не обнаружена. Если носки так и не отыщутся, его партия обвинит демократов. Они здорово наживутся на краже, хотя я уверен, что это — вообще не политическая акция. Носки необходимо вернуть. Вы — единственный, кто способен нам помочь.

Тикток поклонился.

— Вы даете мне карт-бланш допросить всех и каждого, имеющих отношение к отелю?

— С владельцем гостиницы уже говорили. К вашим услугам все и вся.

Тикток сверился с часами.

— Приходите сюда завтра вечером в шесть вместе с хозяином отеля, кандидатом от партии популистов и любыми другими свидетелями от обеих партий — и я верну носки.

---

[72] Примечания: 72

Лафайет, Мари Жозеф де (1757–1834) — французский политический деятель, в звании генерала американской армии участвовал в Войне за независимость североамериканских колоний.

— Бьен, месье, шлафен зи воль.

— Оревуар.

Председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2, учтиво поклонился и отбыл.

Тикток послал за коридорным.

— Вы поднимались вчера вечером в номер 76?

— Да, сэр.

— Кто там был?

— Да старая деревенщина, что притащилась поездом 7:25.

— Что ему было нужно?

— Вышибала понадобился.

— Зачем?

— Выключить свет.

— Вы ничего не трогали в номере?

— Нет, он меня не просил.

— Ваше имя?

— Джим.

— Можете идти.

Глава 2

Окна гостиной одного из самых роскошных остинских особняков ярко освещены. На улице перед крыльцом чередою выстроились кареты, а от ворот до двери расстелен бархатный ковер, — дабы чувствительные ноги гостей, не дай бог, не соприкоснулись с землей.

Торжество устроено по случаю представления в свет одной из самых прелестных дебютанток Города Фиолетового Венца. В комнатах и залах царят утонченная культура, красота, молодость и фешенебельное общество. Высший свет Остина признан самым остроумным, самым избранным и самым высокородным к юго-западу от Канзас-Сити.

Миссис Рутабага Сент-Витус, хозяйка дома, неизменно окружает себя талантами и красотой, не имеющими себе равных. Ее вечера более достойны высокого названия салона, нежели любые другие собрания, исключая разве что прием Тони Фауста и Маргариты в «Железном Фасаде».

Мисс Сент-Витус, чье вступление в лабиринт большого света отмечено столь отрадной демонстрацией гостеприимства, — хрупкая брюнетка с

огромными лучистыми глазами, чарующей улыбкой и обворожительными манерами инженю. На ней крепдешиновое платье покроя «принцесс», бриллиантовые украшения, и под спину подложена пара салфеток, чтобы скрыть выпирающие лопатки. Устроившись на плюшевом диванчике на двоих — так называемой «тетететке», — она с очаровательной непринужденностью беседует с Гарольдом Сент-Клером, торговым агентом миннеаполисской компании по производству кальсон. Элси Хикс, что выскочила замуж за трех коммивояжеров в один день неделю-другую назад и выиграла пари — две дюжины бутылок «Будвайзера» — у пригожего и талантливого молодого таксиста Бама Смизерза, прогуливается туда-сюда сквозь балконную дверь вместе с Этельбертом Уиндапом, весьма популярным молодым кандидатом на пост ревизора кожсырья, — его имя знакомо всякому, кто читает полицейские судебные протоколы.

Где-то, сокрывшись среди кустарников, играет оркестр, а в паузах между репликами можно учуять, как в кухне жарится лук.

С рубиновых губок срывается счастливый смех; мужественные лица светлеют, обращаясь к лебединым шейкам и склоненным головкам, робкие

взоры говорят о том, что не смеют вымолвить губы, а под шелковыми лифами и тонким сукном сердца бьются в лад нежной мелодии «Юной любовной грезы».

— Ну и где же вас носило столько времени, о неверный паладин? — молвит мисс Сент-Витус Гарольду Сент-Клеру. — Вы, никак, преклоняли колена пред иными святынями? Вы изменили своим былым друзьям? Говорите, сэр Рыцарь, и защищайтесь!

— Да ладно, ладно, — отвечает Гарольд глубоким музыкальным баритоном. — Я тут вкалывал как проклятый, подгонял штаны на криволапых деревенщин из хлопковых джунглей. Ноги у них все в шишках чуть не с тыкву величиной, и ведь каждый ждет, что брюки будут сидеть прям как влитые. Вам когда-нибудь доводилось замерять ноги колесом… э-э-э… я хочу сказать, можете себе вообразить, что за адова работенка — прилаживать к ним штаны? А спрос-то на нуле; никто не желает выкладывать больше трех долларов!

— Ах, юный бонмотист! — молвит мисс Сент-Витус. — Так и сыплет остротами и афоризмами! Чего вы пьете?

— Пивка бы.

— Так подайте мне руку и пойдем в гостиную,

откупорим бутылочку. У меня тоже во рту пересохло, точно хлопок жевала.

Рука об руку прелестная чета шествует через всю комнату, приковывая к себе всеобщие взгляды. Людерик Хетерингтон — подающий большие надежды, весьма и весьма одаренный ночной сторож на скотобойне «Одинокая звезда» — и Мейбл Грабб, дочь миллионера — владельца салуна «Горбатый верблюд», стоят под олеандрами, провожая их глазами.

— До чего прелестна, — говорит Людерик.

— Чушь, — говорит Мейбл.

Внимательный наблюдатель давно уже заметил бы одинокую фигуру: этот человек держится особняком и, благодаря абсолютной невозмутимости и самообладанию, а также искусному лавированию по залу, не привлекает к себе излишнего внимания.

Звезда вечера — пианист герр профессор Людвиг ван Бум.

Неделю назад полковник Сент-Витус обнаружил его распивающим пиво в баре на Ист-Пекан-стрит и, по обычаям Остина, заведенным для такого рода случаев, пригласил его в гости. На следующий день профессор был принят в обществе, и ныне к услугам его — немало просторных

музыкальных классов.

Профессор ван Бум играет чудесную симфонию соль минор из «Песен без музыки» Бетховена. Стройные аккорды наполняют залу магией волшебных созвучий. Пианист мастерски воспроизводит исключительно трудные для исполнения пассажи облигато, — и когда наконец отгремело великолепное «тедеум» с дополнительными арпеджио, в комнате воцаряется гробовая тишина — та, что дороже сердцу музыканта, нежели оглушительные аплодисменты.

Профессор оборачивается.

Комната пуста.

Пуста, если не считать Тиктока, великого французского детектива, что выпрыгивает из тропических зарослей прямо на него.

Профессор в испуге вскакивает.

— Тихо, — приказывает Тикток. — Ни звука. Вы и так уже порядком нашумели.

Снаружи слышны шаги.

— Быстро, — говорит Тикток, — гоните носки. Нельзя терять ни секунды.

— Was sagst du?

— Ага, признался, — говорит Тикток. — Да-да, те самые носки, что вы унесли из номера кандидата от партии популистов.

Общество возвращается проверить, отчего смолкла музыка.

Ни минуты не колеблясь, Тикток хватает профессора, швыряет его на пол, срывает с него ботинки вместе с носками и спасается вместе с добычей через открытое окно в сад.

Глава 3

Номер Тиктока в отеле «Авеню». В дверь стучат.

Тикток открывает дверь и сверяется с часами.

— Ага, — говорит он, — ровно шесть. Антре, месье.

Все месье незамедлительно антре. Их семеро: кандидат от партии популистов — он здесь по приглашению, сам не знает чего ради; председатель исполнительного комитета Демократической партии, платформа № 2; владелец отеля и три-четыре демократа и популиста — все, сколько нашлось.

— Не понимаю, какого черт… — начинает было кандидат-популист.

— Прошу прощения, — решительно перебивает Тикток. — Извольте молчать до тех пор, пока я не оглашу свой доклад. Меня уполномочили расследовать это дело — и я разгадал тайну. Во имя чести Франции прошу, чтобы меня выслушали со всем вниманием.

— Всенепременно, — соглашается председатель. — Мы с превеликим удовольствием вас выслушаем.

Тикток стоит в центре номера. Над ним ярко пылает электрическая лампочка. Детектив кажется живым воплощением бдительности, энергичности, гения и хитроумия.

Гости рассаживаются на стульях вдоль стены.

— Будучи поставлен в известность об ограблении, — начинает рассказ Тикток, — я первым делом допросил коридорного. Он ничего не знал. Я отправился в полицию. Там тоже ничего не знали. Я пригласил одного из полицейских распить по стаканчику в баре. Он поведал, что в десятом избирательном округе был один черномазый мальчишка, который сдавал наворованное в полицию, чтобы те с блеском раскрывали кражу; да только он однажды не явился к условленному месту ареста — и угодил в тюрьму.

Я задумался. Я принялся рассуждать логически. Никто, говорил я, не понесет носки популиста в кармане, не завернув их предварительно в бумагу. Ему понадобится газета. Где ее взять? Конечно же, в издательстве «Стэйтсмен». Я направился туда. За конторкой восседал молодой человек, его волосы были зачесаны на лоб. Я понял, что он пишет заметки для светской хроники: перед ним на столе лежали девичья туфелька, кусок торта, веер, полупустая бутылка коктейля, букетик роз

и полицейский свисток.

— Не покупал ли кто-нибудь у вас газету за последние три месяца? — спросил я.

— О да, — подтвердил он, — мы продали одну вчера вечером.

— Не опишете ли вы покупателя?

— Во всех подробностях. У него были синие усы, бородавка между лопаток, колики, а изо рта так и разило налогом на занятость.

— Куда он направился?

— За дверь. Тогда я пошел…

— Минуточку, — перебил кандидат от партии популистов, вставая. — В толк не могу взять, какого черт…

— И снова я попрошу вас умолкнуть, — отозвался Тикток довольно резко. — Не перебивайте меня в середине доклада.

— Я совершил один неправомерный арест, — продолжал Тикток. — На улице я проходил мимо двух прекрасно одетых джентльменов, и тут один сообщил, что «увел носки». Я надел на него наручники и потащил его к освещенному магазину, но тут его спутник объяснил мне, что тот слегка навеселе и язык не вполне его слушается. Он рассказывал о некой неудавшейся вечеринке, и слова его подразумевали «увял с тоски».

Я тут же освободил его.

Час спустя я проходил мимо салуна и увидел, что у столика пьет пиво профессор ван Бум. Я знал его в Париже. «Вот он!» — сказал себе я. Он поклоняется Вагнеру, живет лимбургским сыром, пивом и кредитом; такой сопрет носки у кого угодно. Я проследил за ним до самого особняка полковника Сент-Витуса и, улучив момент, схватил его и сорвал носки с его ног. Вот они.

Исполненным драматизма жестом Тикток бросил на стол пару грязных носков, скрестил руки на груди и откинул голову.

С яростным криком кандидат от популистов вновь вскочил на ноги.

— Да черт подери! Я скажу то, что хочу! Я…

Двое других популистов, находящихся в комнате, взирали на него холодно и сурово.

— Это правда? — спросили они кандидата.

— Нет, Богом клянусь, что нет! — возопил он, указывая дрожащим пальцем на председателя демократов. — Вот стоит негодяй, состряпавший всю интригу от начала и до конца. Это — распроклятый, подлый политический трюк, затеянный того ради, чтобы наша партия потеряла голоса. Как далеко все зашло? — яростно осведомился кандидат, оборачиваясь к детективу.

— Во все газеты отослан мой письменный отчет об этом деле; «Стэйтсмен» напечатает его на будущей неделе, — благодушно сообщил Тикток.

— Все пропало! — воскликнули популисты, направляясь к двери.

— Ради всего святого, друзья мои, выслушайте меня! — взывал кандидат, устремляясь за ними. — Я клянусь небом, что отродясь не носил носков! Все это — гнусная предвыборная ложь!

Популисты повернулись спиной.

— Ущерб уже нанесен, — заявили они. — История стала достоянием масс. У вас еще есть время, не уронив достоинства, снять свою кандидатуру.

В номере остались только демократы и Тикток.

— Не сойти ли нам вниз выпить бутылку шампанского за счет финансового комитета? — предложил председатель исполнительного комитета, платформа № 2.

Высшее отречение[73]

Кудряш-бродяга бочком двинулся к стойке, где была расставлена даровая закуска. Но, поймав на себе мимолетный взгляд трактирщика, он остановился и принял такой вид, словно только что пообедал в отеле Менгера и теперь дожидался здесь приятеля, обещавшего покатать его в собственном автомобиле. Артистические способности Кудряша вполне могли изобразить желаемый тип, но внешних данных несколько не хватало.

Трактирщик, как будто от нечего делать, начал ходить около прилавка, потом взглянул на потолок, словно обдумывая какую-то сложную проблему оштукатуривания, а затем устремился на Кудряша с такой внезапностью, что тот не успел даже дать никаких объяснений своему поведению. Неотразимо, но так спокойно, что с его стороны это казалось почти простой рассеянностью, виночерпий теснил Кудряша к двери и наконец вытолкнул его на улицу с небрежно-

---

[73] Примечания: 73

Текст с незначительной правкой печатается по: О. Генри. Сердце Запада: Рассказы. Пг.: Скл. изд. «Якорь», 1915.

стью, почти переходившей в грусть. Таковы уже были приемы на Юго-Востоке.

Кудряш не торопясь поднялся с тротуара. К изгнавшему его человеку он не чувствовал ни злобы, ни раздражения. Пятнадцать лет бродяжества, составлявшие пять седьмых его двадцатидвухлетней жизни, закалили фибры его духа. Пращи и стрелы, метаемые злобной судьбой, расплющивались о панцирь его стальной гордости. Но с особенной покорностью терпел он поношения и обиды, чинимые трактирщиками. Согласно естественному течению событий они были его врагами; но часто, вопреки естественному ходу вещей, они оказывались его друзьями. Он должен был пользоваться случаем, чтобы поживиться от них, если можно. Но он еще не умел ценить как следует этих холодных, ленивых юго-восточных рыцарей кабацкой стойки, у которых были манеры графа Поутэкетского и которые, если они не одобряли вашего присутствия, выставляли вас с безмолвием и проворством шахматиста-автомата, двигающего пешку.

Кудряш стоял несколько минут на узкой, проросшей мескитной травой улице. Сан-Антонио смущал и беспокоил его. Уже три дня он был бесплатным гостем этого города, на улицы которого

свалился из товарного вагона Великой Северной железной дороги, ибо Джонни, смазчик в Де-Муане, уверил его, что Сан-Антонио весь обсыпан манной небесной и что там даром дают обед и даром же угощают сливками и сахаром. Отчасти это соответствовало истине. Гостеприимства там было вволю — гостеприимства беззаботного, щедрого и беспорядочного. Но сам город тяготил Кудряша, привыкшего к шумным, деловым, упорядоченным центрам Севера и Востока. Здесь ему нередко швыряли доллар, но зато очень и очень часто доллар сопровождался добродушным пинком. Один раз банда веселящихся ковбоев накинула на него лассо на Военной площади, протащила его по черной земле и привела туалет Кудряша в такое состояние, что ни один порядочный мешок для тряпок не согласился бы принять его к себе. Извилистые, кривые, никуда не приводившие улицы озадачивали его. А кроме того, имелась маленькая, изогнутая, точно ухват, речонка, ползшая по самой середине города и перекрещенная сотней маленьких мостов, до такой степени одинаковых, что это било Кудряша по нервам. И только что виденный им трактирщик носил штиблеты номер девятый.

Салун стоял на углу. Времени было восемь часов

вечера. Прохожие, шедшие домой, и прохожие, шедшие из дома, толкали Кудряша, сталкиваясь с ним на узком каменном тротуаре. Между группой зданий на левой стороне виднелась расщелина, представлявшая, по-видимому, другую большую улицу. На ней царила темнота — светился только один огонек. Но раз там горел свет, очевидно, должны были быть и человеческие существа. А там, где оставались человеческие существа после наступления ночи, возможно, имелась пища и уж наверное имелась выпивка. И потому Кудряш тронулся по направлению к огоньку.

Иллюминация эта исходила из кафе Швегеля. На тротуаре перед самым кафе Кудряш подобрал старый конверт. Возможно, там чек на миллион долларов… Конверт был пуст; но все-таки странник наш прочел адрес — «Мистеру Отто Швегелю» и название города и штата. На штемпеле стояло «Детройт».

Кудряш вошел в салун. Теперь, когда на него падал свет, стало заметно, что он носит на себе печать многих лет бродяжнической жизни. Ему была совершенно чужда опрятность, которая отличает расчетливого и проницательного профессионального бродягу. Гардероб его состоял из брошенных за негодностью образцов полудюжи-

ны различных стилей и эпох. Штиблеты для его ног обеспечили совместные усилия двух фабрик. Глядя на него, вы смутно вспоминали мумии, восковые фигуры, русских политических эмигрантов и людей, затерянных на необитаемых островах. Лицо его почти до самых глаз заросло вьющейся каштановой бородой, которую он подрезал перочинным ножом и которая снискала ему его прозвище. Светло-голубые глаза, полные угрюмой злобы, страха, хитрости, нахальства и лести, свидетельствовали о том, как отчаянно приходилось изворачиваться его душе.

Салун был невелик, и в атмосфере его боролись за превосходство запахи мяса и спиртных напитков. Свинина и кислая капуста состязались с водородом и кислородом. За прилавком орудовал сам Швегель вместе с приказчиком, из раскрытых пор которого обильно струился пот. Покупателям подавали к пиву венские сосиски и кислую капусту. Кудряш подошел к самому концу стойки, глухо кашлянул и сообщил Швегелю, что он столяр из Детройта, оставшийся без работы.

Подобно тому, как ночь следует за днем, так и за этим заявлением последовал скунер[74] пива

---

[74] Примечания: 74

Скунер — большой бокал в один литр.

и закуска.

— Может быть, вы знавали в Детройте Генриха Штрауса? — спросил Швегель.

— Знал ли я Генриха Штрауса? — заговорил Кудряш с нежностью в голосе. — Могу только сказать, хозяин, что хотел бы я иметь по доллару за каждый роббер пинокля[75], в который, случалось, играли мы с Гейни в воскресные вечера!

Перед дипломатом появился еще скунер пива и другая тарелка сосисок. А затем Кудряш, знавший с точностью до одной драхмы пива, сколь долго можно продолжать подобную игру, тихонько исчез на бесприютную улицу.

Теперь-то начал он ощущать все неудобства этого каменного южного города. Здесь не было ни уличного веселья, ни блеска, ни музыки, которые в городах Севера обеспечивают развлечение даже беднейшим. Несмотря на ранний час, мрачные, выстроенные из плит дома уже заперли на замки и засовы, чтобы не проникла хмурая сырость ночи. Улицы казались простыми трещинами, и речной туман струился по ним серыми клубами. Проходя мимо, Кудряш слышал за занавешенными окнами звон монет, смех и музыку,

---

[75] Примечания: 75

Роббер пинокля — *пинокль* — карточная игра; *роббер* — полная партия в карточной игре.

доносившиеся из каждой щели в дереве и камне. Но все эти развлечения были узкоэгоистичны; пора общественного времяпрепровождения еще не наступила для Сан-Антонио.

Наконец Кудряш, бесцельно блуждая, обогнул острый угол другой затерявшейся в лабиринте улицы и наткнулся на шальную компанию скотоводов с дальних ранчо, бражничавших на открытом воздухе перед каким-то старым деревянным отелем. Один из этих обитателей овечьей страны, по-видимому великий кутила, только что подал мысль о всеобщем движении к стойке и, завидев Кудряша, впихнул его в салун вместе с остальным стадом, словно приблудшего козленка. Князья мяса и шерсти приветствовали его как новое зоологическое открытие и с гиканьем и криками старались подольше удержать Кудряша в своей среде, осыпая его комплиментами и нежностями алкогольного свойства.

Через час Кудряш уже плелся прочь из отеля, отпущенный на все четыре стороны своими ветреными друзьями, интерес которых к нему исчез так же быстро, как возник. Он был нагружен до краев алкогольным топливом и набит пищей, и единственная тревожная проблема заключалась теперь лишь в вопросе о крове и постели.

Начал идти мелкий холодный техасский дождь — это нескончаемое, ленивое, безостановочное падение водяных капель, приводившее в уныние людей и подымавшее пар с теплых камней улиц и домов. Так приходят обыкновенно ласковая весна и любезная осень, сопровождаемые то ледяными салютами, то прощаниями приходящей или уходящей зимы.

Следуя своему носу, Кудряш направился вниз по первой попавшейся извилистой улице, куда его привели невменяемые ноги. У нижнего конца ее, на берегу змеившейся реки, он заметил в каменной стене открытые ворота какого-то здания. Во дворе виднелись костры и ряд низких деревянных навесов, пристроенных к трем сторонам стены. Он вошел. Под навесами лошади жевали овес и кукурузу. Вокруг стояло много фур и тележек с упряжью, небрежно брошенной на ваги и колеса. Кудряш сообразил, что это постоялый двор, какие частенько строятся купцами для их провинциальных друзей и клиентов. Кругом не видно было ни души. Очевидно, кучера всех этих экипажей рассыпались по городу, «чтобы повидать слона и послушать сову». По-видимому, те, что ушли последними, слишком торопились оказать свое покровительство местам радости и

хорошего настроения и потому оставили большие деревянные ворота открытыми настежь.

Кудряш удовлетворил мучившие его голод анаконды и жажду верблюда и потому был не в таком настроении, не в таком состоянии, чтобы заняться исследованием. Чертя зигзаги, направился он к первому фургону, который различило его зрение в царившей под навесом полутьме. Это оказался парный фургон, крытый белым брезентом. Он был до половины завален беспорядочно набросанными мешками из-под шерсти, двумя-тремя кипами серых одеял и массой тюков, узлов и ящиков. Человек рассуждающий сразу сообразил бы, что груз этот предназначен для ранчо и завтра отправится на какую-нибудь дальнюю гасиенду. Но для сонных мозгов Кудряша все это обозначало лишь тепло, мягкую постель и защиту от холодной, влажной ночи.

После нескольких безуспешных попыток он наконец настолько преодолел тяготение, что вскарабкался по колесу и плюхнулся на самую лучшую и самую теплую постель, на какую только приходилось ему падать за долгое время. Затем он инстинктивно превратился в роющее животное и, подобно степной собаке, стал все глубже закапываться в мешки и одеяла, пока не

укрылся от холода и не почувствовал себя так же уютно и удобно, как медведь в берлоге. Три последних ночи сон посещал Кудряша только случайными и холодными дозами. И потому теперь, когда Морфей соблаговолил нанести ему визит, Кудряш ухватился за этого почтенного мифологического джентльмена с такой силой, что можно было только удивляться, как это хоть кому-нибудь еще в сем мире удалось на минуту заснуть в эту ночь.

Шесть ковбоев ранчо Сиболо дожидались у двери кладовой. Их кони тут же щипали траву, стреноженные по техасскому способу. В Техасе лошадей, в сущности, совсем не стреноживают, а просто-напросто бросают поводья на землю, что является гораздо более верным способом удержать их поблизости (такова сила привычки и воображения), чем обычная комбинация из полудюймовой веревки и дубовой палки.

Эти охранители стад расхаживали вокруг, держа в руках коричневую папиросную бумагу и тихо, но неустанно проклинали Сэма Ревелля, эконома. Сэм стоял в дверях, пощелкивая красными резиновыми подтяжками на рукавах розовой мадрасской сорочки, и нежно глядел на свои желтые штиблеты — единственную пару желтых

штиблет в радиусе сорока миль. Преступление его было немалое, и душой его в данную минуту поровну владели два одинаково сильных чувства — смиренное покаяние и восхищение перед красотой собственных одежд. Он молча терпел, пока наконец запас ругательств не истощился.

— Я был уверен, ребята, что под прилавком лежит еще ящик табаку, — объяснил он. — А оказалось, что это патроны.

— Можешь не сомневаться, что у тебя гаппендицит[76], — сказал Тупица Роджерс, загонщик из потреро[77] на Ларго Верде. — Жаль, что никого не случилось на месте, чтобы угостить тебя кончиком кнута в самую голову. Я девять миль проехал из-за этого табака. Прямо-таки неестественно и неприлично, что тебе позволено было жить на свете.

— Ребята курили рубленую шерсть пополам с сушеными мескитными листьями, когда я уехал, — со вздохом произнес Мустанг Тэйлор из лагеря у «Трех Вязов», по специальности объездчик лошадей. — Они будут ждать меня к девяти вечера. Будут сидеть с бумагой в руках, чтобы перед сном

---

[76] Примечания: 76

Гаппендицит — употреблено вместо слова «галлюцинация».

[77] Примечания: 77

Потреро — пастбище, окруженное колючей проволокой (исп.).

свернуть настоящую папироску. И мне придется им сказать, что этот красноглазый, овцеголовый, желтоногий сын коленкорового жеребца по имени Сэм Ревелль не имеет на руках табака.

Грегорио Фалькон, мексиканский вакеро[78] и лучший метатель лассо на сибольском ранчо, нахлобучил на чащу своих иссиня-черных локонов тяжелую, вышитую серебром соломенную шляпу и стал скрести в глубинах карманов, надеясь найти хоть несколько крошек драгоценной травы.

— Дон Самуэль, — сказал он укоризненно, сохраняя, однако, кастильскую вежливость, — извините меня. Говорят, что у кролика и овцы самые маленькие на свете sesos — по-вашему это, кажется, называется мозги? Не верьте этому, дон Самуэль. Самые маленькие, извините, мозги у тех людей, которые не держат табаку.

— Ну, ребята, нечего жевать тряпку, — сказал невозмутимый Сэм, наклоняясь и отирая кончики штиблет красно-желтым платком. — Во вторник, когда Ранзе уезжал в Сан-Антонио, я наказал ему насчет табаку. Панчо вчера привел его верховую лошадь, а сам Ранзе приедет на фургоне. Грузу там не очень много — мешки, оде-

---

[78] Примечания: 78

Вакеро — испанское название западноамериканских пастухов.

яла, гвозди, персиковые консервы и еще кое-что, чего у нас не хватало. Ранзе наверняка вернется сегодня. Встает он рано, гонит лошадей, как черт, и, наверное, около заката будет уж здесь.

— Какие у него лошади? — спросил Мустанг Тэйлор с некоторой надеждой в голосе.

— Серые, которых запрягают в тележку, — отвечал Сэм.

— Тогда я подожду немного, — согласился Мустанг. — Эти жеребцы бегут быстро, так и едят дорогу, точно скакун, когда его огреешь кнутом. А сейчас, пока нет ничего получше, откупорь-ка мне банку зеленых слив, Сэм.

— А мне — желтых, — приказал Тупица Роджерс. — Я тоже подожду.

Лишенные табака ковбои расселись поудобнее на лестнице кладовой. Сэм ушел внутрь помещения и маленьким топориком принялся сбивать крышки с консервных коробок.

Кладовая, большое белое деревянное здание, напоминавшее амбар, стояла в пятидесяти ярдах от дома. За ней начинались корали для лошадей, а еще дальше виднелись сараи для шерсти и крытые плетнем загоны для стрижки овец. На ранчо Сиболо разводили и рогатый скот и овец. Неподалеку от кладовой стояли крытые травой

хижины мексиканцев, вассалов Сиболо.

Дом ранчо состоял из четырех больших комнат с оштукатуренными, сложенными из адобы стенами и из деревянной, в две комнаты, надстройки. Вокруг здания тянулась «галерея» футов двадцати в ширину. Дом был выстроен посредине рощицы из громадных ясеней и вязов, вблизи озера, длинного, не очень широкого, но зато страшно глубокого, в котором по вечерам большие выдры, наслаждаясь ванной, возились и ныряли с шумом гиппопотамов. На деревьях гирляндами и массивными серьгами висел меланхолический серый южный мох. Вообще, поместье Сиболо напоминало скорее Юг, чем Запад. Оно имело такой вид, как будто старый Киова[79] Трусдэлль целиком перенес его с равнин Миссисипи, когда он, в 1855 году, пришел в Техас с карабином под мышкой.

Однако, хотя Трусдэлль родового дома с собой и не принес, он принес такую часть семейного наследства, которая была прочнее камня и кирпича. Он принес с собой фамильную ссору Трусдэллей и Куртисов. И когда один из Куртисов купил ранчо Де-Лос-Ольмос, в шестнадцати ми-

---

[79] Примечания: 79

Киова — название одного из индейских племен.

лях от Сиболо, на заросших грушей равнинах и в чащах Юго-Запада наступило интересное время. В те дни Трусдэлль очищал заросли от волков, леопардов и пантер; между прочим, пали от его карабина и двое Куртисов. Со своей стороны, на отмели Сибольского озера он похоронил брата с всаженной в него Куртисовой пулей. А затем индейцы из Киовы сделали свой последний набег на ранчо, расположенные между Фрио и Рио-Гранде, и Трусдэлль, во главе своих ковбоев, начисто, до последнего храбреца, освободил от них землю. После этого наступило благополучие в виде растущих стад и расширяющихся земель. И наконец пришли дни старости и горечи, когда Трусдэлль, со своей гривой белых, словно цветы «испанского кинжала», волос и со своими хищными бледно-голубыми глазами, сидел в тенистой галерее Сибольского ранчо и рычал, словно пумы, которых он убивал когда-то. Старость он презирал, и горький привкус, отравивший его жизнь, проистекал не от нее. Горько было то, что его единственный сын Рэнсом хотел жениться на Куртис, последней оставшейся в живых юной представительнице враждебного дома.

Некоторое время у кладовой слышались только стук оловянных ложек, бульканье фруктового

сока в горле у ковбоев, топот пасущихся пони да тягуче-грустная песенка Сэма. Сэм напевал ее, в двадцатый раз самодовольно причесывая щеткой свои каштановые волосы перед истрескавшимся зеркалом. Из двери кладовой можно было видеть неровный уклон тянущейся к югу степи с пятнами светло-зеленых волнистых мескитовых зарослей по низинам и почти черным низким кустарником по холмам. По мескитовым лужайкам вилась дорога, через пять миль соединявшаяся со старым правительственным трактом, ведшим в Сан-Антонио. Солнце стояло так низко, что самое незначительное возвышение бросало целые мили серой тени в золотисто-зеленое море света.

В этот вечер слух был острее, чем глаза.

Мексиканец поднял загорелый палец, чтобы остановить стук жестяных коробок.

— Один фургон, — сказал он, — переезжает через ручей Гондо. Я слышу колеса. Очень каменистое место этот Гондо.

— У вас хороший слух, Грегорио, — сказал Мустанг Тэйлор. — Я ничего не слышал, кроме птичьего чириканья в кустах да зефира, который носится как угорелый по мирной долине.

Через десять минут Тэйлор заметил:

— Теперь вижу пыль прямо над горизонтом

степи.

— У вас очень хорошее зрение, сеньор, — отвечал Грегорио, улыбаясь.

На расстоянии двух миль виднелось небольшое облако пыли, туманившее зеленую рябь мескитных лужаек. Через двадцать минут послышался топот копыт; а еще через пять минут серые жеребцы уже вынырнули из кустов, нетерпеливо фыркая в предвкушении овса и легко, словно игрушку, таща за собой фургон.

Из хижин донеслись крики: «El amo! El amo!»[80] Четверо мексиканских парней бросились стремглав распрягать лошадей. Ковбои издали вой приветствия и восторга.

Ранзе Трусдэлль на ходу бросил вожжи на землю и засмеялся.

— Это над фургонным пологом, ребята, — сказал он. — Я знаю, чего вы ждете. Если Сэм еще раз допустит, чтобы вышел табак, мы расстреляем его желтые штиблеты. Там лежат два ящика. Вытаскивайте и закуривайте. Я ведь знаю, что всем вам хочется курить.

Когда Ранзе миновал дождливые места, он снял полог с рамы и набросил его на лежавшие в фур-

---

[80] Примечания: 80
Хозяин! Хозяин! (*исп.*)

гоне товары. Шесть пар рук поспешно стащили полог прочь и начали шарить под мешками и одеялами, ища табак.

Верзила Коллинз, специально посланный из лагеря Сан-Габриель, употреблявший самые длинные стремена, какие только можно было бы найти к западу от Миссисипи, сунул под мешки руку, длинную, как фургонная вага.

Он наткнулся на что-то более твердое, чем одеяло, и вытащил на свет божий ужасную вещь — бесформенный, покрытый грязью комок кожи, скрепленный проволокой и нитками. Из-под оборванных краев его выглядывали пальцы человеческой ноги, словно голова и лапы потревоженной черепахи.

— У-у! — завыл Верзила Коллинз. — Ранзе, вы возите трупы? Здесь лежит… Ах, кузнечик его задери!

Восстав от долгого сна, Кудряш полез наверх, подобно червяку из норы. Он прорыл себе ход наружу и сидел, мигая глазами, словно распутная пьяная сова. Лицо его выглядело иссиня-красным, одутловатым, рубцы покрывали его во всех направлениях и красные линии перекрещивали — точь-в-точь как кусок дешевого бифштекса в мясной лавке. Глаза его представляли маленькие,

заплывшие щелки, нос — маринованную свеклу, а что касается волос, то по сравнению с его волосами самые дикие, сбитые в войлок негритянские космы показались бы изящной шелковистой шевелюрой Клео де Мерод[81]. Во всем же остальном он был вылитое воронье пугало.

Ранзе соскочил с сиденья и широко раскрытыми глазами глядел на свой странный груз.

— Эй, маверикская овца, что вы делаете в моем фургоне? Как вы туда попали?

Ковбои, в полном восторге, собрались вокруг. На время они забыли даже о табаке.

Кудряш медленно оглядывался во все стороны. Наконец из его всклокоченной бороды донеслось рычание, напоминавшее шотландского фокстерьера.

— Что это? Где это? — хрипело его опаленное горло. — Какая-то проклятая ферма на каком-то старом поле… Зачем вы меня сюда завезли, ну? Разве я сюда просился? Что это за штуки вы вытворяете, ироды? Пошли вон, или я кого-нибудь из вас угощу прямо в рожу!

— Вытащи его, Коллинз, — сказал Ранзе.

Кудряш стал скользить вниз и почувствовал,

---

[81] Примечания: 81

Клео де Мерод (1875–1966) — французская танцовщица, отличавшаяся редкой красотой.

как земля поднялась и толкнула его в плечо. Он встал на ноги и, дрожа от негодования, присел на ступеньку кладовой, обхватил колени и принялся язвить. Тэйлор нашел ящик с табаком и открыл крышку. Мигом загорелись шесть папирос, принося Сэму забвение и прощение.

— Как вы попали в мой фургон? — повторил Ранзе, на этот раз тоном, вынуждавшим к ответу.

Кудряш сразу узнал этот тон. Он слыхал его от кондукторов и от важных особ в синей форме и с полицейскими дубинками в руках.

— Я-то? — проворчал он. — Это вы мне говорили? Ну вот… Я пил в ресторане Менгера, но мой слуга забыл положить мои фланелевые рубашки. И я вполз в этот фургон, стоявший на постоялом дворе. Понимаете? Я вовсе не просил вас увозить меня на эту чертову ферму — понимаете?

— Что это за штука, Мустанг? — спросил Тупица Роджерс, от экстаза почти забыв о папиросе. — Чем она живет?

— Это галливампус, Тупица, — отвечал Мустанг. — Тот самый, который по ночам кричит «вилливаллу» в вязовых деревьях, около болот. Я не знаю, кусается ли он.

— Нет, это не то, Мустанг, — отозвался Верзила

Коллинз. — У галливампусов плавники на спине и восемнадцать пальцев. А это — снифтер. Он живет под землей и питается вишнями. Не стойте так близко к нему. Он может снести целую деревню одним ударом хвоста.

Сэм — космополит, звавший запросто, по имени, всех трактирщиков в Сан-Антонио, стоял в дверях. Он был лучший зоолог.

— А по-моему, так это Вилли, парикмахер для ваших бород, — комментировал он. — Где это вы откопали этого гобо[82], Ранзе? Или, возможно, вы хотите это ранчо превратить в приют для пьяниц?

— Послушайте, — сказал Кудряш, о бронированную грудь которого тупились все стрелы остроумия. — Есть у кого-нибудь из вас выпивка? Забавляйтесь, если хотите. Я столько оглушил виски, что не знаю, где право, где лево.

Он обернулся к Ранзе.

— Вы меня опоили и заманили на вашу дьявольскую степную шхуну. Разве я просил вас везти меня на ферму? Я хочу выпить. Я весь точно на куски разваливаюсь. Что же тут поделаешь?

Ранзе видел, что нервы бродяги ходили ходу-

---

[82] Примечания: 82
Гобо — бродяга.

ном, и послал одного из мексиканцев в дом за стаканом виски. Кудряш залпом проглотил его, и в глазах его показался на минуту благодарный блеск, столь же человеческий, как выражение глаз верного сеттера.

— Спасибо, хозяин, — сказал он спокойно.

— Вы на тридцать миль от железной дороги и на сорок миль от ближайшего салуна, — сказал Ранзе.

Кудряш бессильно откинулся на ступеньки.

— Раз уж вы здесь, — продолжал Ранзе, — идите за мной. Мы не можем вышвырнуть вас прямо в степь. Кролик и тот мог бы вас растерзать на куски.

Он провел Кудряша к большому сараю, где стояли экипажи, разложил там парусинный матрас и принес одеяла.

— Я не думаю, чтобы вы могли спать, — сказал Ранзе. — Вы ведь отдули ровно двадцать четыре часа. Я велю Педро принести вам кое-что поесть.

— Спать! — сказал Кудряш. — Да я могу спать неделю. Можете в гроб положить и забить крышку гвоздями.

Пятьдесят миль проехал в этот день Рансом Трусдэлль. И однако ему предстояло проехать еще. Вот как это случилось.

Старый Киова Трусдэлль сидел в большом плетеном кресле и читал при свете огромной керосиновой лампы. Ранзе положил у его локтя связку свежих городских газет.

— Приехал, Ранзе? — сказал старик, взглянув на него. Потом он продолжал: — Сын мой, я целый день думал о том деле, о котором мы говорили. Я хочу, чтобы ты опять повторил мне свои слова. Я жил для тебя. Я бился с волками, с индейцами и с еще худшими, чем индейцы, белыми, чтобы защитить тебя. Матери своей ты не помнишь. Я научил тебя стрелять без промаха, ездить без устали, жить без пятнышка. Потом я работал, чтобы накопить доллары, которые будут твоими. Ты будешь богатым человеком, Ранзе, когда я выйду в тираж. Я сделал тебя. Как самка леопарда вылизывает своих детенышей, так и я вылизывал тебя и готовил к жизни. Ты не принадлежишь себе — ты должен быть прежде всего Трусдэллем. Скажи же — намерен ли ты продолжать эти глупости с девушкой Куртисов?

— Я готов повторить свои слова, — произнес медленно Ранзе. — Я никогда не женюсь на Куртис — это так же верно, как то, что я — Трусдэлль и что ты — мой отец.

— Хорошо, мальчик, — сказал старый Киова.

— А теперь иди-ка ужинать.

Ранзе пошел к кухне позади дома. Педро, повар-мексиканец, вскочил, чтобы принести кушанье, которое он держал теплым в печке.

— Только чашку кофе, больше ничего не надо, Педро, — сказал Ранзе и выпил кофе стоя.

Затем он добавил:

— На постели в сарае лежит бродяга. Дай ему что-нибудь поесть, сделай так, чтобы хватило на двоих.

Ранзе вышел и направился к мексиканским хижинам. К нему подбежал мальчик.

— Мануэль, можешь ты поймать для меня на лугу Ваминоса?

— Почему нет, сеньор? Всего два часа назад я видел его у самых ворот. На нем надет аркан.

— Добудь его и оседлай как можно скорее.

— Prontito, señor![83]

Вскоре Ранзе уже сидел верхом на Ваминосе. Он пригнулся к седлу, сжал ногами бока лошади и пустился галопом к востоку, мимо кладовой, где сидел Сэм, перебирая при лунном свете струны гитары.

Здесь необходимо посвятить несколько слов

---

[83] Примечания: 83
Сию минуту, сеньор! (*исп.*)

Ваминосу, доброму бурому коню. Мексиканцы, имеющие до сотни имен, чтобы обозначить цвет лошади, называли его «gruyo». Это значит, что жеребец имел мышино-грифельный окрас с буро-пегими крапинами. По всей спине от гривы до хвоста тянулась черная полоса. Он был двужильный и в один день мог отмахать столько миль, сколько не проехали бы земельные оценщики всего света, взятые вместе.

Отъехав восемь миль к востоку от Сибольского поместья, Ранзе перестал сжимать бока лошади, и Ваминос остановился под большим ратановым деревом. Желтые ратановые цветы источали аромат, который пристыдил бы розы Франции. При свете месяца земля казалась громадной вогнутой чашей с крышкой из хрустального неба. На лужайке прыгали и резвились, словно котята, пять кроликов. В восьми милях дальше к востоку сияла слабая звезда, как будто упавшая под самый горизонт. Ночные путники, часто определявшие по ней дорогу, знали, что это свет в ранчо Де-Лос-Ольмос.

Через десять минут Йенна Куртис подскакала к дереву на своем Танцоре. Влюбленные наклонились с седел и сердечно пожали друг другу руки.

— Я должен бы подъехать поближе к вашему

дому, — сказал Ранзе. — Но вы мне все не позволяете...

Йенна рассмеялась, и при нежном лунном свете удалось различить ее крепкие белые зубы и бесстрашные глаза. В них не заметно было ни малейшей сентиментальности — несмотря на луну, запах ратановых цветов и восхитительную фигуру Ранзе Трусдэлля, возлюбленного. И все-таки она пришла сюда, за восемь миль от дома, чтобы встретить его.

— Сколько раз говорила я вам, Ранзе, — сказала она, — что я ваша только до полдороги! Всегда только до полдороги!

— Ну? — сказал вопросительно Ранзе.

— Я сказала, — произнесла Йенна почти со вздохом. — Я сказала отцу после обеда, когда, по моим расчетам, он должен был находиться в хорошем настроении. Приходилось ли вам когда-нибудь будить льва, Ранзе, воображая, что он окажется котенком? Он чуть не снес до основания все ранчо. Все кончено. Я люблю своего отца, Ранзе, и кроме того... кроме того, я его боюсь. Он велел мне пообещать, что я никогда не выйду замуж за Трусдэлля. Я пообещала. Вот и все. Ну а вам какое выпало счастье?

— Такое же, — медленно сказал Ранзе. — Я

пообещал, что сын его никогда не женится на Куртис. Не знаю почему, но я не мог пойти против него. Он очень стар. Уж извините, Йенна.

Девушка наклонилась с седла и положила руку на руку Ранзе, лежавшую на седельной луке.

— Я никогда не думала, что вы мне больше понравитесь, если откажетесь от меня, — сказала она горячо, — но это так. Теперь я должна ехать обратно, Ранзе. Я тайком выскользнула из дома и сама оседлала Танцора. Спокойной ночи, сосед.

— Спокойной ночи, — сказал Ранзе. — Будьте осторожней, когда вам доведется проезжать у барсуковых нор.

Они пришпорили лошадей и тронулись в разные стороны. Йенна обернулась в седле и ясным голосом крикнула:

— Не забывайте, что я ваша до полдороги, Ранзе.

— Черт с ними, со всеми этими родовыми ссорами и распрями, — злобно пробормотал, обращаясь к ветру, Ранзе, когда ехал назад в Сиболо.

Ранзе пустил лошадь на маленький луг и пошел к себе в комнату. Он открыл нижний ящик старого бюро, чтобы вынуть оттуда пакет с письмами, написанными ему Йенной в то лето, когда она уезжала гостить на Миссисипи. Ящик за-

стрял, и Ранзе свирепо дернул его, как в таких случаях обыкновенно дергают мужчины. Ящик выдвинулся из бюро, но попортил себе бока, как в таких случаях нередко случается с ящиками. Откуда-то выпало старое, пожелтевшее, вчетверо сложенное письмо без конверта — вероятно, из какого-то места около верхних ящиков. Ранзе поднес его к лампе и прочитал.

Затем он надел шляпу и пошел к одной из мексиканских хижин.

— Тетка Хуана, — сказал он, — я хотел бы минутку поговорить с тобой.

Старая-старая мексиканка, седовласая и сморщенная, поднялась с табуретки.

— Садись, — сказал Ранзе, снимая шляпу и садясь на единственное в хижине кресло. — Кто я такой, тетка Хуана? — спросил он, переходя на испанский язык.

— Дон Рансом, наш добрый друг и хозяин. Отчего вы спрашиваете? — удивленно отвечала старуха.

— Тетка Хуана, кто я? — повторил он, глядя ей в лицо своими строгими глазами.

На лице старухи показался испуг. Она принялась мять кончик своей черной шали.

— Кто я, тетка Хуана? — еще раз спросил Ранзе.

— Тридцать два года прожила я на ранчо Сиболо, — сказала тетка Хуана. — Думала, что меня похоронят под деревом за садом, прежде чем все это узнается. Заприте дверь, дон Рансом, и я скажу. Я по вашему лицу вижу, что вы знаете.

Целый час провел Ранзе за запертой дверью тетки Хуаны. Когда он возвращался в дом, Кудряш окликнул его из сарая.

Бродяга сидел на койке, болтал ногами и курил.

— Вот что, приятель, — ворчал он. — С похищенным человеком так не обращаются. Я пошел к кладовой, взял бритву у того чистенького малого и побрился. Но это не все, что надо человеку. Не можете ли вы напустить в стаканчик еще пальца на три этой похлебки? Я ведь не просил вас везти меня на вашу проклятую ферму.

— Встаньте-ка к свету, — сказал Ранзе, пристально оглядывая его.

Кудряш сварливо поднялся с места и ступил вперед шага на два.

Его лицо, выбритое начисто, казалось преображенным. Волосы были причесаны и характерным изгибом ниспадали с правой стороны лба. Лунный свет благосклонно смягчил разрушительные следы пьянства, и орлиный, красивый нос и

небольшой квадратный, раздвоенный подбородок делали лицо Кудряша почти изысканным.

Ранзе сел в ногах постели и с любопытством глядел на Кудряша.

— Откуда вы? Есть у вас где-нибудь дом или родственники?

— Я-то? Я — герцог, — сказал Кудряш. — Я — сэр Реджинальд… Впрочем, к черту шутки. Нет, я ничего не знаю о своих предках. Я был бродягой с тех пор, как помню себя. Скажите, приятель, выставите вы мне сегодня вечером еще стаканчик или нет?

— Может и выставлю, если вы ответите на мои вопросы. Как вы стали бродягой?

— Я-то? — сказал Кудряш. — Я усвоил эту профессию с младенческих лет. Вероятно, пришлось так. Самое первое, что я помню, — это что я принадлежал большому ленивому гобо по имени Чарли Бифштекс. Он посылал меня в дома просить милостыню. Тогда я еще был так мал ростом, что едва доставал до задвижек у калиток.

— Говорил он вам когда-нибудь, как он вас достал? — спрашивал Ранзе.

— Как-то раз, когда он был трезв, он сказал, что купил меня за старый револьвер и шесть пакетов табаку у шайки пьяных мексиканцев, промыш-

лявших стрижкой овец. Ну а как же выпивка? Это ведь все, что я знаю.

— Ладно, — произнес Ранзе. — По-моему, вы настоящей маверикской породы. Я положу на вас клеймо ранчо Сиболо. Завтра вы приметесь за работу в одном из лагерей.

— За работу! — презрительно фыркнул Кудряш. — За кого вы меня принимаете? Неужто вы думаете, что я стану гоняться за коровами и прыгать за глупыми овцами, как это делают, по словам вон того желто-розового малого из кладовой, ваши парни? Нет, лучше выбросьте это из головы.

— Ну, положим, стерпится — слюбится, — сказал Ранзе. — Я пришлю вам еще один стаканчик с Педро. И, по-моему, из вас очень скоро выйдет первоклассный ковбой.

— Это из меня-то? — сказал Кудряш. — Жаль мне тех коров, которых вы мне поручите. Пусть они гоняются сами за собой. Не забудьте, пожалуйста, прислать мне чашечку кофе на ночь, хозяин.

Прежде чем идти домой, Ранзе нанес визит в кладовую. Сэм Ревелль с сожалением снимал свои желтые штиблеты и готовился ложиться спать.

— Кто из парней Сан-Габриельского лагеря возвращается завтра обратно? — спросил Ранзе.

— Верзила Коллинз, — отвечал Сэм. — Везет почту.

— Скажите ему, — сказал Ранзе, — чтобы он взял с собой этого бродягу и держал его там, пока я не приеду.

Когда на следующий день Ранзе Трусдэлль подъехал к Сан-Габриельскому лагерю, Кудряш сидел на своих одеялах и талантливо ругался. Ковбои не обращали на него никакого внимания. Он весь вымазался пылью и черной грязью. Видно было, что костюм его выдерживает последнюю схватку во имя приличий.

Ранзе подошел к Козлу Раббу, главному приказчику, и обменялся с ним несколькими словами.

— Он отъявленный бездельник, — говорил Рабб. — Он не хочет работать, и вообще это — самый низкопробный человечишка, какого я когда-либо видел. Я не знал, что вы хотели с ним делать, Ранзе, и потому оставил его в покое. Это, кажется, как раз по его вкусу. Ребята уже раз двадцать приговаривали его к смерти, но я им сказал, что, может быть, вы хотите сохранить его для пыток.

Ранзе снял пиджак.

— Трудная это работа, но ее приходится выполнять. Я должен сделать человека из этого

существа. Для этого-то я и приехал в лагерь.

Ранзе подошел к Кудряшу.

— Братец, — сказал он, — не думаете ли вы, что если бы помылись, так это позволило бы вам занять место в людской компании с меньшим ущербом для атмосферы?

— Осадите назад, фермер, — сардонически отвечал Кудряш. — Когда Вилли захочется принять ванну, он пошлет за нянюшкой.

Charco, то есть пруд, находился в двенадцати ярдах. Ранзе взял Кудряша за щиколотку и подтащил его к берегу, словно мешок с картофелем. Затем с силой и ловкостью жонглера он швырнул строптивого члена общества далеко в воду.

Кудряш выполз из воды и вскарабкался на берег, фыркая точно дельфин.

Ранзе встретил его с куском мыла и грубым полотенцем в руках.

— Ступайте к другому концу пруда и употребите вот это, — сказал он. — Козел даст вам в фургоне сухое платье.

Бродяга без протестов повиновался. К ужину он возвратился в лагерь. В новой синей рубашке и коричневом костюме, он был почти неузнаваем. Ранзе исподтишка наблюдал за ним.

— Дай бог, он может быть и не трус, — говорил

он самому себе. — Как бы мне хотелось, чтобы он не оказался трусом.

Опасения эти скоро исчезли. Кудряш подошел прямо к нему. Светло-голубые глаза его сверкали.

— Ну, теперь я чист, — сказал он многозначительно. — Может быть, вы и поговорите со мной. Вы думаете, что это вам пикник? Вы, чурбаны, думаете, что можете топтать человека, потому что знаете, что он не убежит? Ладно. Ну а насчет этого вы как думаете?

И Кудряш запечатлел увесистую пощечину левой щеке Ранзе. Темно-красным пятном выступил отпечаток его руки на загорелой коже.

Ранзе счастливо улыбнулся.

О последовавшей вслед за этим битве ковбои говорят и до сего дня.

Где-то во время своих скитаний по городам Кудряш научился искусству самозащиты. У скотовода же имелись только сила и стойкость идеально здорового человека и выносливость, воспитанная умеренной, без излишеств, жизнью.

Оба эти качества почти уравновешивали друг друга. Бой шел без всяких правил и без системы. Наконец мускулы здорового человека вышли победителями. Когда в последний раз Кудряш

свалился от одного из неуклюжих, но могучих ударов фермера, он остался лежать на траве, но все еще глядел на противника вызывающим взглядом.

Ранзе подошел к бочонку с водой и под краном смыл кровь из раны на подбородке.

Лицо его удовлетворенно ухмылялось.

Немало пользы извлекли бы для себя воспитатели и моралисты, если бы знали детали той исправительной системы, которой Ранзе подверг своего приемыша в течение проведенного им в Сан-Габриельском лагере месяца. У фермера не имелось никаких сложных теорий, и весь запас его педагогических познаний заключался, пожалуй, только в умении объезжать лошадей да вере в наследственность.

Ковбои видели, что их хозяин пытается сделать человека из того странного животного, которое он им послал, и потому, по молчаливому соглашению, образовали корпорацию ассистентов. Но действовали они при этом по своей собственной системе.

Первый урок прошел для Кудряша не даром. С мылом и водой у него установились сперва дружеские, а потом даже интимные отношения. Ранзе больше всего нравилось то, что «субъект»

его при каждом следующем шаге вверх прочно удерживал приобретенное. Неприятно было лишь то, что шаги эти иногда отстояли довольно далеко один от другого.

Однажды Кудряш отыскал кварту виски, хранившуюся как священная реликвия в палатке с провизией на случай укушения гремучей змеи, и провалялся целых шестнадцать часов на траве пьяный до великолепия. Но когда он кое-как встал на ноги, первым делом разыскал свое мыло и полотенце и направился к пруду. Другой раз, когда с ранчо прислали гостинцы в виде свежих томатов и молодых луковиц, Кудряш пожрал всю посылку, прежде чем ковбои приехали к ужину. Тут ковбои наказали его по-своему. Три дня они не говорили с ним, ограничиваясь лишь ответами на его вопросы и замечания. При этом они все время выдерживали безукоризненно вежливый тон. Друг над другом они выкидывали всевозможные шутки; друг друга они угощали здоровыми добродушными тумаками; друг друга они осыпали дружескими ругательствами и язвительными словечками; но с Кудряшом они были вежливы. Он это замечал, и это больно кололо его, как и ожидал Ранзе.

Как-то ночью подул холодный, серый, север-

ный ветер. Вильсон, самый младший из всей партии, уже два дня как лежал в лагере больной лихорадкой. Когда на рассвете Джо встал, чтобы идти завтракать, он увидел, что Кудряш сидит и спит, прислонившись к колесу фургона. Он был прикрыт только потником — его собственные одеяла накрывали Вильсона, чтобы защитить того от дождя и ветра.

Три ночи спустя случилось вот что. Кудряш завернулся в одеяло и заснул. Увидев это, прочие ковбои тихо поднялись и начали приготовления. Ранзе заметил, как Верзила Коллинз привязал веревку к луке седла. Остальные доставали револьверы.

— Большое спасибо, ребята, — сказал Ранзе. — Я надеялся, что вы это сделаете. Я только не хотел вас просить.

Разом затрещало полдюжины револьверов, дикие крики прорезали воздух, и Верзила Коллинз бешеным галопом пронесся над постелью Кудряша, волоча за собой седло. Это был их способ нежно разбудить свою жертву. Затем они целый час старательно дурачили его, согласно кодексу лагерей. Всякий раз как он пытался протестовать, они клали его на кипу одеял и с сострадательным видом дубасили парой кожаных гамаш.

Все это обозначало, что Кудряш заслужил себе шпоры и что теперь он принимал посвящение в ковбои. Отныне вежливости пришел конец. Но зато он становился их «партнером» и неразлучным собратом по стремени.

Когда дурачества были кончены, все участники бросились к стоявшему у огня большому кофейнику Джо, чтобы угоститься яванским кофе. Ранзе внимательно следил за новоиспеченным рыцарем, спрашивая себя, понял ли тот церемонию и достоин ли ее. Кудряш с чашкой кофе в руках отошел, хромая, к чурбану и уселся там. Верзила Коллинз направился вслед за ним и сел по одну сторону. Подошел Козел Рабб и сел по другую. Кудряш ухмылялся.

А затем Ранзе дал Кудряшу сбрую, седло и экипировку и вручил его Раббу для окончательной отделки.

Через три недели Ранзе приехал с ранчо в лагерь Рабба, находившийся тогда в Змеиной долине. Парни седлали лошадей для дневного объезда. Ранзе разыскал Верзилу Коллинза.

— Ну, как дела с тем жеребцом? — спросил он.

Верзила Коллинз осклабился.

— Протяните только руку, Ранзе Трусдэлль, и вы его достанете, — сказал он. — И вы можете по-

жать ему руку, если хотите, потому что он теперь отмыт дочиста и ни в каком лагере не найдешь лучше него.

Ранзе опять взглянул на чистого, бронзового от загара, улыбающегося ковбоя, стоявшего рядом с Коллинзом. Неужели это Кудряш? Он протянул руку, и Кудряш сжал ее крепкими руками настоящего объездчика лошадей.

— Вы мне необходимы на ранчо, — сказал Ранзе.

— Ладно, малый, — сердечно отвечал Кудряш. — Но я хочу приехать обратно. Право, это франтовская ферма. А гоняться за коровами вместе с этой компанией ребят — нет лучше штуки на свете. Веселый они народ!

У дома Сибольского ранчо они слезли с лошадей. Ранзе велел Кудряшу подождать у дверей жилой комнаты, а сам вошел внутрь. Старый Киова Трусдэлль сидел у стола и читал.

— Доброе утро, мистер Трусдэлль, — сказал Ранзе.

Старик быстро обернулся.

— Что такое? — начал он. — Отчего ты зовешь меня «мистер»?

Взглянув в лицо Ранзе, он оборвал фразу, и рука его, державшая газету, слегка вздрогнула.

— Мальчик, — сказал он. — Как ты это узнал?

— Ничего, ничего, — сказал Ранзе с улыбкой. — Я велел тетке Хуане рассказать мне все. Произошло это случайно, но теперь все уладилось.

— Ты был мне вместо сына, — сказал старый Киова, дрожа.

— Тетка Хуана сказала мне все, — продолжал Ранзе. — Она рассказала мне, как вы взяли меня, когда я едва достигал ростом колена взрослого, от ехавших на Запад золотоискателей. И она сказала мне, как пропал или был украден ваш ребенок, — собственный ваш ребенок. И еще она сказала, что в этот же самый день прохожие рабочие, стригшие овец, уехали с ранчо.

— Наш мальчик потерялся, когда ему было два года, — сказал старик. — А потом приехали в фургоне эмигранты с мальчонкой, от которого они хотели отделаться. Мы тебя и взяли. Я не хотел, чтобы ты когда-нибудь узнал об этом, Ранзе. Мы ведь никогда больше не слышали о нашем мальчике.

— Он ждет снаружи, если только не ошибаюсь, — сказал Ранзе, отворяя дверь и делая знак Кудряшу.

Кудряш вошел в комнату.

Сомнений не возникало. У старика и у юноши

были одинаковые вьющиеся волосы, нос, подбородок и светло-голубые глаза навыкате.

Старик Киова в волнении поднялся с места.

Кудряш с любопытством оглядывался кругом. В лице его промелькнуло выражение смущения. Он указал пальцем на противоположную стену.

— Где же «тик-так»? — как бы в рассеянности спросил он.

— Это он про часы, — громко воскликнул старый Киова. — Там обыкновенно стояли большие часы. Но как…

Он обернулся к Ранзе, но Ранзе уже не было в комнате. Ваминос, добрый пегий с крапинами конь, находился уже за сто ярдов и с быстротой скаковой лошади нес хозяина к востоку, по пыли и зарослям, к ранчо Де-Лос-Ольмос.

Степной принц[84]

Пробило наконец девять часов, и тяжелая дневная работа была кончена. Лена забралась к себе в комнату на третьем этаже отеля каменщиков. С самого рассвета работала она как каторжная, выполняя в этом беспокойном и тоскливом отеле труд взрослой женщины: скребла полы, мыла тяжелые фаянсовые тарелки и чашки, стлала постели и удовлетворяла ненасытный спрос на воду и дрова.

Оглушающий шум каменоломни прекратился: не слышно было ни взрывов динамита, ни сверления, ни скрипа огромных лебедок, ни криков мастеров, ни движущихся туда и сюда тачек-платформ с тяжелыми плитами известняка. Внизу, в передней отеля, трое или четверо рабочих ворчали и ругались над затянувшейся партией в шашки. Дом окутало, словно туманом, тяжелыми запахами тушеного мяса, горячего сала и дешевого кофе.

Лена зажгла огарок свечи и неловко уселась

---

[84] Примечания: 84

Текст с незначительной правкой печатается по: *О. Генри.* Сердце Запада: Рассказы. Пг.: Скл. изд. «Якорь», 1915.

на деревянный стул. Ей недавно сравнялось одиннадцать лет. Выглядела она худой и недокормленной. Ее натруженная спина, руки и ноги сильно болели. Но хуже всего была боль в сердце. К ноше, взваленной на ее маленькие плечи, прибавили последнюю соломинку — у нее забрали Гриммов[85]. Несмотря на усталость, всегда по ночам обращалась она к Гриммам за утешением и надеждой. И каждый раз Гриммы шептали ей, что придет принц или фея и освободит ее от чар злого волшебства. Каждую ночь давали ей Гриммы свежий запас сил и мужества.

Какую бы сказку она ни читала, она находила в ней аналогию собственному положению. Заблудившийся ребенок дровосека, несчастная пастушка гусей, нелюбимая падчерица, маленькая девушка, запертая в избушке ведьмы, — все это были прозрачные намеки на Лену, на переутомленную кухонную девочку отеля каменщиков. И всегда случалось так, что, когда наступала самая неминучая беда, на выручку являлась добрая фея или прекрасный принц.

И вот, в этом замке людоеда, порабощенная злыми чарами, Лена искала опоры у Гриммов и

---

[85] Примечания: 85
Имеются в виду сказки братьев Гримм.

страстно ждала той минуты, когда добрые силы наконец восторжествуют. Но накануне миссис Мэлони нашла у нее в комнате книжку и унесла ее, строго заметив, что служанкам читать по ночам не полагается: они теряют от этого сон и на следующий день плохо работают. Но если насчитываешь одиннадцать лет от роду, живешь далеко от дома и не имеешь ни минуты свободной, чтобы поиграть, можно ли тут обойтись совсем без Гриммов? Попробуйте это хоть раз, и вы увидите, насколько это трудная штука.

Лена была родом из Техаса, из маленького городка Фредериксбург, затерянного среди маленьких гор на реке Педерналес. Жители Фредериксбурга все немцы. По вечерам они сидят за маленькими столиками, поставленными у самых тротуаров, и играют в пинокль и скат[86]. И все они очень экономны.

Но самым экономным из всех был отец Лены, Питер Гильдесмюллер. Поэтому-то Лену и отправили на работу в отель у каменоломен, за целых тридцать миль. Каждую неделю она получала там по три доллара, и Питер присовокуплял ее жалованье к своему тщательно сберегаемому

---

[86] Примечания: 86

Пинокль, скат — карточные игры.

капиталу. Питеру хотелось стать таким же богатым, как его сосед, Гуго Геффельбауэр, который курил пенковую трубку в три фута длиной и каждый день недели кушал за обедом венский шницель и зайца с перцем. А теперь Лена была уже в таком возрасте, что могла работать и помогать семье в накоплении богатств. Но представьте себе, если можете, что это значит, когда одиннадцати лет вас берут из родного дома в хорошенькой маленькой рейнской деревушке и приговаривают к каторжным работам в замке людоеда, где приходится бегать со всех ног, чтобы служить людоедам, пожирающим рогатый скот и овец, свирепо ворчащим и отряхивающим белую известняковую пыль со своих сапожищ, которую вы должны подметать и отскребать своими слабыми, ноющими руками. И представьте, что вдобавок ко всему этому у вас еще отняли Гриммов!

Лена приподняла крышку старого пустого ящика, в котором когда-то хранилась кукурузная мука, и достала листок бумаги и кусочек карандаша. Она собиралась писать письмо маме. Томми Райян должен был сдать его на почту у Баллингера. Томми исполнилось семнадцать; он работал на каменоломнях, каждую ночь хо-

дил в отель Баллингера, где он квартировал, и дожидался теперь под окнами Лены, скрытый густыми тенями, чтобы она бросила ему письмо. Это был единственный способ послать письмо во Фредериксбург. Миссис Мэлони не любила, когда Лена писала письма.

Огарок свечи уже догорал; Лена поспешно обкусала дерево вокруг графитного стержня карандаша и начала писать. Вот письмо, которое она написала:

«Милая мама, мне так хочется повидать тебя. А также Гретель, Клауса, Генриха и маленького Адольфа. Я очень устала. Мне хочется тебя видеть. Сегодня миссис Мэлони отдула меня по щекам и не дала ужина. Это оттого, что я не могла принести сколько надо дров, потому что болела рука. Вчера она отняла мою книжку, «Волшебные сказки Гриммов», которую мне подарил дядя Лео. А это ведь никому не мешало, если я ее читала. Я стараюсь работать как могу, но уж очень много работы. Каждую ночь я читаю совсем понемножку. Милая мама, вот что я тебе скажу. Если вы завтра не пошлете за мной, чтобы взять меня домой, я пойду к омуту на реке и утоплюсь. Топиться нехорошо, я знаю, но мне хочется тебя повидать, а никого другого тут нет. Я очень уста-

ла, и Томми дожидается письма. Прости меня, если я это сделаю.

Твоя почтительная и любящая дочь *Лена*».

Томми добросовестно ждал, пока не будет кончено письмо, и, когда Лена выбросила его из окна, она видела, как он подобрал его и пустился вверх по крутому склону. Не раздеваясь, она задула огонь и свернулась калачиком на разостланном на полу матрасе.

В половине одиннадцатого старик Баллингер вышел из дома в одних чулках и, покуривая трубку, прислонился к калитке. Он посмотрел на большую дорогу, всю белую при лунном свете, и почесал щиколотку одной ноги большим пальцем другой. Уже пора было приехать фредериксбургской почте.

Старик Баллингер ждал недолго; через несколько минут он услышал резвый топот копыт маленьких черных мулов, ходивших в запряжке у Фрица, а еще через минуту рессорный, крытый брезентом фургон уже остановился перед калиткой. В лунном свете сверкнули огромные очки Фрица, и громовой его голос рявкнул приветствие почтмейстеру баллингеровского отеля. Почтальон соскочил на землю и разнуздал мулов: у Баллингера он всегда давал им овса.

Пока мулы кормились из своих торб, Баллингер вынес мешок с почтой и бросил его в фургон.

У Фрица Бергмана имелось три привязанности — или, лучше сказать, четыре, потому что каждого из пары его мулов приходилось считать индивидуально. Мулы эти были главным интересом и радостью его существования. Следующее за ними место занимал германский император и, наконец, Лена Гильдесмюллер.

— Не знаете ли, — сказал Фриц, когда уж он приготовился уезжать, — нет ли в мешке письма фрау Гильдесмюллер от маленькой Лены, что в каменоломнях? В последнем письме она писала, что уж начала прихварывать. Мать ее беспокоится и ждет другого письма.

— Да, — сказал старик Баллингер, — есть письмо для фрау Гельтерспельтер или для кого-то вроде этого. Его принес с собой Томми Райян. Вы говорите, что там работает ее дочка?

— В отеле, — проревел Фриц, подбирая вожжи. — Ей всего одиннадцать лет, а ростом не больше франкфуртской сосиски. И скряга же этот Питер Гильдесмюллер! Когда-нибудь я отделаю дубиной его дурацкую башку — так при всем народе и отделаю. Может быть, теперь Лена пишет, что ей лучше. Порадуется тогда ее маменька! Auf

Wiedersehen[87], герр Баллингер! Смотрите, как бы не застудить ноги на холоду.

— До свиданья, Фриц, — сказал старик Баллингер. — Вам будет хорошо ехать — ночь свеженькая…

Маленькие черные мулы пустились спокойной рысью вверх по дороге. Временами слышно было, как Фриц своим громовым голосом посылает по их адресу слова ободрения и нежности.

Все эти мысли занимали голову почтаря, пока он не доехал до большого дубового леса, в восьми милях от баллингеровского отеля. Здесь размышления его были прерваны и рассеяны внезапным треском и блеском выстрелов и громкими криками, испускаемыми, казалось, целым племенем индейцев. Шайка несущихся галопом кентавров окружила почтовый фургон. Один из них наклонился над передним колесом, нацелился револьвером прямо в лицо кучеру и приказал ему остановиться. Остальные схватили за поводья Дондера и Блитцена.

— Donnerwetter![88] — заорал Фриц во всю мочь

---

[87] Примечания: 87
До свидания (*нем.*).

[88] Примечания: 88
Черт возьми! (*нем.*)

своего оглушающего голоса. — Was ist das?[89] Снимите руки с этих мулов! Мы есть почта Соединенных Штатов.

— Поворачивайся, немец! — протянул чей-то меланхолический голос. — Разве ты не видишь, что увяз? Поверни мулов, и марш из повозки!

Чтобы отдать должную справедливость великим дерзаниям Гондо Билля и широкому размаху его предприятий, следует сказать, что ограбление фредериксбургской почты не представляло в его глазах какого-либо подвига. Подобно тому, как лев, преследуя соответствующую его силе добычу, иногда легкомысленно давит лапой подвернувшегося на дороге кролика, так и Гондо Билль со своей шайкой исключительно шутки ради набросились на мирный транспорт герра Фрица.

Настоящая работа, связанная с их зловещим ночным путешествием, осталась позади. Фриц с его почтовым мешком и мулами явились лишь невинным развлечением, приятно разнообразящим тяжелые профессиональные обязанности. В двадцати милях к юго-востоку стоял в это время поезд с испорченным паровозом, истеричными пассажирами и опустошенным почтовым

---

[89] Примечания: 89
Что это? (*нем.*)

вагоном. Вот что представлялось настоящей серьезной работой для Гондо Билля и его банды. Захватив довольно богатую добычу бумажками и серебром, разбойники совершали теперь далекий крюк на запад, чтобы проехать менее населенными местами и, перебравшись через какой-нибудь брод по Рио-Гранде, обрести безопасность в Мексике. Награбленная в поезде пожива смягчила сердца головорезов и превратила их в веселых и счастливых шутников.

Весь дрожа от чувства оскорбленного достоинства и от страха за собственную особу, Фриц надел спавшие с носа очки и слез на дорогу. Грабители сошли с лошадей и пели, дурачились и выли, выражая таким образом свое удовлетворение и наслаждение жизнью веселого изгоя. Роджерс Гремучая Змея, стоявший у самых морд мулов, слишком сильно рванул за поводья чувствительного Дондера. Тот встал на дыбы и громко, протестующе зафыркал от боли. В ту же минуту Фриц, взвизгнув от гнева, бросился на массивного Роджерса и начал прилежно колотить кулаками изумленного разбойника.

— Негодяй, — кричал Фриц, — собака, чурбан! У этой мула есть боль во рту. Я вашей головой отобью ваши плечи… Разбойники!

— Йи! — завыл Гремучая Змея, сотрясаясь от хохота и увертываясь от ударов. — Кто это напустил на меня эту кислую капусту!

Один из членов шайки за полу отдернул Фрица назад, и лес огласился громогласными похвалами Гремучей Змеи.

— Ах ты, брошенная собаками венская сосиска! — заорал он дружески. — Для немца он, ей-богу, не очень трусоват. За своих животных вступился мигом, право… Мне нравится, когда человек любит свою лошадь, даже если это простой мул. Проклятый лимбургский сыр так и напустился на меня! Ну, мой мулик, я больше не буду.

Возможно, с почтой совсем не стали бы возиться, если бы Бен Угрюмый, лейтенант банды, не имел особых соображений, позволявших ему надеяться заполучить здесь еще кое-что.

— Слушай, Кэп, — сказал он, обращаясь к Гондо Биллю, — в этих почтовых мешках наверняка есть пожива. Я когда-то торговал лошадьми с этими фредериксбургскими немцами и знаю, какая повадка у этой швали. В этот город идут иногда по почте большие деньги. Эти немцы готовы лучше рискнуть тысячью долларов, послав их завернутыми в бумагу, чем заплатить банкам за перевод.

Прежде чем Угрюмый кончил свою речь, Гондо Билль, шести футов двух вершков ростом, обладавший нежным голосом и стремительный в действии, вытаскивал уже мешки из задка фургона. В руке его сверкнул нож, и слышно было, как он с треском прокусывал жесткий брезент. Разбойники столпились вокруг и начали разрывать конверты и пакеты, оживляя свои труды мирными ругательствами по адресу отправителей, точно сговорившихся опровергнуть предсказание Бена Угрюмого. В фридериксбургской почте не оказалось ни единого доллара.

— Стыдились бы вы, — торжественным тоном сказал Гондо Билль почтарю, — таскать такую массу старой, негодной бумаги! Но что это, однако, значит? Где вы, немцы, держите деньги?

Словно кокон, раскрылся под ножом Гондо Билля почтовый мешок, полученный от Баллингера. В нем лежала какая-нибудь горсть писем, не больше. Пока не принялись за этот мешок, Фриц был вне себя от ужаса и возбуждения. Но теперь он вспомнил о письме Лены. Он обратился к предводителю шайки и попросил, чтобы пощадили это послание.

— Спасибо, немец, — сказал тот опечаленному почтарю. — Значит, как раз это и есть такое пись-

мо, какое нам надо. Небось в нем желтенькие лежат, а? Вот оно. Ну-ка, дайте свету, ребята!

Гондо нашел письмо, адресованное миссис Гильдесмюллер, и вскрыл его. Остальные стояли вокруг и светили, зажигая одно за другим скрученные жгутами письма. Гондо с немым неодобрением глядел на один-единственный лист бумаги, покрытый угловатыми немецкими письменами.

— Чем это вы вздумали нас дурачить, немчура? Вы это называете важным письмом? Скверно играть такие низкие шутки над вашими друзьями, которые помогают вам распределять почту.

— Это по-китайски, — сказал Сэнди Грэнди, выглядывая из-за плеча Гондо.

— Ты, видно, рехнулся, — объявил другой член шайки, бойкий юноша, разукрашенный шелковыми платками и никелевыми цепочками. — Это стенография. Я видел как-то раз в суде эту штуку.

— Ах нет, нет, это — по-немецки, — сказал Фриц. — Это только одна маленькая девочка, которая пишет письмо своей маме. Одна маленькая девочка, больная, крепко работает, далеко от дому. Ах, это вам стыдно! Любезный мистер, вы позволите мне взять это письмо?

— За кого вы нас принимаете, старик? — ска-

зал Гондо, внезапно преисполняясь суровостью. — Вы, надеюсь, не хотите сказать, что мы недостаточно вежливы, чтобы интересоваться здоровьем мисс? Ну, живей принимайтесь за письмо и на простом языке Соединенных Штатов прочтите вслух эти каракули этой вот компании образованного общества!

Гондо щелкнул предохранителем револьвера и нагнулся над маленьким немцем, который сразу же начал читать письмо, переводя его немудреные слова на английский.

Вся шайка стояла молча и внимательно слушала.

— Сколько лет ребенку? — спросил Гондо, когда чтение было кончено.

— Одиннадцать, — сказал Фриц.

— А где она живет?

— Работает в отеле у каменоломен. Ах, mein Gott![90] Маленькая Лена говорит, что будет топиться. Не знаю, сделает ли она это, но если сделает, я клянусь, что буду стрелять этого Питера Гильдесмюллера из ружья.

— Мне прямо противны вы, немцы, — сказал Гондо Билль, и голос его преисполнился тонкого

---

[90] Примечания: 90
Мой Бог! (*нем.*)

презрения. — Отправляете на работу ребят, когда бы им надо было играть на песке в куклы. Вы не народ, а какая-то чертова секта. Придется нам немножко поправить ваши часы, чтобы показать, что мы думаем о вашей старой сырной нации. Марш сюда, ребята!

Гондо Билль минуту посовещался в сторонке со своей бандой, а затем Фрица схватили и отвели в сторону от дороги. Здесь его крепко привязали парой арканов к дереву. Мулов привязали к другому дереву, неподалеку.

— Мы вам ничего не сделаем, — успокоил его Гондо. — С вами ничего не приключится дурного, если вы немножко постоите привязанным к дереву. Теперь мы с вами распростимся, ибо нам время уезжать. Аусгешпильт, никс ком раус[91], немчура. Не будьте слишком нетерпеливы.

Фриц услышал громкий скрип седел: разбойники садились на лошадей. Затем раздался оглушительный вой и громкий топот копыт, и всадники галопом понеслись назад по фредериксбургской дороге.

Больше двух часов сидел Фриц у дерева, связанный крепко, но не больно. Затем, усталый от

---

[91] Примечания: 91

Сыграно, и ничего не выходит (*искаж. нем.*).

своих удивительных приключений, он погрузился в дремоту. Сколько времени он проспал, он не знал; проснулся он, когда его кто-то грубо встряхнул за плечо. Чьи-то руки развязывали веревки. Наконец его поставили на ноги — оглушенного, смущенного духом и усталого телом. Он протер глаза, огляделся и увидел себя среди той же самой шайки страшных разбойников. Они пихнули его к сиденью фургона и вложили в руки вожжи.

— Валяйте домой, немчура! — произнес повелительно Гондо Билль. — Вы задали нам массу хлопот, и мы будем рады, когда вы повернетесь к нам затылком. Шпиль! Цвей бир! Живее!

Гондо вытянул руку и угостил Блитцена сильным ударом кнута.

Маленькие мулы так и ринулись вперед, с радостью почуя, что можно опять пуститься в путь. Фриц подгонял их, растерянный и сбитый с толку своим страшным приключением.

По расписанию он должен был бы доехать до Фредериксбурга к рассвету. При данных же обстоятельствах он проехал по длинной улице городка в одиннадцать часов утра. По дороге к почтовой конторе приходилось проезжать мимо дома Питера Гильдесмюллера. Он остановил мулов у калитки и крикнул. Но фрау Гильдесмюллер

уже дожидалась его, и вместе с ней вся семья Гильдесмюллер ринулась на улицу.

Фрау Гильдесмюллер, толстая и красная, спросила, нет ли письма от Лены, и тогда возвысил голос Фриц и рассказал повесть о случившихся событиях. Он рассказал содержание письма, которое заставил его прочесть бандит, и фрау Гильдесмюллер разразилась неутешным плачем. Ее маленькая Лена вздумала топиться! Зачем они отослали ее из дому? Что можно теперь сделать? Возможно, если они сейчас и пошлют за ней, будет уже слишком поздно... Питер Гильдесмюллер уронил пенковую трубку на тротуар, и она разбилась вдребезги.

— Женщина, — заревел он на жену, — зачем ты пустила ребенка? Это ты виновата, если мы ее больше не увидим.

Все знали, что виноват был Питер Гильдесмюллер, и потому не обратили никакого внимания на его слова.

Минуту спустя послышался странный, слабый голос: «Мама!» Фрау Гильдесмюллер сначала подумала, что это дух Лены зовет ее, а затем ринулась к задку крытого фургона и с громким криком радости подхватила оттуда Лену, осыпая поцелуями ее маленькое бледное личико и чуть

не душа ее в объятиях. Глаза Лены смыкались от сна и утомления, но она улыбалась и прижималась к той, кого так хотела видеть.

Все время путешествия она спала между почтовых мешков, уложенная в гнездо из странного вида одеял и шарфов.

Фриц тупо глядел на нее, и глаза его, казалось, вылезали из-за очков.

— Gott in Himmel![92] — заорал он. — Как ты попала в этот фургон? Неужели мне сегодня придется еще сойти с ума, кроме того чтобы быть убитым и повешенным разбойниками?

— Вы привезли ее нам, Фриц, — воскликнула фрау Гильдесмюллер. — Как нам отблагодарить вас? Скажи же маме, как ты попала в фургон к Фрицу! — обратилась она к Лене.

— Я не знаю, — отвечала Лена. — Но я знаю, как я выбралась из отеля. Меня привез оттуда Принц.

— Клянусь короной императора, — воскликнул Фриц, — все мы сходим с ума!

— Я всегда знала, что он придет, — сказала Лена, садясь на свой узел с платьем, брошенный на тротуар. — Вчера ночью он приехал со своими

---

[92] Примечания: 92
Боже милосердный! (*нем.*)

вооруженными рыцарями и взял штурмом замок людоеда. Они переломали тарелки и сбили двери. Мистера Мэлони они швырнули в бочонок с дождевой водой, а миссис Мэлони всю обсыпали мукой. Рабочие, которые спали в отеле, выскочили из окон и убежали в лес, когда рыцари начали стрелять из ружей. Я проснулась и поглядела на лестницу. А затем ко мне подошел Принц, завернул в простыню и одеяла и вынес на улицу. Он такой высокий, сильный и красивый… Лицо его было такое же шершавое, как половая щетка, а говорил он тихо и нежно и пахнул шнапсом. Он посадил меня на лошадь, прямо перед собой, и мы поехали, а кругом нас ехали рыцари. Он крепко держал меня на руках, и я так и заснула и не просыпалась, пока не приехала домой.

— Чепуха, — воскликнул Фриц Бергман. — Сказки! Как ты попала с каменоломен ко мне в фургон?

— Принц меня привез, — повторила таинственно Лена.

И до сего дня добрым гражданам Фредериксбурга так и не удалось выудить у нее какое-либо другое объяснение.

Граф и свадебный гость

Однажды вечером, когда Энди Донован спустился к ужину, миссис Скотт, хозяйка пансиона на Второй авеню, у которой он жил, представила его новой жиличке, молодой барышне по имени мисс Конвей. Небольшого росточка, в простом платьице табачного цвета, она тихо и скромно сидела за столом, глядя исключительно к себе в тарелку. В ответ на обращение хозяйки она застенчиво подняла глаза, бросила на мистера Донована один проницательный, критический взгляд, вежливо повторила его фамилию и снова занялась своей бараниной. Мистер Донован поклонился с изяществом и сердечной улыбкой, которые быстро завоевывали ему успех в обществе, бизнесе и политике, и вычеркнул фигурку в табачном платьице из списка лиц, заслуживающих внимания.

Две недели спустя Энди как-то под вечер сидел на крыльце и с удовольствием покуривал сигару. Вдруг позади него послышался тихий шелест, Энди повернул голову — и голова у него пошла кругом.

На крыльцо вышла мисс Конвей. Она была в черном, как ночь, платье из креп… крепде… чего-то там такого, словом, из такой черной шелковой материи. И шляпка на ней тоже была угольно-черная, а спереди колыхалась вуаль, похожая на черную паутинку. Остановившись на верхней ступеньке, мисс Конвей натягивала на пальцы черные шелковые перчатки. Ни белого проблеска, ни цветного пятнышка во всем наряде. Густые золотистые волосы гладко стянуты назад и свернуты низко на затылке в блестящий узел. Лицо у нее было так себе, ничего особенного, но сейчас, освещенное большими серыми глазами, устремленными в небо над крышами с жалостным выражением тоски и печали, оно казалось почти прекрасным.

Возьмите на заметку, девицы: все черное, с ног до головы, предпочтительно из этого… как его… крепде… ну да, из крепдешина, вот как это называется. Все черное, и грустный взгляд в пространство, и чтоб волосы просвечивали золотом сквозь черную вуаль (надо, разумеется, быть блондинкой); и постарайтесь принять такой вид, будто ваша молодая жизнь была погублена в тот самый миг, когда вы замерли в радостном предвкушении на пороге счастья, но все-таки

небольшая прогулка в парке принесла бы вам некоторое утешение, да, и обязательно подгадайте так, чтобы появиться в подходящий момент, — и они у ваших ног, гарантированно. Ужас как бессердечно с моей стороны — не правда ли? — в таком тоне рассуждать о трауре.

Мистер Донован сразу же восстановил мисс Конвей в списке лиц, достойных внимания. Отшвырнув недокуренный конец сигары в целый дюйм с четвертью длиной — хватило бы еще на добрых восемь минут, — он поспешил переместить свой центр тяжести в область лакированных штиблет.

— Вечер будет такой погожий и ясный, мисс Конвей, — проговорил он, и если бы в бюро погоды услышали, с какой убежденностью это было сказано, они бы вывесили квадратный белый вымпел и навсегда приколотили его к мачте.

— Да, для тех, чье сердце способно радоваться, мистер Донован, — со вздохом отозвалась мисс Конвей.

Мистер Донован про себя обругал погожий и ясный вечер. Черт бы драл эту хорошую погоду! Тут нужен дождь, и град, и снежный буран, чтобы создать гармонию с настроением мисс Конвей.

— Я надеюсь, никто из ваших родственников…

Я надеюсь, вы не понесли тяжелой утраты? — рискнул осведомиться мистер Донован.

— Смерть отняла у меня, — неуверенно проговорила мисс Конвей, — не родственника, но того, кто… впрочем, зачем я буду докучать вам своим горем?

— Докучать? — горячо возразил мистер Донован. — Да что вы, мисс Конвей! Я от души рад… то есть я от души огорчен… то есть никто на свете не мог бы так сочувствовать вам, как я вам сочувствую. От всей души!

Мисс Конвей чуть-чуть улыбнулась, но это была такая грустная улыбка!

— «Смейся, и люди будут смеяться вместе с тобой; плачь, и они будут смеяться над тобой»[93], — процитировала мисс Конвей. — Это я усвоила, мистер Донован. У меня в этом городе нет ни родных, ни друзей. Но вы были ко мне добры. Я ценю это.

Он два раза передавал ей перечницу за столом.

— Одиночество в Нью-Йорке — тяжелая штука, это точно, — сказал он. — Но знаете, если достучишься до сердца этого старого городишки, он оказывается сама доброта. А не пройтись ли

---

[93] Примечания: 93

Строки из стихотворения «Одиночество» *Э. Уилкокс* (1850–1919).

вам немного по парку, мисс Конвей, возможно, это немного развеет вашу печаль? И позвольте мне…

— Благодарю вас, мистер Донован, я с удовольствием приму ваше приглашение, если вы уверены, что общество той, в чьей душе мрак, не будет вам в тягость.

Они вошли в открытые железные ворота старого городского парка, где некогда прогуливалось избранное общество, побродили по дорожкам и нашли уединенную скамейку.

Старость и молодость по-разному переживают горе. Груз, гнетущий молодое сердце, становится легче ровно на столько, сколько его передается сочувствующему; в старости же делись не делись, боль не утихает.

— …Он был моим женихом, — доверилась Донована мисс Конвей на исходе первого часа. — Мы должны были пожениться весной. Не подумайте, что я вам басни рассказываю, мистер Донован, но он был настоящий граф. У него поместье и замок в Италии. Граф Фернандо Мадзини, так его звали. По части элегантности ему на всем свете не было равных. Папенька, конечно, воспротивился, и мы решили бежать, но папенька проведал, догнал нас и вернул обратно. Я уж думала, папенька и

Фернандо будут драться на дуэли. У папеньки конюшня, прокат лошадей, в Покипси, знаете такой город? В конце концов мы папеньку все-таки уломали, он согласился весной сыграть свадьбу. Фернандо предъявил бумаги, подтверждающие его титул и богатство, и отправился в Италию подготовить все в замке к нашему приезду. Папенька, он такой гордый… когда Фернандо хотел дать мне несколько тысяч на приданое, он так рассвирепел, просто ужас. Не позволил мне даже взять кольцо, и вообще никаких подарков. Когда Фернандо уплыл в Европу, я переехала в Нью-Йорк и поступила кассиршей в кондитерский магазин.

А три дня назад я получаю письмо, пересланное из Покипси, что Фернандо погиб в катастрофе на своей гондоле.

Вот почему я в трауре. Мое сердце, мистер Донован, навсегда останется с ним в его могиле. Я понимаю, вам со мной скучно, мистер Донован, но меня теперь никто не интересует. Я не должна отвлекать вас от развлечений и от друзей, которые способны смеяться и веселить вас. Вы не хотите вернуться домой?

Запомните, девушки, если вы хотите, чтобы парень сейчас же взялся за кайло и лопату и бро-

сился рыть землю, скажите ему, что ваше сердце находится в могиле у кого-то другого. Мужчины по природе своей грабители могил. Спросите у любой вдовы. Еще бы, надо же возвратить этот орган плачущему ангелу в крепдешине. А страдающая сторона, как ни посмотри, — опять же покойник.

— Я вам сочувствую всем сердцем, — нежно проговорил Донован. — Нет, мы сейчас еще не пойдем домой. И не говорите, пожалуйста, мисс Конвей, что у вас в этом городе нет друзей. Мне вас ужас как жаль, и прошу вас поверить, что я ваш друг и сочувствую вам всем сердцем.

— У меня при себе его портрет, вот в этом медальоне, — сказала мисс Конвей, утерев платочком слезы. — Я никому не показывала, но вам, мистер Донован, покажу, я верю, что вы настоящий друг.

Мистер Донован долго и с большим интересом разглядывал фотографию в медальоне, который мисс Конвей для него раскрыла. Лицо у графа Маджини и вправду было примечательное — гладкое, умное, живое и, можно даже сказать, красивое, — лицо сильного, мужественного человека, рожденного, может быть, вести за собой других.

— У меня еще одна есть, побольше и в рамочке,

стоит в моей комнате, — сказала мисс Конвей. — Вернемся, я вам покажу. Это все, что у меня сохранилось на память о Фернандо. Но он навсегда останется в моем сердце, это точно.

Перед мистером Донованом встала сложная задача — вытеснить злосчастного графа из сердца мисс Конвей. Этого требовали чувства, которые она ему внушила. Впрочем, величина задачи не смущала мистера Донована. Он взял на себя роль сочувствующего, но жизнерадостного друга и исполнил ее так успешно, что по прошествии получаса они уже задушевно беседовали над двумя вазочками с мороженым, хотя печаль в больших серых глазах мисс Конвей еще не пошла на убыль.

Вечером, перед тем как проститься, она сбегала наверх и принесла показать мистеру Доновану фотографию в рамке, заботливо закутанную в белый шелковый шарф.

Мистер Донован внимательно присмотрелся, но ничего не сказал.

— Он подарил мне этот портрет перед самым отплытием в Италию, — пояснила мисс Конвей. — А маленький, для медальона, я потом с него заказала.

— Видный парень, — вынужден был признать

мистер Донован. — Как бы вы отнеслись к тому, мисс Конвей, чтобы в будущее воскресенье составить мне компанию и съездить на Кони-Айленд?

Месяц спустя они объявили хозяйке пансиона и остальным жильцам о своей помолвке. Мисс Конвей продолжала носить траур.

Через неделю после помолвки парочка опять сидела в городском парке на той же исторической скамейке. Светила луна, и трепещущая листва бросала сверху на их лица бегучие тени. Но Донован весь день проходил угрюмый. Он так упорно безмолвствовал, что любящие уста не удержались и задали вопрос, подсказанный любящим сердцем:

— Что с тобой, Энди? Почему ты сегодня такой хмурый и недовольный?

— Да ничего, Мэгги. Так просто.

— Нет, не так просто. Разве я не вижу? Ты никогда раньше такой не был. Что-то случилось?

— Да ничего особенного, ерунда, Мэгги.

— Вовсе не ерунда. Я хочу знать. Наверно, ты думаешь о какой-то другой девушке. Ну и ладно, и уходи к ней. Убери, пожалуйста, руку.

— Тогда я лучше все тебе расскажу, — рассудил Энди. — Только боюсь, ты неправильно меня поймешь. Ты ведь знаешь, конечно, Майка Сал-

ливана? Большой Майк, так его все зовут.

— Нет, не знаю и знать не хочу, если ты из-за него так переменился. Кто он такой?

— Самый главный человек в Нью-Йорке, — чуть ли не благоговейно пояснил Энди. — Он всем заправляет в Демократической партии и вообще в политике. Большой человек! До неба ростом, шире, чем Ист-Ривер, поперек плеч. Попробуй сказать слово против Большого Майка, и тебе тут же вцепится в горло миллион человек. Например, он катался недавно на старую родину, так все короли попрятались от него, как кролики, по своим норам.

Ну так вот, Большой Майк — мой друг. Я-то не бог весть что за птица в нашем районе, но Майк — надежный друг, ему что бедняк, что маленький человек, что миллионер — никакой разницы. Сегодня я встретил его на Бауэри[94], и он — можешь себе представить? — подошел и пожал мне руку. «Энди, — говорит, — я за тобой наблюдаю, ты молодец, дела обделываешь толково. Я тобой горжусь. Что будешь пить?» Он закурил сигару, я взял коктейль. Рассказал ему, что через две недели у меня свадьба. А он мне: «Энди, пришли

---

[94] Примечания: 94

Бауэри — улица в Нью-Йорке.

мне приглашение, чтобы я не забыл, и я буду гостем на твоей свадьбе». Вот что сказал мне Большой Майк, а он такой человек — что сказал, то и сделает.

Ты не понимаешь, Мэгги, да я бы руку отдал на отсечение за то, чтобы увидеть Большого Майка Салливана на нашей свадьбе. Всю жизнь бы потом этим гордился. К кому он приходил на свадьбу, у того, считай, жизнь уже устроена раз и навсегда. Вот поэтому-то я сегодня такой мрачный.

— Отчего же тебе его не пригласить, если он такая важная персона? — пожала плечами Мэгги.

— Есть причина, по которой это невозможно, — сокрушенно ответил Энди. — Есть причина, по которой ему никак нельзя быть у нас на свадьбе. А какая, не спрашивай. Я не могу тебе сказать.

— Ну и пусть. Все эта ваша политика, конечно. Но разве стоит она того, чтобы ты перестал мне улыбаться?

— Мэгги, — помолчав, сказал Энди, — ты ко мне так же хорошо относишься, как к своему… этому… графу Мадзини?

Он долго ждал ответа, но Мэгги молчала. А потом вдруг уронила голову ему на плечо и расплакалась в три ручья, крепко держась за его

рукав, всхлипывая и увлажняя слезами свое траурное платье.

— Ну-ну, не надо, — стал успокаивать ее Энди, отложив свои переживания. — Ты что? Что случилось?

— Энди, — рыдая, ответила Мэгги, — я обманывала тебя, и теперь ты на мне не женишься и не будешь меня больше любить. Но все равно я должна тебе признаться. Энди, никакого графа никогда не существовало. У меня в жизни не было даже ни одного поклонника. А у других девушек у всех были. Они про них рассказывали, и от этого еще больше нравились мужчинам. А я, Энди, мне же очень к лицу черный цвет, правда ведь? Я пошла в фотомагазин, купила тот портрет и заказала с него маленькую копию для медальона. И сочинила всю эту историю про графа, который погиб, — чтобы у меня был повод носить траур. Теперь, Энди, за эту ложь ты меня разлюбишь и отвернешься от меня, и я умру от стыда. Но только никто никогда мне не нравился, кроме тебя. Вот и все.

Но вместо того чтобы оттолкнуть Мэгги, Энди только еще крепче ее обнял. Она подняла голову, заглянула ему в лицо и увидела, что он повеселел и улыбается.

— Ты… ты можешь меня простить, Энди?

— Ну конечно, — ответил Энди. — Все в порядке. На кладбище графа! Ты все уладила, Мэгги. Я так и надеялся, что ты соберешься с духом до свадьбы. Молодчина ты у меня.

— Энди, — сказала Мэгги с застенчивой улыбкой, когда убедилась, что полностью прощена, — а ты совсем-совсем поверил в этого графа?

— Да нет, немного не совсем, — ответил Энди, доставая портсигар. — Дело в том, что у тебя в том медальоне портрет Большого Майка Салливана.

Теория и практика

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путах проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распускающейся Мэдисон-сквер.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет первозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоминали что-то смутно знакомое тем, кто изучал

ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентового обеда. Небо над головой имело тот бледно-аквамариновый оттенок, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако, на городской взгляд редактора Уэстбрука, пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометчивых безумцев или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.

Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что мог бы реализовать еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него имелись. Издатели — хозяева

журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя не торопясь между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, редактор обратил к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел Доу — Шекл-

форда Доу, грязного, обтрепанного, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они слыли приятелями. Доу, в то время человек обеспеченный, жил в приличной квартире по соседству с Уэстбруками. Две супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук считались закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил невзначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возятся на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва»

напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно излагая все причины, по которым он считал данное произведение непригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, в один присест. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет «Мопассан», — сказала миссис Доу. — Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкокс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно хочется есть.

Так процветал Шеклфорд Доу, когда столкнулся на Мэдисон-сквер с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шек, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подразумевало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку, — сказал Доу, дергая его за обшлаг. — Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шек? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок — пескаря или как юная девица — шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только… — начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас в распоряжении всего лишь десять минут. Как это вы ухитрились обмануть бдительность моего

клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня, — сказал Доу. — Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, этакой искренно соболезнующей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что могу писать хорошие рассказы, и я заставлю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплююсь с вами, я избавлю вас от привычки подписываться под сожалениями и научу выдавать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенным, сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

— Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шек, можете мне поверить.

В нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею…

— Хватит с меня сожалений, — яростно оборвал Доу. — Мне от них ни тепло ни холодно. Мне важно знать, чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ, — невозмутимо начал он, — построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но…

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль, — отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том…

— Все в том же самом, — подхватил Уэстбрук. — Вы разрабатываете сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что это

у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы ни написали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. На фотографии, несмотря на немыслимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы в ваших драматических сценах держались на соответствующей литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу. — Вы все еще никак не можете расстаться со всеми этими дурацкими выверта-ми отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудрую Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет Всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы

материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни, — сказал он, — женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии, — только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как?! Бесси увел какой-то незнакомый мужчина? Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога, не мешайтесь, уйдите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую, с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла! Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!» Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героику и мелодекламацию. Они просто не способны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком, разве что немного менее связно, потому что у них

путаются мысли и слова.

— Шек, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случалось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаяния и скорби, которые в эту минуту сами собой срывались с ее губ?

— Нет, не случалось, — отвечал Доу. — А вам случалось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шек, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное потрясение вызывает у человека соответствен-

ное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обусловливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычание львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь Лира выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания; это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их выражать свои переживания подобающим образом, словами, соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена?! — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво размахивая руками, но явно не находя слов для того,

чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, приоткрыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этакий шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не дает порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем, собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но…

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра — это что, большая дыра? Надо же, везет как утопленнику! Дайте

мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню…

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор, — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно настигнутый бедствием, не способен выражаться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования. Они разговаривают как всегда, только немножко менее связно.

Редактор поднялся со скамьи со снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая

его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что прав?

— Мне очень жаль, Шек, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающая жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководствовался теорией, совершенно отличной от вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж нашего журнала с девяноста тысяч поднялся…

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены?! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, сколь любящая жена моя Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена — изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шек, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу; поболтаем, посидим вечерок, соорудим какой-

нибудь ужин, как, помните, мы устраивали в прежние времена.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку, — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа. Луиза всегда приходит минута в минуту. Сейчас…

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть… Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот, когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что! — воскликнул редактор, энергично

тряся головой. — Это же немыслимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне, во всяком случае, не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девяностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуту… я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который, безусловно, скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпель, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствоиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг и через некоторое время очутились в районе

Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любуясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушукающиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. Sic transit gloria urbis[95].

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходивших на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую ветхую обстановку.

— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока поищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по-видимому, она оставила ее мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он

---

[95] Примечания: 95
Так проходит слава городов (*лат.*).

начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

«Дорогой Шеклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще в дороге. Я поступила в хор Западной оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пении и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все у тебя будет хорошо.

Прощай. *Луиза*».

Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

– Господи Боже, за что Ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех Твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормо-

тал посиневшими губами:

– *Послушайте, Шек, ведь это черт знает что за письмо! Ведь этак можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шек?*

Святыня

Мисс Линетт д'Арманд повернулась спиной к Бродвею. Это было то, что называется мера за меру, поскольку Бродвей частенько поступал так же с мисс д'Арманд. Но Бродвей от этого не оставался в проигрыше, потому что бывшая звезда труппы «Пожинающий бурю» не могла обойтись без Бродвея, тогда как он без нее отлично обходился.

Итак, мисс Линетт д'Арманд повернула свой стул спинкой к окну, выходившему на Бродвей, и уселась заштопать, пока не поздно, фильдекосовую пятку черного шелкового чулка. Шум и блеск Бродвея, грохочущего под окном, мало привлекал ее. Ей больше всего хотелось бы сейчас вдохнуть полной грудью спертый воздух артистической уборной на этой волшебной улице и насладиться восторженным гулом зрительного зала, где собралась капризнейшая публика. Но пока что не мешало заняться чулками. Шелковые чулки так быстро изнашиваются, но — в конце концов — это же самое главное, то, без чего нельзя обойтись.

Гостиница «Талия» глядит на Бродвей, как

Марафон[96] на море. Словно мрачный утес возвышается она над пучиной, где сталкиваются потоки двух мощных артерий города. Сюда, закончив свои скитания, собираются труппы актеров снять котурны и отряхнуть пыль с сандалий. Кругом, на прилегающих улицах, на каждом шагу театральные конторы, театры, студии и артистические кабачки, где кормят омарами и куда в конце концов приводят все эти тернистые пути.

Когда вы попадаете в запутанные коридоры сумрачной, обветшалой «Талии», вам кажется, словно вы очутились в каком-то громадном ковчеге или шатре, который вот-вот снимется с места, отплывет, улетит или укатится на колесах. Все здесь словно пронизано чувством какого-то беспокойства, ожидания, мимолетности и даже томления и предчувствия. Коридоры представляют собой настоящий лабиринт. Без провожатого вы обречены блуждать в них, как потерянная душа в головоломке Сэма Ллойда.

За каждым углом вы рискуете уткнуться в артистическую уборную, отгороженную занавеской, или просто в тупик. Вам встречаются всклоко-

---

[96] Примечания: 96
Марафон — селение северо-восточнее Афин, Греция.

ченные трагики в купальных халатах, тщетно разыскивающие ванные комнаты, которые то ли действуют, то ли нет. Из сотен помещений доносится гул голосов, отрывки старых и новых арий и дружные взрывы смеха веселой актерской братии.

Лето уже наступило; сезонные труппы распущены, актеры отдыхают в своем излюбленном караван-сарае и усердно изо дня в день осаждают антрепренеров, добиваясь ангажемента на следующий сезон.

В этот предвечерний час очередной день обивания порогов театральных контор закончен. Мимо вас, когда вы растерянно плутаете по замшелым лабиринтам, проносятся громозвучные видения гурий со сверкающими из-под вуалетки очами, с шелковым шелестом развевающихся одежд, оставляющие за собой в унылых коридорах аромат веселья и легкий запах жасмина. Угрюмые молодые комедианты с подвижными адамовыми яблоками, столпившись в дверях, разговаривают о знаменитом Бутсе. Откуда-то издали долетает запах свинины и маринованной капусты и грохот посуды дешевого табльдота.

Невнятный, однообразный шум в жизни «Талии» прерывается — время от времени, с

предусмотрительно выдержанными, целительными паузами — легким хлопаньем пробок, вылетающих из пивных бутылок. При такой пунктуации жизнь в радушной гостинице течет плавно; излюбленный знак препинания здесь запятая, точка с запятой нежелательны, а просто точки вообще исключаются.

Комнатка мисс д'Арманд не отличалась габаритами. Качалка умещалась в ней только между туалетным столиком и умывальником, да и то если поставить ее боком. На столике были разложены простые туалетные принадлежности и плюс к этому разные сувениры, собранные бывшей звездой в театральных турне, а кроме того, стояли фотографии ее лучших друзей и подруг, товарищей по ремеслу.

На одну из этих фотографий она не раз взглянула, штопая чулок, и нежно улыбнулась.

— Хотела бы я знать, где сейчас Ли, — сказала она задумчиво.

Если бы вам посчастливилось увидеть эту фотографию, удостоенную столь лестного внимания, вам бы с первого взгляда показалось, что это какой-то белый, пушистый, многолепестковый цветок, подхваченный вихрем. Но растительное царство не имело ни малейшего отношения к это-

му стремительному полету махровой белизны.

Вы видели перед собой прозрачную, коротенькую юбочку мисс Розали Рэй в тот момент, когда Розали, перевернувшись в воздухе, высоко над головами зрителей, летела головой вниз на своих обвитых глицинией качелях. Вы видели жалкую попытку фотографического аппарата запечатлеть грациозное, упругое движение ее ножки, с которой она в этот захватывающий момент сбрасывала желтую шелковую подвязку и та, взвившись высоко вверх, летела через весь зал и падала на восхищенных зрителей.

Вы видели возбужденную толпу, состоящую главным образом из представителей сильного пола, рьяных почитателей водевиля, и сотни рук, вскинутых вверх в надежде остановить полет блестящего воздушного шара.

В течение двух лет, сорок недель подряд, этот номер приносил мисс Розали Рэй полный сбор и неизменный успех в каждом турне. Ее выступление длилось двенадцать минут — песенка, танец, имитация двух-трех актеров, которые искусно имитируют сами себя, и эквилибристическая шутка с лестницей и метелкой; но когда сверху на авансцену спускались увитые цветами качели и мисс Розали, улыбаясь, вскакивала на сиденье и

золотой ободок ярко выступал на ее ножке, откуда он вот-вот должен был слететь и превратиться в парящий в воздухе желанный приз, тогда вся публика в зале срывалась с мест как один человек и дружные аплодисменты, приветствовавшие этот изумительный полет, прочно обеспечивали мисс Рэй репутацию любимицы публики.

В конце второго года мисс Рэй неожиданно заявила своей близкой подруге мисс д'Арманд, что она уезжает на лето в какую-то первобытную деревушку на северном берегу Лонг-Айленда и больше не вернется на сцену.

Спустя семнадцать минут после того, как мисс Линетт д'Арманд изъявила желание узнать, где обретается ее милая подружка, в дверь громко постучали. Можете не сомневаться, это была Розали Рэй. После того как мисс д'Арманд громко крикнула «войдите», она ворвалась в комнату, возбужденная и вместе с тем обессиленная, и бросила на пол тяжелый саквояж. Да, в самом деле это была Розали, в широком дорожном плаще, явно носившем следы путешествия, и при этом не в автомобиле, — в плотно повязанной коричневой вуали с разлетающимися концами в полтора фута длиной, в сером костюме, коричневых ботинках и сиреневых гетрах.

Когда она откинула вуаль и сняла шляпу, появилось очень недурненькое личико, которое в эту минуту пылало от какого-то необычного волнения, и большие глаза, полные тревоги, затуманенные какой-то тайной обидой. Из тяжелой копны темно-каштановых волос, заколотых кое-как, наспех, выбивались волнистые пряди, а короткие непослушные завитки, выскользнувшие из-под гребенок и шпилек, торчали во все стороны.

Встреча двух подруг не сопровождалась никакими вокальными, гимнастическими, осязательными и вопросительно-восклицательными излияниями, которыми отличаются приветствия их светских сестер, не имеющих профессии. Обменявшись коротким рукопожатием и бегло чмокнув друг друга в губы, они сразу почувствовали себя так, как если бы виделись только вчера. Приветствия бродячих актеров, чьи пути то скрещиваются, то снова расходятся, похожи на краткие приветствия солдат или путешественников, столкнувшихся в чужой стороне в дикой безлюдной местности.

— Я получила большой номер двумя этажами выше, — сказала Розали, — но я еще там не была, а пришла прямо к тебе. Я и понятия не имела, что

ты здесь, пока мне не сказали.

— Я здесь уже с конца апреля, — сказала Линетт, — и отправляюсь в турне с «Роковым наследством». Мы открываем сезон на будущей неделе в Элизабет. А ведь я думала, ты бросила сцену, Ли. Ну расскажи же мне о себе.

Розали ловко устроилась на крышке высокого дорожного сундука мисс д'Арманд и прислонилась головой к оклеенной обоями стене. Благодаря давнишней привычке эти вечно блуждающие театральные звезды чувствуют себя в любом положении так же комфортно, как в самом глубоком мягком кресле.

— Сейчас я тебе все расскажу, Линн, — отвечала она с каким-то необыкновенно язвительным и вместе с тем бесшабашным выражением на своем юном личике, — а с завтрашнего дня я снова пойду обивать пороги на Бродвее да просиживать стулья в приемных антрепренеров. Если бы кто-нибудь за эти три месяца и даже еще сегодня до четырех часов дня сказал мне, что я снова буду выслушивать эту неизменную фразу: «Оставьте вашу фамилию и адрес», — я бы расхохоталась в лицо этому человеку не хуже мисс Фиск в финальной сцене. Дай-ка мне носовой платок, Линн. Что за ужас эти лонг-айлендские поезда! У меня

все лицо в копоти, вполне можно было бы играть Топси, не нужно никакой жженой пробки. Да, кстати о пробках, нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Линн?

Мисс д'Арманд открыла шкафчик умывальника.

— Вот здесь, кажется, с пинту манхэттенской осталось. Там в стакане гвоздика, но ее…

— Давай бутылку, стакан оставь для гостей. Вот спасибо, как раз то, чего мне недоставало. За твое здоровье. Это мой первый глоток за три месяца!.. Да, Линн, я бросила сцену в конце прошлого сезона, бросила потому, что устала от этой жизни, а главное, потому, что мне до смерти опротивели мужчины, те мужчины, с которыми приходится сталкиваться нам, актрисам. Ты сама знаешь, что это за жизнь, — борешься за каждый шаг, отбиваешься ото всех, начиная с антрепренера, который желает покатать тебя в своем новом автомобиле, и кончая расклейщиком афиш, который считает себя вправе называть тебя запросто, по имени. А хуже всего — мужчины, с которыми приходится встречаться после спектакля! Все эти театралы, завсегдатаи, которые толкутся у нас за кулисами, приятели директора, которые тащат нас ужинать, показывают свои брильянты, пред-

лагают поговорить насчет нас с «Дэном, Дэвом и Чарли», ах, как я ненавижу этих скотов! Нет, правда, Линн, когда такие, как мы, попадают на сцену, нас можно только жалеть. Подумай, девушка из хорошей семьи, она старается, трудится, надеется чего-то достигнуть своим искусством — и никогда ничего не достигает. У нас принято сочувствовать хористкам — бедняжки, они получают пятнадцать долларов в неделю! Чепуха, какие огорчения у хористок! Любую из них можно утешить омаром.

Уж если над кем проливать слезы, так это над судьбой актрисы, которой платят от тридцати до сорока пяти долларов в неделю за то, что она исполняет главную роль в каком-нибудь дурацком обозрении. Она знает, что большего не добьется, и так она тянет годами, надеется на какой-то «случай», и надежда эта никогда не сбывается.

А эти бездарные пьесы, в которых нам приходится играть! Когда тебя волокут по всей сцене за ноги, как в «Хоре тачек», так эта музыкальная комедия кажется роскошной драмой по сравнению с теми идиотскими вещами, которые мне приходилось проделывать в наших тридцатицентовых номерах.

Но самое отвратительное во всем этом — муж-

чины, мужчины, которые пялят на тебя глаза, пристают с разговорами, стараются купить тебя пивом или шампанским, в зависимости от того, во сколько они тебя оценивают. А мужчины в зрительном зале, которые ревут, хлопают, топают, рычат, толпятся в проходах, пожирают тебя глазами и, кажется, вот-вот проглотят, — настоящее стадо диких зверей, готовых разорвать тебя на части, только попадись им в лапы. Ах, как я ненавижу их всех! Но ты ждешь, чтоб я тебе рассказала о себе.

Так вот. У меня было накоплено двести долларов, и, как только наступило лето, я бросила сцену. Я поехала на Лонг-Айленд и нашла там прелестнейшее местечко, маленькую деревушку Саундпорт на самом берегу залива. Я решила провести там лето, заняться дикцией, а осенью попытаться найти учеников. Мне показали коттедж на берегу, где жила старушка вдова, которая иногда сдавала одну-две комнаты, чтобы кто-нибудь постоянно находился в доме. Она пустила меня к себе. У нее был еще один жилец, преподобный Артур Лайл.

Да, в нем-то все и дело. Ты угадала, Линн. Я тебе сейчас все выложу в одну минуту. Это одноактная пьеса.

В первый же раз, когда он прошел мимо меня, я вся так и замерла. Он покорил меня с первого же слова. Он был совсем не похож на тех мужчин, которых мы видим в зрительном зале. Такой высокий, стройный, и, знаешь, я никогда не слышала, когда он входил в комнату, я просто чувствовала его. А лицом он точь-в-точь рыцарь с картины — ну как рыцари Круглого стола, а голос у него — настоящая виолончель! А какие манеры!

Помнишь Джона Дрю в лучшей его сцене в гостиной? Так вот, если сравнить их обоих, Джона следовало бы просто отправить в полицию за нарушение приличий.

Ну, я тебя избавлю от всяких подробностей; словом, не прошло и месяца, как мы с Артуром заключили помолвку. Он был проповедником в маленькой методистской церквушке, просто такая часовенка, вроде будки. После свадьбы мы с ним собирались поселиться в маленьком пасторском домике величиной с закусочный фургон, держали бы кур и садик, весь заросший жимолостью. Артур очень любил проповедовать мне о Небесах, но мои мысли невольно устремлялись к жимолости и курам, и он ничего не мог с этим поделать.

Нет, я, конечно, не говорила ему, что играла на сцене, я ненавидела это ремесло и все, что с ним связано. Я навсегда покончила с театром и не видела никакого смысла ворошить старое. Я была честная, порядочная девушка, без тени греха, если только не назвать грехом занятие дикцией. Вот и все, что лежало у меня на совести.

Ах, Линн, ты представить себе не можешь, как я была счастлива! Я пела в церковном хоре, посещала собрания рукодельного общества, декламировала «Анни Лори», знаешь, эти стихи со свистом. В местной газетке писали, что я декламирую «с чуть ли не артистическим мастерством». Мы с Артуром катались на лодке, бродили по лесам, собирали ракушки, и эта бедная, маленькая деревушка казалась мне самым чудесным уголком в мире. Я с радостью осталась бы там на всю жизнь, если бы…

Но вот как-то раз утром, когда я помогала старухе, миссис Герли, чистить бобы на заднем крыльце, она разболталась и, как это часто водится среди хозяек, которые держат жильцов, начала выкладывать мне разные сплетни. Мистер Лайл в ее представлении, да, признаться, и в моем также, был настоящий святой, сошедший на землю. Она без конца расписывала мне все

его добродетели и совершенства и рассказала мне по секрету, что у Артура не так давно случилась какая-то чрезвычайно романтическая любовная история, окончившаяся несчастливо. Ее, по-видимому, не посвятили в подробности, но она видела, что он очень страдал. «Бедняжка так побледнел, осунулся, — рассказывала она. — И он до сих пор хранит память об этой леди; в одном из ящиков его письменного стола, который он всегда запирает на ключ, есть маленькая шкатулка из розового дерева и в ней какой-то сувенир, который он бережет как святыню. Я несколько раз видела, как он сидит вечером и грустит над этой шкатулкой, но стоит только кому-нибудь войти в комнату, он сейчас же прячет ее в стол».

Ну ты, конечно, можешь себе представить, что я не стала долго раздумывать, а при первом же удобном случае вызвала Артура на объяснение и прижала его к стене.

В этот же самый день мы катались с ним на лодке по заливу, среди водяных лилий.

— Артур, — говорю я, — вы никогда не рассказывали мне, что у вас до меня было какое-то увлечение, но мне рассказала миссис Герли. — Я нарочно выложила ему все сразу, чтобы он знал, что мне все известно. Терпеть не могу, когда

мужчина лжет.

— Прежде чем появились вы, — отвечал он, честно глядя мне в глаза, — у меня было одно увлечение, очень сильное. Я не буду от вас ничего скрывать, если уж вы об этом узнали.

— Я слушаю, — сказала я.

— Дорогая Ида, — продолжал Артур (ты, конечно, понимаешь, я жила в Саундпорте под своим настоящим именем), — сказать вам по правде, это прежнее мое увлечение имело исключительно духовное свойство. Хотя эта леди и пробудила во мне глубокое чувство и я считал ее идеалом женщины, я никогда не встречался с ней, никогда не говорил с ней. Это была идеальная любовь. Моя любовь к вам, хоть и не менее идеальная, нечто совсем другое. Неужели это может оттолкнуть вас от меня?

— Она была красива? — спрашиваю я.

— Прекрасна!

— Вы часто ее видели?

— Возможно, раз двенадцать.

— И всегда на расстоянии?

— Всегда на значительном расстоянии.

— И вы любили ее?

— Она казалась мне идеалом красоты, грации и… душевности.

— А этот сувенир, который вы храните как святыню и потихоньку вздыхаете над ним, это что, память о ней?

— Дар, который я сохранил.

— Она вам его прислала?

— Он попал ко мне от нее.

— Но не из ее рук?

— Не совсем из ее рук, но, вообще говоря, прямо ко мне в руки.

— Но почему же вы никогда не встречались? Или между вами была слишком большая разница в социальном статусе?

— Она вращалась на недоступной для меня высоте, — грустно сказал Артур. — Но послушайте, Ида, все это уже в прошлом, неужели вы способны ревновать к прошлому?

— Ревновать? — воскликнула я. — Как это вам могло прийти в голову? Никогда еще я не ставила вас так высоко, как теперь, когда все это узнала.

И так оно и было, Линн, если ты только можешь это понять. Такая идеальная любовь стала чем-то совершенно новым для меня. Она меня потрясла. Мне казалось, ничто в мире не может сравниться с этим прекрасным, высоким чувством. Ты подумай: человек любит женщину, с которой он никогда не сказал ни слова. Он создал ее образ в

своем воображении и свято хранит его в своем сердце. Ах, до чего же это замечательно! Мужчины, с которыми мне приходилось встречаться, пытались купить нас брильянтами, или подпоить нас, или соблазнить прибавкой жалованья, а их идеалы! Ну, что говорить!..

Да, после того, что я узнала, Артур еще больше возвысился в моих глазах. Я не могла ревновать его к этому недосягаемому божеству, которому он когда-то поклонялся, — ведь он скоро должен был стать моим. Нет, я тоже, как старушка Герли, стала считать его святым, сошедшим на землю.

Сегодня, часов около четырех, за Артуром пришли из деревни: заболел кто-то из его прихожан. Старушка Герли завалилась спать после обеда и похрапывала на диване, так что я была предоставлена самой себе.

Проходя мимо кабинета Артура, я заглянула в дверь, и мне бросилась в глаза связка ключей, торчавшая в ящике его письменного стола: он, по-видимому, забыл их. Ну, я думаю, что все мы немножко сродни жене Синей Бороды, ведь правда, Линн? Мне захотелось взглянуть на этот сувенир, который он так тщательно прятал. Не то чтобы я придавала этому какое-то значение, а так просто, из любопытства.

Выдвигая ящик, я невольно пыталась представить себе, что бы это могло быть. Я думала, вероятно, это засушенная роза, которую она бросила ему с балкона, а может, портрет этой леди, вырезанный им из какого-нибудь светского журнала, — ведь она вращалась в самых высоких кругах.

Открыв ящик, я сразу увидела шкатулку из розового дерева, величиной с коробку для мужских воротничков. Я выбрала в связке ключей самый маленький. Он как раз подошел — замок щелкнул, крышка откинулась.

Едва только я взглянула на эту святыню, я тут же бросилась к себе в комнату и стала укладываться. Запихала платья в чемодан, сунула всякую мелочь в саквояж, кое-как наспех пригладила волосы, надела шляпу, а потом вошла в комнату к старухе и дернула ее за ногу. Все время, пока я там жила, я ужасно старалась из-за Артура выражаться как можно более прилично и благопристойно, и это уже вошло у меня в привычку. Но тут с меня сразу все соскочило.

— Хватит вам разводить рулады, — сказала я, — сядьте и слушайте, да не пяльтесь на меня, как на привидение. Я сейчас уезжаю, вот вам мой долг, восемь долларов; за чемоданом я пришлю.

— Я протянула ей деньги.

— Господи боже, мисс Кросби! — закричала старуха. — Да что же это такое случилось? А я-то думала, что вам здесь так нравится. Вот поди-ка раскуси нынешних молодых женщин. Поначалу кажется одно, а выходит совсем другое.

— Что правда, то правда, — говорю я, — кое-кто из них оказывается не тем, чем кажется, но вот о мужчинах этого никак нельзя сказать. Достаточно знать одного, и они все у вас как на ладони. Вот вам и вся загадка человеческого рода.

Ну а потом мне посчастливилось попасть на поезд четыре тридцать восемь, который коптел безостановочно, и вот, как видишь, я здесь.

— Но ты же мне не сказала, что было в этой шкатулке, Ли? — нетерпеливо воскликнула мисс д'Арманд.

— Одна из моих желтых шелковых подвязок, которые я швыряла с ноги в зрительный зал во время моего номера на качелях. А что, там больше ничего не осталось в бутылке, Линн?

Октябрь и июнь

Капитан хмуро рассматривал свою саблю, висящую на стене. В чулане рядом было сложено его выцветшее обмундирование, вытертое и измызганное непогодой и службой. Как необозримо давно, думалось ему, отзвучали они, славные дни боевых тревог!

И вот теперь, ветеран тех трудных для отчизны времен, он покорен женскими глазками и нежной улыбкой. Он сидел у себя в комнате и держал в руке только что полученное от нее письмецо, которое и привело его в такое мрачное расположение духа. Вздохнув, он перечитал абзац, отнявший у него всякую надежду:

«Благодарю за честь, которую Вы оказали мне своим предложением стать Вашей женой, но я вынуждена сказать «нет». Я чувствую, что должна говорить с Вами откровенно. Причиной, заставившей меня принять такое решение, является слишком большая разница в возрасте. Я очень, очень хорошо к Вам отношусь, но наш брак, я уверена, не был бы счастливым. Простите, что мне пришлось коснуться этой темы, но надеюсь,

Вы оцените мою искренность».

Капитан пригорюнился, подперев рукой щеку. Это правда, между ними большая разница в годах. Но он крепок и закален, у него есть достаток и положение в обществе. Может статься, все-таки его любовь и нежная забота и блага, которыми он мог бы ее окружить, заставят ее забыть о возрасте? И к тому же он почти уверен, что он ей нравится.

Капитан был человеком безотлагательного действия. В походах он прославился решительностью и энергичностью. Он поедет к ней и лично попытается уговорить, склонить ее сердце к согласию. Подумаешь, возраст! Возраст — это пустяк, нельзя допустить, чтобы разница в годах встала между ним и той, которую он любит.

Не прошло и двух часов, как он уже был снаряжен к марш-броску навстречу своему генеральному сражению.

Он сел в поезд и поехал в Теннесси, где в старом южном городке проживала она.

Теодора Диминг наслаждалась свежестью летних сумерек на парадном крыльце живописного старинного особняка, когда капитан вошел в ворота и зашагал по усыпанной гравием дорожке. Красавица встретила его улыбкой без тени смущения. Он стоял ступенькой ниже нее, и су-

ществующая между ними разница казалась не такой уж и заметной. Он был рослый, статный, светлоглазый и загорелый. Она находилась в расцвете женственной прелести.

— Я не ждала вас, — сказала Теодора, — но раз уж вы здесь, можете сесть на ступеньку. Разве вы не получили моего письма?

— Получил, — ответил он. — Потому и приехал. Послушайте, Тео, может быть, все-таки передумаете, а?

Теодора нежно ему улыбнулась. Для своих лет он держался отлично. Ей и вправду нравилась его выправка, его цветущий, мужественный вид… Что если…

— Нет, нет, — решительно произнесла она вслух. — Это исключено. Я к вам прекрасно отношусь, но о женитьбе не может быть и речи. Мой возраст и ваш возраст… не заставляйте меня повторяться, я все изложила вам в письме.

На лице капитана сквозь загар проступил румянец. Он молчал, грустно вглядываясь в вечерний сумрак. Там, вдали, за лесами на горизонте, лежало поле, где некогда стояли бивуаком парни в синих мундирах, отправлявшиеся в рейд к морю. Как давно это было! Воистину, время сыграло с капитаном горькую шутку. Всего каких-то

несколько лет стоят стеной между ним и его счастьем!

Нежная ручка Теодоры легла на его загрубелую мужественную ладонь. Чувство, которое она сейчас испытывала, и вправду было сродни любви.

— Прошу вас, пожалуйста, не огорчайтесь, — проговорила она мягко. — Право же, так будет лучше. Какое-то время все бы шло замечательно, но — только представьте себе! Через каких-нибудь несколько лет до чего разными будут наши интересы. Одному из нас захочется по вечерам сидеть дома у камелька, читать книжку, страдая, быть может, от невралгии или ревматизма, а у другого на уме будут одни балы, театры да ужины за полночь. Нет, мой милый друг. Если мы с вами не то чтобы уж совсем январь и май, то во всяком случае октябрь и нежное начало июня.

— Я бы исполнял все ваши желания, Тео. Стоило бы вам захотеть, и я бы сразу…

— И ничего бы не сразу. Это вам теперь так кажется. А когда дошло бы до дела… Пожалуйста, не просите меня больше, ладно?

Капитан проиграл свое сражение. Но он был мужественный воин. И когда он поднялся, чтобы сказать последнее прости, у губ его пролегла жесткая складка и плечи гордо расправились.

Той же ночью он сел в поезд и уехал к себе на Север. А на следующий день он снова сидел в комнате, где на стене висела его сабля. Он одевался к обеду, вывязывая с отменной тщательностью белый галстук. И одновременно произнося задумчивый монолог:

— М-да, а ведь, ей-богу, Тео, пожалуй, все-таки права. Конечно, она симпомпончик, этого никто не может отрицать, но ей сейчас все двадцать восемь годков, а то и больше.

Дело в том, что самому капитану минуло только девятнадцать, и саблю ему если и случалось когда-нибудь обнажить, то разве на плац-параде в Чаттануге, а ближе к военным действиям он даже на Испано-американской войне не успел побывать.

Исчезновение Черного Орла

В один из прошлых годов на протяжении нескольких месяцев очень тревожно было вдоль всей техасской границы по реке Рио-Гранде. Там появился внушающий ужас бандит по прозвищу Черный Орел, Гроза Границы. О нем и его сподвижниках ходили жуткие слухи, и особенно много говорили о его устрашающей внешности. Но однажды он внезапно исчез — как будто его никогда и не существовало. Исчезновение Черного Орла даже для членов его банды осталось загадкой. Жители приграничных поселков и скотоводческих ферм находились в постоянном страхе, что он вот-вот нагрянет и опять начнет свирепствовать на равнине, поросшей мескитом…

Но этого никогда уже не будет. Отчего? Чтобы раскрыть вам его судьбу, и написан этот рассказ.

Толчок ко всему этому (в полном смысле слова) дала нога бармена из города Сент-Луи, когда его наметанный глаз различил, как очередной бродяга, известный под кличкой Цыпленок Раггльз, присосался к столу с бесплатной закуской для

тех, кто до этого потратился уже на выпивку. Цыпленком был он прозван своими бездомными побратимами из-за того, что нос у него здорово походил на птичий клюв, к тому же он обладал завидным аппетитом и пристрастием к курятине, причем к бесплатной.

Многие врачи считают, что пить во время еды вредно для здоровья. Закон пивных баров говорит прямо противоположное: и пить, и есть можно, но за выпивку надо платить. Цыпленок Раггл з осмелился нарушить это железное правило, за что и получил свое: бармен вышел из-за стойки, уцепил нарушителя за ухо щипцами для лимона, подтащил к двери и выкинул на улицу, где тот столкнулся с печальной действительностью: зима уже на носу, ночь просто ледяная, свет звезд холоден и неприветлив, а люди спешат в обе стороны, и все как один угрюмы и погружены в себя. У мужчин плотно запахнуты пальто и плащи, а Цыпленок уже хорошо знал: никто из них ни за что на свете не станет расстегивать множество пуговиц, чтобы достать даже мелкую монету из жилетного кармана и порадовать ею просящего.

В общем, ясно, что наступила пора ежегодного исхода на Юг…

Перед витриной кондитерского магазина стоял

мальчонка лет шести-семи, озирая завидущими глазами выставленные там сладости. В одной руке он держал пустой стеклянный пузырек, в другой крепко сжимал что-то плоское, круглое и блестящее. В душе Цыпленка возродились отвага и тяга к подвигу. План операции созрел почти сразу. Окинув взглядом окрестности и убедившись, что никто за ним не наблюдает, он начал охоту.

Однако мальчик, получивший, видимо, наставления от родителей, отнесся к незнакомому дяденьке холодно.

И Цыпленок понял: быстрой атакой противника не возьмешь — требуются длительная, изматывающая нервы осада и хитрость, помимо отваги. Пять центов составляли сейчас весь его капитал, и он должен был рискнуть этим богатством ради обретения большего, находящегося в сжатом кулачке мальчика. Задача немыслимо трудная, он знал это: ведь его оружием должна быть не грубая сила — ни в коем случае! — а только слова. Доброжелательные, разумные слова.

Когда-то в городском парке, понуждаемый голодом, он докатился до того, что покусился на бутыль с детским питанием, лежавшую в коляске рядом с ее обитателем. Но младенец раскрыл рот и включил свой сигнал на такую громкость, что

помощь подоспела мгновенно, и преступника упрятали за решетку на тридцать суток. С той поры он, по его же словам, празднует труса перед детьми.

Разговор Цыпленка с теперешней его жертвой начался с вопроса о том, какие сладости она (жертва) предпочитает. И потом, постепенно, он выяснил все, что хотел. Ему стало известно: мама велела мальчику купить в аптеке на десять центов камфарной настойки, налить в пузырек, а сдачу, полученную с доллара, который у него в кулаке, завернуть (попросить аптекаря) и положить в карман штанишек… Что? Карман? Конечно, у него есть — целых два!.. А насчет того, что он больше любит — шоколадки с кремом!..

И тогда Цыпленок решился! Он толкнул дверь в кондитерскую и вошел туда. Вошел и сразу превратился в бесшабашного биржевого игрока, кто рискует вложить весь капитал, чтобы потом получить (или нет) в несколько раз больше.

На все свои пять центов он приобрел акции под названием С.Л.А.С.Т.И. в виде шоколадок с кремом, преподнес мальчику и был почти уверен, что отношения полного доверия между ними установились. А значит, можно хватать свое «капиталовложение» за руку и шагать вместе с ним

в аптеку, которая находится в этом же квартале.

В аптеке он, не встретив ни малейшего сопротивления жертвы, осторожно вынул у нее из руки блестящий доллар и купил сколько нужно лекарства, а мальчик в это время с наслаждением лакомился шоколадками и был доволен, что кто-то вместо него занимается скучными покупками.

Затем наш хитроумный маклер порылся в драных карманах своего пальто, которое уже с трудом могло так называться, выудил из одного пуговицу, тщательно завернул ее в листок бумаги, сунул в карман к невинному отроку, дружески похлопал его по спине и отправил в обратный путь. К мальчику Цыпленок испытывал сейчас самые теплые чувства: ведь сердце у него, в сущности, было почти таким же мягким и нежным, как у его птичьего тезки, а в кармане лежала выручка, равная тысяче семистам процентам от вложенного капитала.

Двумя часами позднее паровая машина по прозвищу Железная Гора потащила по рельсам вереницу порожних вагонов в направлении штата Техас, и в одном из них, наполовину зарывшись в мягкие стружки, блаженствовал Цыпленок. Он был не один: рядом с ним находились бутылка

дешевого виски и бумажный пакет с хлебом и сыром. Мистер Раггл совершал путешествие на юг, дабы избавить себя от зимнего холода.

В течение недели вагон не спеша продвигался к теплу, его останавливали, задерживали, переводили на запасной путь — делали с ним все, что полагается делать с порожняком, но Цыпленок оставался ему верен и если покидал его, то лишь затем, чтобы утолить голод и жажду. Он знал, что так или иначе, но вагон доставит его в места, где много скота и солнца и откуда недалеко до конечной цели путешествия — города Сан-Антонио. В этом городе, так ему запомнилось, чудодейственный воздух и добрые, отзывчивые жители, включая барменов. Никогда они не выкинут вас на улицу пинком ноги, если вы задержитесь ненароком у прилавка с бесплатными закусками, а если вы стали слишком уж частым посетителем заведения, то в худшем случае просто отругают последними словами. Но и то без излишней горячности. И ругаются они так умело и так длительно, что за это время можно вполне насытиться закусками к выпивке.

А зима там не зима, а весна, и на городских площадях круглую ночь веселятся, играет музыка, и, за исключением редких дней, можно даже спать

на открытом воздухе, в случае если под крышу нигде не пустят.

В Тексаркане его вагон прицепили к другому составу, и теперь они уже ехали без задержек, пересекли реку Колорадо в Остине, и до заветного Сан-Антонио оставалось совсем немного.

Когда товарняк прибыл в этот город, Цыпленок крепко спал. И минут через десять, когда поезд возобновил движение, он не проснулся. А поезд уходил все дальше — ему предстояло развести вагоны по разным местам, где будут грузить скот.

Цыпленок продолжал спать, а когда наконец проснулся, вагон стоял неподвижно, и сквозь щель виднелась ярко освещенная луной степь. Выбравшись наружу, он увидел, что вагон вместе с тремя другими брошен в совершенно безлюдном диком месте. Никого и ничего кругом. Он был совсем один в бескрайней прерии — как когда-то Робинзон на своем необитаемом острове.

Один, если не считать четырех вагонов и одного почтового столба, белевшего возле рельсов. Подойдя к нему, Цыпленок смог прочитать: «Сан-Антонио — 90». Столько же было и до Ларедо. Он находился почти в ста милях от ближайшего населенного пункта.

Его охватило чувство безотрадного одиноче-

ства. Жизнь уже не раз забрасывала его в разные места, и везде ему чего-то не хватало: в Бостоне — образования, в Чикаго — мужества, в Филадельфии — крыши над головой, в Нью-Йорке — дружеской поддержки, в Питсбурге — выпивки, но так одиноко, как сейчас, не было нигде.

И вдруг в напряженной тишине он услышал лошадиное ржание. Оно раздавалось откуда-то с востока, со стороны дороги, и он с опаской двинулся в том направлении. С опаской оттого, что боялся сейчас решительно всего в этой пустынной глуши: змей, крыс, бандитов, сороконожек, миражей, ковбоев, сомбреро, фанданго, тарантулов. О них обо всех ему приходилось читать в местных газетах. Огибая заросли огромных кактусов, грозно устремивших ввысь колючие пики, он испугался, услышав громкий лошадиный храп. Лошадь испугалась не меньше, но, отбежав на полсотни ярдов, снова принялась щипать траву. Цыпленок тоже успокоился: лошади были из тех живых существ, которые никакого опасения у него не вызывали: он рос на ферме, хорошо их знал и превосходно ездил верхом.

Он начал медленно приближаться к ней, ласково заговорил, и она совсем успокоилась. Он заметил, что от нее тянется по земле длинное

лассо, потому что наступил на него, и в его голове сразу созрел план действий. Всего несколько минут понадобилось, чтобы превратить веревку в недоуздок, как это делают в Мексике, а еще через несколько минут он уже скакал на лошади, сам не зная куда, доверившись ей, потому что куда-то, где будет пища и вода, она его обязательно привезет. Так он сказал самому себе.

Бешеная скачка по залитой лунным светом прерии должна была бы доставить неизъяснимую радость даже такому ленивому существу, как Цыпленок, кто ненавидел любое резкое телодвижение, но никакого удовольствия он не получал. У него с похмелья болела голова, его мучила жажда, а еще угнетала мысль, что в том месте, куда его доставит лошадь, обстоятельства для него могут сложиться еще хуже, чем здесь, на безлюдье.

Он начинал понимать, что лошадь, в отличие от него, прекрасно знает, куда бежит, и неуклонно стремится к этой цели. Сначала она скакала прямо на восток, потом, когда стали все чаще встречаться холмы, пересохшие русла речек и колючие заросли, она уверенно сворачивала то в ту, то в другую сторону и, преодолевая все препятствия, ни минуты не колеблясь, продолжала

путь. Наконец перед небольшим подъемом перешла на спокойный, размеренный шаг, и вскоре Цыпленок увидел совсем близко одиноко стоящее жилище, спрятавшееся за купой деревьев. Это был обмазанный глиной бревенчатый домик под камышовой крышей. За ним виднелся большой двор, окруженный изгородью.

Такие домики он видел раньше: они ставятся у входа на скотный двор. В лунном свете земля здесь, утоптанная тысячами копыт, казалась плоской и гладкой.

Повсюду были разбросаны веревки, уздечки, седла, овечьи шкуры и мешки с шерстью, кормушки и другие необходимые для скотоводов предметы. У дверей домика стояла бочка с водой и тут же — пароконная повозка, на ее дышлах висела конская упряжь.

Цыпленок спешился и привязал коня к дереву. Несколько раз он окликнул хозяев, но в доме и вокруг него царила тишина. Тогда он решился войти в гостеприимно раскрытую дверь. Даже в полутьме он понял, что здесь никого нет. В комнате царил тот же беспорядок, что во дворе, но это не помешало ему поискать и найти то, чего так жаждала душа: небольшой кувшин, содержащий еще около кварты заветной влаги.

Полчаса спустя Цыпленок, превратившийся теперь в нечто напоминающее боевого петуха, нетвердыми шагами вышел из домика. Он и в самом деле выглядел по-боевому, потому что сменил свое рванье на не очень модную, но вполне приличную одежду отсутствующего хозяина ранчо. На нем был коричневого цвета костюм из грубого полотна, под курткой щеголеватая безрукавка, огромное сомбреро, фасонистые сапоги со шпорами, которые звенели при каждом движении, а также широченный пояс-патронташ, набитый патронами и с двумя кобурами, в каждой из которых торчало по шестизарядному кольту.

Порыскав еще немного, он обнаружил несколько одеял, уздечку, каковыми тоже не побрезговал.

И потом вскочил на коня, рванул с места в карьер и помчался в неизвестность, громко распевая песню, уловить мотив которой было абсолютно невозможно.

Бад Кинг со своей бандой головорезов — конокрадов, угонщиков скота, налетчиков и ворюг — расположился в укромном месте на берегу Фрио. Набеги этой наглой оравы на фермы и поселки по обоим берегам Рио-Гранде участились

в последнее время и вызывали все большее возмущение, и потому отряд конной полиции под командованием капитана Кинни получил приказание заняться этим делом и навести порядок. Что они и начали выполнять.

Бад Кинг почувствовал, что давление на его шайку усиливается, и принял решение… Нет, не встретиться со служителями закона в открытом бою, а более мудрое: спрятаться где-нибудь в надежных зарослях мескита и отсидеться до лучших времен. Однако не всем соратникам пришлось по душе это решение, среди них начался ропот, даже пошел разговор о том, не пора ли сменить их главаря, чья слава, быть может, уже закатилась — ведь с ней, со славой, такое случается. А значит, пора сменить вожака на кого-то другого… Но на кого?

Члены банды почти единодушно сошлись во мнении, что самым достойным кандидатом, способным возглавить шайку, может быть только один человек — тот, кто вступил в их ряды три месяца назад и получил кличку Черный Орел, к которой уже прибавилось второе прозвище — Гроза Границы…

Вот как он у них очутился.

Однажды ночью, когда они скрывались возле

сан-мигельской запруды, на них наткнулся всадник на неплохой коняге. Даже на очень хорошей. А сам седок тоже выглядел внушительно: нос — вроде здоровенного клюва, усы — черные, словно воронье крыло, и топорщатся, как у дикого зверя; глаза — тоже дикие, зловещие, жуткие какие-то. А одёжа — лучше некуда: сапоги со шпорами, сомбреро величиной с поле для регби, ремень на полживота, на ремне — два револьвера, патроны. Кроме того, пьян в должной мере и, видать, никого не боится: ни бандитов, ни рейнджеров.

Мало кто в ту пору рискнул бы вот так — с бухты-барахты — заявиться в лагерь к Баду Кингу. А этот клювастый прилетел и без всякого страха потребовал дать ему поклевать чего-нибудь и похмелиться.

Конечно, гостеприимством здешние места известны далеко за своими пределами. Если к вам в гости нагрянет враг, его сначала сытно покормят, а уж потом пристрелят. Для него не пожалеют ни еды, ни патронов. Поэтому и для прибывшего незваного гостя устроили настоящий пир.

Залетевшая птица оказалась болтливой не в меру. Она сыпала как горох одну историю за другой, и все они излагались несколько туманными, но всегда красивыми словами. Он стал просто

находкой для этих бандюг, которым приелось постоянно видеть и слышать только друг друга. Они не скрывали своего удовольствия и даже восторга от его полуфантастических россказней, которые он разукрашивал незнакомыми словечками и разнообразной интонацией. О чем только он не говорил: о городской жизни, о дальних странах, о подвигах, о любви — и всегда умел зацепить слушателей…

Почему он себя так вел? Ответ очень прост: потому что знать не знал, куда его занесло, с кем он повстречался. Эти отпетые головорезы выглядели в его глазах обычными жителями, с кем ему так или иначе приходилось сталкиваться во время постоянных скитаний. Как две капли воды они походили на фермеров, скотоводов, да бог знает на кого еще, у кого он выпрашивал подаяние, с кем болтал обо всем на свете, кого пытался обвести вокруг пальца, взять на пушку. А чего они здесь-то делают? Ну, собрались, наверное, после трудов праведных посидеть по-тихому у костра, поговорить, рыбки пожарить. Одеты они были просто, голоса у них мирные, походка развалистая, трудовая…

В общем, гость пришелся ко двору. Два дня с ним болтали, бражничали, а затем, посовещав-

шись, предложили стать членом шайки. Ни на минуту не задумавшись, обласканный пришелец принял предложение и с ходу заявил, что хочет называться Капитан Монтрезор. Предложение тоже с ходу отвергли, заменив красивую звучную кличку на не слишком красивое — Боров, намекая таким образом на его неуемный аппетит…

Вот таким образом на границе Техаса с Мексикой появился один из самых колоритных бандитов, когда-либо топтавших приграничные земли.

Последующие три месяца Бади Кинг продолжал, как и раньше, вершить свой бандитский бизнес, удачно избегая столкновений со служителями закона и вполне удовлетворяясь достигнутыми успехами. Им удалось угнать немало хороших лошадей с пастбищ, то же самое сделать с овцами и все эти трофеи переправить через Рио-Гранде в Мексику и выгодно продать. Частенько банда навещала и мексиканские деревушки, и поселки, наводя страх на жителей и пополняя запасы еды и патронов. Во время этих славных налетов новичок по кличке Боров вел себя безупречно и особенное уважение соратников приобрел благодаря своему устрашающему виду и такому же голосу. Эти же качества завоевали

ему печальную известность среди жертв налетов по обе стороны границы.

Пожалуй, именно мексиканцы — большие мастера приклеивать клички — первыми прозвали его Черным Орлом и начали пугать им детей, рассказывая страшные истории о громовом голосе и об огромном клюве, в котором он уносит каждый раз по ребенку. Слухи распространялись все шире, и через какое-то время его слегка дополненная кличка — Черный Орел, Гроза Границы — стала не только частой темой для разговоров среди местных жителей, но и нередко появлялась на страницах местных газет.

Реклама Черному Орлу и его сподвижникам, несомненно, ускорила ответ властей на безнаказанные действия банды в этих малонаселенных, никем не охраняемых местах, и вот тогда-то один из отрядов рейнджеров под командой капитана Кинни и был направлен туда, чтобы прекратить эти безобразия.

Когда сведения о решении властей достигли ушей Бада Кинга, тот понял, что дело принимает крутой оборот и предстоит одно из двух — отступить или принять вызов. Он предпочел первое и увел свою шайку в известное ему, почти неприступное место на берегу Фрио, где они и

пребывали в бездействии и где началось то, о чем говорилось выше: бурление и брожение умов и страстей, вылившееся в прямое недовольство и намерение сменить Бада на его посту другим человеком. Этим другим был Черный Орел.

Еще до того, как решение было объявлено во всеуслышание, Бад Кинг учуял общее настроение и поделился своими опасениями с верным ему помощником.

— Видится мне, Кактус Тейлор, — сказал он ему, — ребята не слишком довольны мною. Что ж, в таком разе готов уступить свой пост. Не очень-то и держусь за него. И чем я им не угодил? Что в безопасное место увел, пока Сэм Кинни со своими рейнджерами везде рыщет? Так я об них же забочусь. Чтоб не подстрелили или в клетку не засадили и работать потом не заставили. А меня с грязью хотят смешать. За что?

— Я б так не рассуждал, — отвечал ему Кактус. — Тут в другом суть. Очень уж их этот Чернявый Орел привлек! Прикипели вроде к нему. Усы, бакенбарды, все такое. И клюв!.. То есть нос. Главное — нос! Думают, что с таким носом да с его баснями мы всегда сухими из воды…

— Насчет Борова… — прервал его Бад. — Я вот чего думаю… Видел ты его хоть раз в драке? Что-то

я не упомню. Горлопанить горазд и на коне сидит неплохо, а в настоящем деле чем себя показал? Да и дела настоящего не было, по правде сказать. На сухом берегу рыбку ловить и ребятишек пугать — это он здоров, а из кольтов своих так ни разу и не палил… Консервы уминать или текилой глотку заливать — всегда охоч, а вот каким он будет, когда настоящая драчка начнется? Это бабушка надвое сказала.

— Что правда, то правда, — поддержал его Кактус. — Наговорил он про себя с три короба, а что на поверку выйдет, как знать?

— Про таких говорят, — завершил обсуждение Бад, — молодец против овец, а на молодца — и сам овца…

Оба замолчали — они в это время сидели, все восемь членов банды, за ужином возле костра, и стал слышен голос Борова: тот, не отрываясь от еды — он просто не мог от нее оторваться, — продолжал ублажать присутствующих все новыми и новыми байками, одна другой заковыристей. А закончил так:

— Ну, что толку, друзья, гонять туда-сюда по прерии коров да лошадей? Один пшик! Намокнешь, намерзнешься, с голоду чуть богу душу не отдашь, а выгоды никакой. То ли дело… Эх,

слушайте, что я бы отколол, будь на вашем месте. Состряпал бы налет на поезд! Да-да! Забрал бы из почтового вагона все деньжищи — их там видимо-невидимо, — набил карманы, в которых сейчас гуляет ветер, и жил бы припеваючи, как у Христа за пазухой. В тепле и в сытости. До скончания дней! А от ваших дел у меня только тело ломит!

Позднее, тем же вечером к Баду пожаловала целая делегация. Ее члены стояли, переминаясь с ноги на ногу, жевали жвачку и все ходили вокруг да около, вместо того чтобы сразу взять быка за рога — потому что были славные ребята и меньше всего им хотелось обидеть босса. Однако тот оказался догадлив, все понял и прямиком сказал, что если они хотят хлебнуть больше опасностей и получить больше навара, то чего ж… Он не против. Так тому и быть. И он согласен, чтобы шайку возглавил Боров… то есть, тьфу, Черный Орел. Во всяком случае, на время этой операции. А он, Бад, поглядит, что из этого выйдет. И будет делать, что прикажут…

Все члены шайки чувствовали большой душевный подъем: наконец-то займутся чем-то серьезным! Обрыдло мотаться по степям да по колючим чащам, греться у костра и врываться

в чужие дома под вопли и проклятья хозяев. А новое дело — чистое и, главное, доходное и сулит многие дни отдыха и блаженства…

К налету на поезд решили готовиться немедленно и по-настоящему, без дураков. Раздобыли расписание поездов, изучили карту местности, чтобы выбрать подходящее время и пункт, то есть станцию железной дороги, где будет нанесен удар.

Самым приемлемым посчитали полустанок Эспину: вокруг дикие заросли и никого из людей — один начальник станции в своем домишке.

К месту они прибыли загодя — за день до налета, ночью, — и до следующего вечера скрывались в кустарнике, отдыхая перед ответственным заданием и давая отдых лошадям. Поезд должен был прийти в десять тридцать вечера, они рассчитывали после ограбления быстро смотаться и к рассвету оказаться далеко, на мексиканской территории.

Черный Орел во время подготовки проявил себя как надо: расставил все посты, рассказал, что кому делать: четверо залягут по обе стороны железной дороги, Роджерс Рваное Ухо обезвредит начальника станции, Коняга Чарли — остается с лошадьми. Основную работу Черный Орел возло-

жил на Бада Кинга и на себя: под угрозой оружия машинист, кочегар, проводник и кто там еще выходят из поезда, открывают почтовый вагон — и дело в шляпе, то есть в сомбреро! Вместе с теми четырьмя, кто залег возле рельсов, они опустошают его — и только их и видели! Действовать надо, предупредил новый вожак еще раз, строго по плану и по сигналу. Сигналом будет выстрел из его кольта.

За десять минут до появления поезда все были на своих местах и скрывались в густых зарослях. Да и ночь выпала достаточно темная: тучи висели низко, накрапывал дождь. Черный Орел прятался за кустом всего в нескольких ярдах от железнодорожного полотна. Два шестизарядных кольта болтались у него на ремне, большая бутылка бултыхалась в кармане. Время от времени он вынимал ее и прикладывался к горлышку.

Вдалеке над рельсами зажглась звезда, она разгоралась и вскоре превратилась в паровозный фонарь. Грохот становился сильнее, паровоз ревел, грохотал, извергал пламя — словно собирался истребить во имя закона поджидавших его налетчиков.

Черный Орел прижался к земле. Паровоз протащил состав дальше, чем он рассчитывал, ярдов

на сорок, и только тогда остановился. Налетчики не двигались с места, ожидая сигнала.

Их новый предводитель вскочил на ноги. Он разглядел, что состав не целиком пассажирский, как они предполагали, а смешанный. Напротив него оказался один из товарных вагонов, дверь в который оставалась приоткрытой. Черный Орел заглянул в нее и сразу почувствовал, как на него повеяло чем-то родным. Этот незабываемый запах! Он напомнил ему прежние счастливые времена, когда он спокойно полеживал в таких вот вагонах, увозящих его в неизведанные края. Он жадно вдохнул этот воздух — сырой, с кислинкой, с гнильцой, но такой знакомый и приятный. Он вдыхал его, подобно тому, как странник, вернувшийся к родному крову после долгих лет скитаний, вдыхает аромат обычных садовых цветов. Словом, тоска по прежней жизни обуяла его!.. Он просунул руку в вагон — и пальцы окунулись во что-то мягкое, шелковистое, пружинистое. Стружки!

Они покрывали пол.

А дождь усилился: он превратился в настоящий холодный ливень. Брр…

Раздался звук поездного колокола. Будто лишь этого он и ждал, главарь банды отстегнул свой

широкий ремень и кинул его на землю вместе с двумя револьверами и всеми патронами. Туда же последовали шпоры и широченное сомбреро. Черный Орел терял приметы Черного Орла. Паровоз зашипел, вагоны дернулись. Бывший Черный Орел и экс Гроза Границы вскочил в вагон и задвинул за собой дверь.

Он с наслаждением растянулся на постели из пахучих стружек, надежно прижал к груди большую черную бутыль — и так, с закрытыми глазами и блаженной глуповатой улыбкой, смягчившей его зловещие разбойничьи черты и превратившей его снова в Цыпленка Раггльза, он отправился по своему привычному, проторенному пути.

Налетчики, не шелохнувшись, лежали под дождем в ожидании сигнала вожака, а поезд, набирая скорость, уже мчался среди темнеющих кустарников. Поглядев в окошко почтового вагона, проводник раскурил трубку и с облегчением проговорил:

— Ну и местечко здесь — прямо для того, чтобы тебя обчистили! Лучше не найдешь! Слава богу, пронесло…

Случай из департаментской практики

В Техасе вы можете проехать тысячу миль по прямой, никуда не сворачивая. Но если задумаете свернуть, то, скорее всего, как ни странно, и расстояние, и скорость намного увеличатся. Облака там упорно плывут против ветра. Птица козодой кричит так же безрадостно, как его северный сородич, но мелодия песни звучит в обратном порядке: с конца к началу. А после засухи и следующего за ней живительного дождя на первое же утро — вы не поверите! — из сухой каменистой почвы появляются во всей красе чудесные лилии. Когда-то этот край пастухов-скотоводов считался признанной мерой площади. Не помню уже, сколько Нью-Джерси и Род-Айлендов могли бы разместиться (и затеряться) в мексиканском чапарале, но законотворческий топор рассек его на пригоршню округов, каждый из которых, наверное, ненамного больше какого-нибудь из европейских королевств. И когда большой чиновник, к примеру из округа Рио-Гранде, и его собрат из округа Пэн-Хендл собираются ехать к еще

большему чиновнику в столицу штата Остин, находящуюся почти в центре Техаса, то один берет с собой в дорогу веер из пальмовых листьев и тонкий плащ, а второй обматывает шею шарфом и стряхивает снег, налипший на башмаки.

Все это я сообщаю лишь для того, чтобы стало понятно, какой большой и яркой звездой засияла на американском флаге бывшая юго-западная республика, а еще раньше — вообще часть Мексики, Техас. А еще для того, чтобы подготовить вас к тому удивительному, что порою может случиться на его бескрайних просторах.

Глава департамента Страхования, Статистики и Истории штата Техас был не чересчур значительной, но и отнюдь не третьестепенной фигурой. Я употребил слово «был» исключительно потому, что сейчас он остался в том же ранге, но название департамента укоротилось на два слова — он стал заниматься исключительно Страхованием. Вернее, занимается вроде бы тем же, но в документах эти слова не упоминаются.

В 18… году губернатор штата назначил на эту должность некоего Люка Кунрода Стендифера. Ему тогда исполнилось пятьдесят пять — коренной техасец, чей отец числился одним из первых здешних поселенцев. Сам Люк тоже успел послу-

жить своему штату: воевал с индейцами, служил в армии, охранял Территорию и поддерживал на ней порядок. Кладезем премудрости его не назовешь, но жизненного опыта ему было не занимать. И должность свою, достаточно высокую, он получил не за ученость, а как награду, которой временами удостаивались те, кто способствовал созданию процветающего края в когда-то первозданной пустыне.

Он с легким сердцем принял свое назначение, хотя понятия не имел, с чем едят эти «С» и «С», а также «И», оставил поселок, где жил и работал землемером, и поехал в столицу штата, заглянув перед этим первый раз в жизни в Британскую энциклопедию на буквы «С» и «И», но мало что почерпнув там.

На счастье, в его департаменте продолжал служить старый очкастый клерк Кауфман, кто мало-помалу вводил его в курс дела, и шестеренки канцелярской машины продолжали крутиться — не слишком быстро, но без поломок и не теряя ни единого зубца.

Департамент, находившийся под руководством Люка Стендифера, перегружен работой не был. Страхование — оно и в других штатах выполняло те же функции, и все определялось статьями

Закона. Статистика заключалась в получении сводок из округов об урожае кукурузы, хлопка, ореха пекана, а также о численности свиней, рогатого скота, черного и белого населения и в передаче этих сведений в центр. А История? — спросите вы. Ну, тут приходится удовлетворяться тем, что дают. Престарелые дамы присылают длинные доклады о славных делах различных кружков и обществ. Отдельные мужчины то и дело сообщают о новых находках: карманный ножик Сэмюэла Хьюстона, винная фляга, принадлежавшая самому Санта Анне, или ружье Дэви Крокета[97]. Все это, ясное дело, совершенно подлинное, без обмана — только требуются деньги от властей штата на покупку этих раритетов.

И наконец, о главном.

Однажды, знойным августовским днем, глава департамента С.С.И. посиживал без особых дел в своем кресле перед длинным письменным столом, покрытым зеленым бильярдным сукном. Закинув ноги на стол, он лениво курил сигару, и перед его сонным взором открывался за окном в

[97] Примечания: 97

Сэмюэл Хьюстон (1793–1863) — президент республики Техас до ее присоединения к США в 1845 г.; *Санта-Анна Антонио* (1795–1876) — мексиканский генерал и президент, воевавший с техасскими колонистами; *Дэвид Крокет* (1786–1836) — пионер и политический деятель в Техасе.

жарком летнем мареве вид на пустынную площадь без единого деревца.

Возможно, он вспоминал о беспокойных днях своей молодости. О приключениях на разных жизненных поворотах, о друзьях, которые сейчас идут другими дорогами либо уже дошли до конца и дальше идти некуда. Думал, быть может, он и о том, как изменилась жизнь прямо на его глазах — стала вроде бы спокойнее, без войн и столкновений, да и поудобнее тоже. Вот сидит он сейчас в мягком кресле в тихой комнате, и под рукой не ружье и не кольт, а письменные принадлежности.

Дверь в кабинет была открыта, и кое-какие шумы сюда доносились: стук старой пишущей машинки из кабинета главного геолога штата, звяканье мешков с монетами из кладовой казначейства.

Он услышал негромкий, робкий женский голос где-то в коридоре. Женщина спрашивала о чем-то.

И вот она уже стоит в дверях его кабинета — вся в черном, преждевременно увядшая, неопределенного возраста: то ли двадцать с чем-то, то ли все сорок.

Она к нему? Клерка Кауфмана он отпустил

ненадолго — придется самому заняться с посетительницей. Он снял ноги со стола, поднялся. Кресло под ним громко заскрипело.

— Прошу прощения, мэм, — сказал он. — Вы ко мне?

— Вы губернатор, сэр? — спросила она.

Голос был молодой, но несмелый и очень печальный — такой же, как и ее вид.

Вопрос прозвучал забавно, но, чего греха таить, глава департамента был польщен, и на какой-то миг ему захотелось ответить утвердительно. Однако он пересилил себя, приложил руку к двубортному сюртуку и, учтиво поклонившись, честно признался:

— Нет, мэм. Я не губернатор. Я имею честь быть главой департамента Страхования, Статистики и Истории нашего штата. Чем могу служить? И, пожалуйста, присядьте.

Женщина послушно села. Судя по виду, стоять ей вообще нелегко, не хватает сил. Сидя на стуле, она стала обмахиваться старым потрепанным веером — по-видимому, остатком прежней роскоши. Вся ее одежда тоже свидетельствовала о крайне бедственном положении. Она смотрела на этого человека, кто не был губернатором и чье простецкое загорелое лицо носило отпечаток дол-

гой жизни на открытом воздухе, тоже в нелегких условиях, и, казалось, видела в нем сердечность и доброту, а в глазах — смелость и решимость тех, кто в минувшие времена оглядывал бескрайние дали Техаса, готовясь к бесконечным стычкам с индейцами и к отвоеванию новых территорий. Да, линии его рта наверняка такие же твердые и резкие, как и в тот далекий день, когда он выступал против самого старика Сэма Хьюстона, не желавшего, чтобы Техас стал еще одним штатом их новой страны. Сейчас человек, сидящий перед ней, одет как простой чиновник, но она хорошо знает, кем он был, — этого не скрыть.

— Хотите непременно увидеть губернатора, мэм? — спросил чиновник.

— О, право, не знаю, — нерешительно проговорила она. — Наверное, да…

И вдруг, повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, она начала рассказывать, что заставило ее прийти сюда, в резиденцию губернатора.

История ее звучала так просто и повседневно, что должна была вызвать скорее скуку, нежели жалость или сочувствие.

Это был рассказ о несчастливой семейной жизни с мужчиной, который представлял собой скопище грехов и пороков: грубый, беспутный,

расточительный, не чурающийся преступных дел, и при этом трусливый, не умеющий и не стремящийся прокормить свою семью… Он докатился до того, что ударил ее. За то, что осмелилась попросить у него денег на еду. Это произошло вчера. Но случалось и раньше… Вот, видите — ссадина здесь, у виска… И пьяница еще ко всему…

— Но я… — прибавила она после молчания, — я пришла не жаловаться на него. Просто вдруг подумала, что власти нашего штата мне помогут… хоть в чем-то. Я слышала, они так делают для семей первых поселенцев. Даже землю дают… или еще что… Мой отец, он как раз из тех… Сюда на голое место пришел, и воевал тут… и помогал… Но он ничего не получил. Да он ничего и не стал бы принимать — не такой был… Вот я и подумала: может, губернатор послушает, чего я скажу, и разберется. И пособит мне… Хоть в чем-то…

— Что ж, — сказал после некоторого раздумья Люк Стендифер, — это вполне возможно, мэм. Правда, большинство старых поселенцев получили уже разрешения на землю и прочие льготы, но все равно, мы посмотрим, что можно… А имя вашего отца…

— Амос Колвин, сэр.

— Господи! — вскричал Стендифер, вскакивая

с кресла. — Вы его дочь? Старины Амоса? Да мы с ним больше десяти лет дружили неразлейвода! И землю вместе охраняли, и гурты скота водили по всему Техасу! Я вас, помнится, видел как-то разок. Совсем еще малышкой вы были — лет семи. На рыженьком пони разъезжали. Туда-сюда, туда-сюда… Мы с Амосом, как сейчас помню, заехали тогда к вам домой прихватить чего-то. Тогда мы как раз за конокрадами гнались по следу… Ох ты, господи! Значит, вы его дочка и есть! Выросли-то как… А ваш отец никогда, случаем, не упоминал про меня: мол, знавал такого… Люка Стендифера, с кем не одну миску похлебки на военных дорогах съели?.. А?..

На бледном лице женщины появилась робкая улыбка.

— Мне сейчас кажется, — сказала она, — что он вообще мало о чем говорил, кроме как о тех днях, когда в охране штата служил. Про это все его рассказы были. А самая последняя история, если я правильно помню, о том, как индейцы его ранили, он лежал на земле и смерти ждал, а вы подползли к нему с фляжкой, а они…

Стендифер хлопнул ладонью по столу, расстегнул и снова застегнул пуговицу сюртука.

— Было, чего говорить… Всякое случалось,

— проговорил он скороговоркой. — Да быльем поросло… Чего теперь вспоминать… Вы лучше скажите, мэм, кто же этот поганец, простите за выражение, этот паршивец… словом, этот джентльмен, за кого вы замуж вышли?

— Его зовут Бентон Шарп.

Глава департамента С.С.И. грохнулся в кресло и застонал.

Святые угодники! Эта исхудавшая печальная женщина в поношенном черном платье, едва держащаяся на ногах от слабости, дочь его старинного друга и сподвижника, стала женой Бентона Шарпа! Прожженного мерзавца, на котором пробы негде ставить!.. Бентона Шарпа, отпетого картежника, вора, бандита с большой дороги… Известного во всех уголках штата как неисправимый преступник, знающий только один способ решения споров — выстрел из кольта. И надо отдать ему должное, это он здорово умеет… Люку Стендиферу оставалось лишь удивляться, как случилось, что такой ястреб соединил свою судьбу с маленькой беззащитной голубкой из гнезда его друга Амоса Колвина.

Миссис Шарп глубоко вздохнула.

— По правде сказать, мистер Стендифер, мы мало что знали о нем, а он умел, когда хотел,

стать и добрым, и любезным. Мы тогда жили в маленьком городишке, в Голиаде, он туда приехал зачем-то и остановился ненадолго. А я тогда была помоложе и выглядела, верно, получше, чем сейчас. Ну вот… В общем, он стал ухаживать за мной и, когда мы поженились, еще целый год, наверное, хорошо ко мне относился. Даже застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов в мою пользу… Да, так оно начиналось… Но последние полгода он делал все, чтобы сжить меня со света. И, чего греха таить, я часто думала, что так оно и лучше стало бы. Потом он остался без денег и обвинил во всем меня, стал требовать, чтобы я их ему достала. А тут как раз умер отец и оставил мне небольшой дом в Голиаде, и мой муж заставил меня продать дом и… В общем, я осталась, можно сказать, без крыши над головой. Я бы, может, пошла куда-нибудь работать, но здоровье у меня не слишком… А в последнее время, я слышала, он заимел деньги и обосновался в Сан-Антонио, и я поехала туда, и нашла его, и попросила немного помочь. Но он… — Она дотронулась до ссадины на виске. — Вот чем он ответил мне. И тогда я решилась приехать сюда, в Остин, и увидеть губернатора. Может, он чем-то… Я вспомнила, отец говорил когда-то, что ему полагается от штата ка-

кая-то пенсия или кусок земли. Только он ничего такого не получал…

Люк Стендифер опять резко отодвинул кресло и с каким-то удивлением окинул взглядом свой просторный хорошо обставленный кабинет.

— Все, о чем вы говорите, — негромко, но решительно сказал он, — может занять уйму времени, если начать чего-то добиваться. Адвокаты, законы, правила, справки, постановления, суды… Одуреешь от всего этого! И неизвестно, добьешься ли чего… — Он замолчал, задумался и потом, нахмурившись, продолжил: — Не уверен, что тот отдел, в котором я сейчас, может решать подобные вещи, но… я думаю… мне кажется… иногда одну попону можно, как говорится, при желании растянуть на двоих… Вот что, мэм. Вы посидите здесь, я выйду на минуту в соседнюю комнату и поговорю кое с кем. Ладно?..

Казначей штата Техас сидел в своем укрепленном убежище и читал газету. Дела на сегодняшний день были вроде уже сделаны, клерки подремывали за своими конторками в ожидании окончания тягомотного дня. Главный человек штата по Страхованию, Статистике и Истории вошел в огромную комнату и просунул голову в окошко казначейской крепости. Он давно знал

этого маленького юркого старичка с ослепительно-белыми усами и бородой.

— Привет, дядя Френк, — сказал он. — Много у тебя сегодня деньжат за душой?

Тот, по-молодому соскочив со стула, приблизился к окошку.

— Здорово, Люк, — ответил он с улыбкой. — От тебя не скрою: немногим больше миллиона долларов.

Стендифер присвистнул, в глазах у него засветилась надежда.

— Неплохо, старина. Ты не помнишь, часом, о таком человеке — Амос Колвин его звали. А, дядя Френк?

Последние два слова он повторил с почтением — так с незапамятных времен чуть ли не все техасцы называли своего казначея.

— Знал его, как же, — сразу ответил тот. — Хороший был человек. Один из первых наших поселенцев.

— Его дочь сидит сейчас у меня в кабинете, дядя Френк. Она без гроша. Ее муж — Бентон Шарп, паршивый койот и убийца. Только до сих пор на воле почему-то. Он оставил ее в полной нужде, наплевал в душу. Отец ее создавал этот штат, теперь черед штата помочь его дочери,

ты согласен с этим? Несколько тысяч долларов помогли бы ей вернуть свое жилище и жить в нем спокойно. Правительство штата не должно отказать ей, дядя Френк. Дай мне эти деньги, и я тотчас передам ей, и дело с концом. А формально оформим чуть позже.

Казначей в полном изумлении посмотрел на него.

— Ты в своем уме, Стендифер? — спросил он. — Разве не знаешь, что я не имею права выдавать ни одного цента из государственной казны без ордера инспектора?

Все только по документам.

Его собеседник выказал некоторую досаду.

— О чем разговор, дядя Френк? Я выдам тебе расписку. Прямо сейчас! Разве я посторонний человек здесь? Для какого черта меня поставили на эту работу, если мне не доверяют? Если мое Страхование и прочие дела ничего не значат? Разве Статистика не подтверждает, что Амос Колвин действительно из первых поселенцев, благодаря кому мы живем сейчас на этой земле? И разве История не говорит о том же самом — о том, что люди отдавали силы, кровь и жизнь за эту землю, и одним из них, и не худшим, был Амос Колвин? А если ни Статистика, ни История (о Страховании я

уж не говорю) не могут помочь дочери покойного пионера-поселенца получить то, что положено ее отцу, то грош им цена — этим С.С.И., — и я не хочу ими командовать и буду требовать на очередной сессии нашего Законодательного собрания, чтобы их упразднили ко всем чертям! И меня тоже! А если губернатор, или какой инспектор, или наш дворник будут против, я попрошу всех наших жителей с этим разобраться — и посмотрим, кто окажется прав... — Люк Стендифер остановился и перевел дух. — Ладно, дядя Френк, — добавил он примирительно, — ежели так требуется, я подпишу все, что надо, а ты выдай, пожалуйста, деньги без задержки для этой бедняги...

Казначей слушал все это по-прежнему с удивлением, но и сочувственно. И, когда отгремели раскаты голоса главы одного из департаментов и любопытствующие клерки опустили головы к своим конторкам, дядя Френк мягко произнес:

— Ну а теперь, Стендифер, послушай меня. Думаю, ты знаешь и веришь, что я хотел бы помочь бедной женщине. Однако подумай сам. Ни один цент из казны не должен уходить без ведома Законодательного собрания. Вот она, какая штука, ты не хуже меня это понимаешь. А если уходит, это незаконно. И значит, что? Значит, эта леди

должна сама написать прошение в Законода…

— К черту это собрание! — рявкнул Стендифер и выдернул голову из окошка.

Дядя Френк не обиделся.

— Погоди, — сказал он. — От себя лично я готов дать этой женщине сто долларов. На дополнительные расходы.

С этими словами казначей полез в карман за бумажником.

— Не надо, дядя Френк, — остановил его Стендифер. — Они помогут ей как мертвому припарки. Да она и не просит милостыни, ей нужно другое: возможность нормально жить дальше. Теперь я сам займусь ее судьбой, черт меня дери! Но я на всю жизнь запомню, какой завалящей, ни к чему не годной лавочкой поручили мне заведовать. Пользы во всех этих двух «С» и одного «И» не больше, чем в оторванных листках календаря! Но пока я еще числюсь начальником департамента, он поможет дочери Амоса Колвина! Не будь я Люк Стендифер!..

В свой кабинет он вернулся не то чтобы злой и возмущенный, нет — скорее задумчивый и углубленный в себя. Он молча уселся и несколько раз хлопнул крышкой чернильницы, прежде чем заговорить.

— Почему вы не разводитесь с вашим мужем, миссис Шарп? — спросил он.

— У меня нет на это средств, — ответила она.

Снова стук крышки от чернильницы.

— У нас, в нашем учреждении, тоже нет средств, — официальным тоном сообщил он ей. — Но все равно, мэм, вы правильно поступили, что пришли сюда, и мы сделаем все, чтобы помочь вам… Вы говорили, кажется… где сейчас ваш супруг?

— Теперь он живет в Сан-Антонио. — Она снова подняла руку к лицу. — Вчера он, по крайней мере, был там.

Внезапно Стендифер коснулся руки увядшей молодой женщины и совершенно другим тоном, искренним и сердечным, каким разговаривал обычно с близкими друзьями и однокашниками, произнес:

— Ваше имя Аманда? Я не ошибаюсь?

— Да, сэр.

— Я не мог ошибиться, девочка. Твой отец часто произносил его в разговоре. Так вот, Аманда. Перед тобой лучший друг твоего отца, а сейчас еще и глава очень важного департамента в правительстве штата Техас. И он, то есть я обязательно помогу тебе. И он, то есть я, то есть — старый ковбой и рейнджер, кого не раз твой отец выру-

чал в трудную минуту и кто отвечал ему тем же, хочет сейчас спросить тебя, Аманда, а ты должна ответить честно и прямо: есть у тебя деньги на завтрашний день и еще на два или три дня?

Ее бледное лицо слегка порозовело.

— На несколько дней у меня хватит, сэр… Спасибо, сэр.

— Прекрасно. Тогда слушай меня. Отправляйся сейчас туда, где остановилась, и сиди там спокойно. А послезавтра к четырем дня приходи опять сюда. К этому времени, полагаю, вопрос будет решен. — Он призадумался и потом спросил: — Так, говоришь, твой Бентон Шарп застраховал свою драгоценную жизнь на пять тысяч? А страховые взносы он платил, не знаешь?

— Кажется, внес полгода назад какую-то сумму. Я захватила с собой страховой полис.

— Это хорошо. Такие бумажки нелишне иметь с собой. Могут пригодиться…

Вскоре после ее ухода Люк Стендифер направился из своего офиса в небольшую гостиницу, где сейчас жил, и перед тем как зайти в номер, изучил висящее у дежурной расписание поездов. Удовлетворенно кивнув, он проследовал к себе, но долго отдыхать не стал. Не прошло и получаса, как он снова надел жилетку, сюртук, а перед

этим приладил на левое плечо ремень с кобурой, которая не пустовала. В нее он вложил коротко-ствольный пистолет сорок четвертого калибра.

Вооружившись подобным образом, он покинул свой номер и неспешной походкой отправился на вокзал, где взял билет до Сан-Антонио на поезд, который собирался отойти от перрона через двадцать минут.

На следующее утро в местной газете «Сан-Антонио экспресс» можно было прочитать следующее сообщение:

Бентон Шарп нашел равноценного соперника

Известный на юго-западе Техаса бандит и налетчик убит вчера вечером в ресторане «Золотая колоннада» метким выстрелом из револьвера. Пожилой чиновник из правительственного учреждения в порядке самозащиты вынужден был применить огнестрельное оружие, проявив при этом незаурядную смелость и мастерство.

Все это произошло около одиннадцати часов. Бентон Шарп с двумя дружками вошел в ресторанный зал и уселся за столик. Как водится, он был нетрезв и держался нагло и вызывающе. Вскоре после его появления туда же вошел приличный немолодой джентльмен, в ком некоторые узна-

ли Люка Стендифера, не так давно занявшего должность главы одного из департаментов в правительстве штата.

Мистер Стендифер хотел сесть за столик неподалеку от места, где находился Шарп с приятелями, и, сняв шляпу и вешая ее на крючок на стене, случайно уронил ее на голову Шарпа, сказав при этом ему что-то: видимо, принеся извинения.

Однако тот, находясь уже в подпитии, ответил злобной руганью. Мистер Стендифер пытался его успокоить, но тщетно — тот бушевал все сильнее. Тогда, как рассказывают свидетели, мистер Стендифер приблизился к Шарпу почти вплотную и что-то спокойно проговорил ему почти на ухо. Наверное, опять извинился, но его слов никто не расслышал. Он сказал и отошел к своему столику и остановился там, расстегнув сюртук и сложив руки на груди. Но Шарп не унимался. Изрыгая дикую брань, он вскочил со стула и выхватил оружие, которым владел с безукоризненным мастерством, что стало уже причиной смерти чуть ли не дюжины людей.

Но тут, опять же по словам многочисленных свидетелей, противник Шарпа показал еще большее — если только это возможно — мастерство

и почти незаметным движением с неимоверной быстротой произвел выстрел из своего «сорок четвертого калибра», поразив скандалиста прямо в сердце. Впрочем, подобная реакция мистера Стендифера не так удивительна, если знать, что в прошлом он был борец за свободу нашего штата и рейнджер.

Думаем, нет оснований полагать, что мистеру Стендиферу будут предъявлены какие-либо серьезные обвинения, поскольку все свидетели сходятся во мнении, что его действия обусловлены исключительно необходимостью самозащиты.

Когда миссис Аманда Шарп в назначенное время появилась в кабинете главы департамента Страхования, Статистики и Истории, означенный джентльмен с удовольствием вкушал румяное яблоко. Отложив его в сторону, он заговорил вполне официальным тоном:

— Знаю, о чем вы хотите спросить, мэм. Но, поверьте, у меня не было другого выхода: иначе пуля сидела бы во мне… Мистер Кауфман, — обратился он к находящемуся там же старому клерку, — вы уже проверили у леди документы на страховку?

— Там все в ажуре, — сказал тот. — Выплата производится в течение десяти дней…

Аманда Шарп уже собралась уходить. Стендифер видел это и не пытался ее задерживать. Он считал, что отдых, время и некоторое количество денег помогут ей решить свою судьбу.

Однако, когда она стояла в дверях, он позволил себе негромко пробурчать:

— И все-таки, черт возьми, департамент Страхования, Статистики и Истории сумел кое-что сделать для дочери моего доброго друга. Конечно, Статистика тут была ни при чем, История — тоже дала слабину, но зато Страхование… Выстрелило прямо в десятку!

Орден Золотого Колечка

Автобус «Обозрение Нью-Йорка» готовился тронуться. Вежливый кондуктор рассадил веселых обозревателей на верхушке. Тротуар был запружен зеваками, собравшимися посмотреть на зевак. Так подтвердился еще раз закон природы, гласящий, что всякая тварь на сей земле является добычей другой твари.

Человек с рупором высоко вознес свое орудие пытки. Машина огромного автобуса забилась и запыхтела, как сердце у заядлого кофепийцы. Обозреватели на верхушке нервно ухватились за поручни. Старая дама из Вальпараисо, Индиана, закричала, что она хочет на сушу. Но прежде чем колеса начнут вращаться, выслушайте краткое предисловие, которое укажет вам кое-что интересное в турне, предпринятом для обозрения жизни.

Быстро и с состраданием узнает белый человек белого человека в африканских джунглях; внезапно и крепко рождается духовная связь между матерью и дитятей; без колебаний бросятся хозяин и собака в неширокий пролив, отделяющий

их друг от друга; неизмеримо быстро проносятся краткие вести между влюбленными. Но все эти примеры покажутся вам примерами медленного и слепого обмена симпатиями и мыслями в сравнении с примером, являемым автобусом «Обозрение Нью-Йорка». Вы узнаете (если до сих пор не знали), что два человеческих существа только тогда поистине быстро и глубоко запечатлеваются в сердце и душе друг друга, когда сидят друг против дружки.

Зазвенел гонг, автобус величественно тронулся с места, и образовательное путешествие на сухопутном корабле «Глазей на столицу мира» началось.

На заднем, самом высоком месте сидели Джеймс Виллиамс из Кловерделя, в Миссури, и со вчерашнего дня миссис Джеймс Виллиамс — новобрачная.

Наберите, друг наборщик, черненьким это последнее слово — слово из слов в откровении жизни и любви. Запах цветов, взятка пчелы, первый плеск вешних вод, увертюра жаворонка, шоколадка на самой верхушке пирога творения — вот что такое новобрачная. Священна жена, почтенна матерь, соблазнительна дачная девица, но новобрачная — чек на государственный банк

среди свадебных подарков, которые боги посылают человеку, берущему себе в супруги смертную.

Автобус поднимался по Бродвею. На мостике этого крейсера стоял капитан и в рупор провозглашал пассажирам дива-дивные большого города. С открытыми ртами, развесив уши, внимали они описанию чудес, развертывавшихся перед их глазами. Смущенные, возбужденные осуществлением мечты, взлелеянной ими в провинции, они пробовали отвечать глазами на антифоны рупора. В величественном стрельчатом соборе они видели особняк Вандербильта, в переполненном, как улей, массиве Центрального вокзала они с удивлением обнаруживали скромную хижину Расса Сейджа, в горах строительного мусора, навороченных по пути прокладки канализации, они лицезрели холмы Гудзона.

Но я попрошу вас обратить внимание на миссис Джеймс Виллиамс — вчера еще она была Хетти Чалмерс, красоткой Кловерделя. Светло-голубой — цвет новобрачной; она имеет на него право. И этот цвет почтила своим выбором миссис Виллиамс. Бутон розы охотно уступил ее щечкам от своего свежего розового, а что касается фиалок… ее глаза хороши и так, как они есть… не извольте беспокоиться, фиалка. Бесполезная полоска бе-

лой кисеи — или белого шифона, или, может, это был тюль — завязывалась у нее под подбородком, прикидываясь, что удерживает на месте ее шляпу. Но вы знаете так же хорошо, как и я, что это делали шпильки, а не она.

И на лице миссис Джеймс Виллиамс была собрана маленькая хрестоматия из лучших в мире мыслей в трех томах. Том I содержал в себе мысль, что Джеймс Виллиамс — прекрасный человек. Том II заключал в себе этюд о мире, доказывающий, что мир — прелестное местечко. Том III скрывал в себе убеждение, что, восседая на самом высоком месте в автобусе «Обозрение Нью-Йорка», они ехали с головокружительной и побивающей все рекорды быстротой.

Джеймсу Виллиамсу, как вы, наверное, догадались, сравнялось около двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен, силен, добродушен, в приподнятом настроении. Он совершал свое свадебное путешествие.

Дорогая фея, будь любезна, аннулируй все эти ордера и на богатство, и на автомобили в сорок лошадиных сил, и на славу, и на новые волосы на лысой голове, и на пост председателя спортивного клуба. Вместо всего этого поверни чуточку назад колесо времени и дай нам кусочек… ну,

самую чуточку… нашей свадебной поездки. Ну, хоть часок, милая фея, чтобы мы могли вспомнить, как выглядели трава, и тополя, и этот бант у нее под подбородком, — даже если не эти ленты в действительности держали ее шляпу, а шпильки. Не можешь, феечка? Ну, что же делать. Тогда поспешим с автомобилем в сорок лошадиных сил и с акциями «Стандарт-Ойла».

Как раз против миссис Виллиамс сидела девушка в широкой коричневой жакетке и соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Только во сне и у модисток, увы, розы и виноград произрастают на одном и том же стебле. Эта девушка смотрела большими голубыми глазами, такими доверчивыми, когда рупор провозглашал свою сентенцию, будто мы все должны чрезвычайно интересоваться миллионерами. В перерывах между громами объяснителя она укрывалась под защиту философии Эпиктета — в форме пепсиновой жевательной мастики.

Направо от девушки сидел молодой человек лет двадцати четырех. Он был хорошо сложен, энергичен и добродушен, но если его приметы подходят как будто бы к приметам Джеймса Виллиамса, то заметьте, что в нем-то не было решительно ничего провинциального. Этот че-

ловек принадлежал людным улицам и острым углам. Он пристально смотрел кругом, словно завидовал, что те, на которых он смотрел вниз со своей насести, попирают ногами привычный ему асфальт.

Пока человек с рупором описывает чудеса какого-то знаменитого отеля, позвольте мне шепнуть вам одно словечко: держитесь крепче. Ибо сейчас произойдут такие дела… Но великий город равнодушно сомкнется над нами.

Девушка в коричневом жакете повернулась, чтобы посмотреть на пассажиров, сидевших за ее спиной, на последнем и самом высоком месте. Других пассажиров она уже рассмотрела, а место позади нее было еще для нее запретной комнатой в замке Синей Бороды.

Ее глаза встретились с глазами миссис Джеймс Виллиамс. Часы не успели два раза сделать тик-так, как они обменялись уже своим жизненным опытом, своими биографиями, надеждами и фантазиями. И все это, имейте в виду, одними глазами и скорее, чем двое мужчин могли бы решить, что им сделать — вытащить ножи или попросить: «Позвольте прикурить».

Новобрачная наклонилась вперед. Она и девушка быстро заговорили. Их языки двигались

быстро, как у змей — каковому сравнению продолжения не будет. Две улыбки и несколько жарких кивков завершили конференцию.

Но вот на широком безлюдном проспекте человек в темном костюме остановился на пути автобуса и поднял руку.

С тротуара другой человек побежал на соединение с ним.

Девушка в плодородной шляпе быстро схватила своего спутника за руку и что-то прошептала ему на ухо. Молодой человек проявил чудеса ловкости. Низко наклонившись, он соскользнул с крыши автобуса, повис на мгновение в воздухе, держась одной рукой за край его крыши, и исчез. Несколько пассажиров заметили его проделку, посмотрели на него с удивлением, но воздержались от комментариев. Кто его знает, как тут принято слезать с автобусов в этом ошеломляющем городе! Беглец увернулся от наехавшего на него кеба и уплыл, как зеленый листочек на речке, между фурой для перевозки мебели и фургоном цветочного магазина.

Девушка в коричневом жакете еще раз обернулась и посмотрела в глаза миссис Виллиамс. Потом она отвернулась и сидела смирно. Автобус остановился, ибо под пиджаком одетого в граж-

данское платье человека сверкнула бляха.

— Какая вас муха укусила? — спросил человек с рупором, изменив своему высокопарному описательному стилю и переходя на простой английский язык.

— Подержите-ка его на якоре минутку, — приказал полисмен. — У вас тут на борту один человечек, которого мы ищем, громила из Филадельфии — Розовый МакГайр. Вот он сидит на заднем сиденье. Посмотри-ка сбоку, Донован.

Донован подошел к заднему колесу и посмотрел вверх на Джеймса Виллиамса.

— Ну, слезай, милейший, — сказал он добродушно. — Мы тебя сцапали. Назад, назад, братец, в каталажку. Недурная, однако, идейка, спрятаться на верхушке автобуса! Надо будет иметь это в виду.

Через рупор дошел совет кондуктора:

— Вы бы лучше слезли, сэр, и объяснились. Нам ведь надо продолжать турне.

Джеймс Виллиамс был человек хладнокровный. С подобающей медлительностью он пробил себе дорогу через толщу пассажиров к лесенке.

Его жена последовала за ним, но сначала она повернула голову и увидела, что сбежавший молодой человек выскользнул из-за фуры для

перевозки мебели и прилип к дереву на краю маленького садика, шагах в пятидесяти от автобуса.

Спустившись на землю, Джеймс Виллиамс с улыбкой посмотрел на своих обвинителей. Он думал, как будут хохотать его друзья в Кловерделе, когда он расскажет им, как его чуть было не приняли за взломщика в Нью-Йорке. Автобус дожидался. Уж это ли не интересное зрелище?

— Я Джеймс Виллиамс, из Кловерделя, в Миссури, — сказал он мягко, чтоб не очень уж огорчить полицейских. — У меня есть при себе письма, которые вам докажут…

— Вы пойдете с нами, — заявил человек в гражданском платье. — Приметы Розового МакГайра сидят на вас, как фланелевая фуфайка, выстиранная в горячей воде. Один из детективов увидел вас на верхушке автобуса в Центральном парке и телефонировал по линии, чтобы снять вас. Вы объясните в участке.

Жена Джеймса Виллиамса — новобрачная — посмотрела ему в лицо со странным мягким блеском в глазах и с покрывшимися краской щеками, — посмотрела ему в глаза и сказала:

— Иди с ними без скандала, Розовый. Может быть, тебе удастся там выгородить себя.

И, когда «Глазей на столицу мира» двинулся вперед, она обернулась и послала воздушный поцелуй — его жена послала воздушный поцелуй! — кому-то там на верхушке автобуса.

— Ваша девушка дала вам хороший совет, МакГайр, — сказал Донован. — Ну, пошли!

Но тут безумие снизошло на Джеймса Виллиамса и охватило его. Он быстрым движением сдвинул шляпу на затылок.

— Моя жена, по-видимому, думает, что я взломщик, — сказал он. — Я никогда не слыхал раньше, что она сумасшедшая. Стало быть, сумасшедший я. А если я сумасшедший, мне ничего не будет, если я вас, двух дураков, убью в безумии моем.

И он так упорно и так храбро сопротивлялся аресту, что пришлось вызвать свистками фараонов, а потом и резервы, чтобы разогнать тысячную толпу совершенно очарованных этим зрелищем зрителей.

В участке сержант спросил, как его фамилия.

— МакДудль Розовый, по прозванию Розовый Зверюга, — ответил Джеймс Виллиамс. — Кажется, так, не помню точно. Но это факт, что я громила. Не забудьте. И вы можете прибавить, что понадобилось пять фараонов, чтобы взять Розового. Я очень хотел бы, чтобы вы не забыли

отметить это в протоколе.

Через час прибыла миссис Джеймс Виллиамс с дядей Томасом с Мэдисон-авеню, во внушающем уважение автомобиле и с доказательствами полнейшей невиновности героя — совсем как в третьем акте драмы, написанной для рекламы автомобильной марки.

После того как полиция сделала Джеймсу Виллиамсу строгий выговор за имитацию подлинного громилы и отпустила его со всеми извинениями, на которые способна полиция, миссис Виллиамс сама арестовала его и утащила в уголок в парке.

Джеймс Виллиамс смотрел на нее одним глазом. Он всегда утверждал впоследствии, что Донован подбил ему другой, воспользовавшись тем, что кто-то схватил и держал его правую руку.

— Если ты можешь объяснить, — сказал он довольно сухо, — почему ты…

— Милый, — прервала его жена, — послушай. Это для тебя только час мучения и испытаний. Я сделала это для нее — я говорю о девушке, которая заговорила со мной в автобусе… Я была так счастлива, Джим, так счастлива с тобой, что не в состоянии отказать в счастье другой. Джим,

они только сегодня повенчались — те двое. И я хотела дать ему возможность бежать. Пока они боролись с тобой, я видела, как он выскользнул из-за дерева, за которым спрятался, и скрылся в саду. Это все. Милый, я не могла не сделать этого.

Таким образом, одна сестра ордена Золотого Колечка узнала другую, озаренную волшебным светом, который вспыхивает только однажды и ненадолго для каждой из них. Рис, которым обсыпают новобрачных, и шелковые банты невесты говорят о свадьбе мужчине. Но новобрачная познает новобрачную с одного беглого взгляда. И между ними быстро пробегает волна симпатии, и они сообщаются между собой на языке, неведомом ни мужчинам, ни вдовам.

Атавизм Джона-Тома Малого Медведя

Я увидел, что в комнате Джефа Питерса, над аптекарским магазином, горит свет. Я поспешил туда, потому что думал, что Джефа нет в городе. Это человек с сотней профессий, и всегда у него найдется, если он только захочет, что порассказать про каждую из них.

Я застал Джефа за укладкой чемодана: он собирался прокатиться во Флориду поглядеть апельсиновую рощу, на которую, за месяц до того, он променял свою золотую заявку на Юконе. Он ногой толкнул ко мне стул, все с той же полной юмора глубокомысленной улыбкой на своем морщинистом лице. Восемь месяцев прошло со времени нашего последнего свидания, но он поздоровался со мной так, точно мы виделись каждый день. Для Джефа время — слуга, а наш материк — большая площадь, которую он пересекает, чтобы попасть в тот или другой из многочисленных своих путей.

Сначала наша беседа вертелась вокруг да около всяких бесполезных предметов, и наконец мы

дошли до тревожного вопроса о Филиппинах.

— Все эти экзотические племена, — сказал Джеф, — скакали бы куда прытче под собственными жокеями. Экзотический человек сам знает, что ему нужно. Ему нужен сезонный билет на петушиный бой да пара патентованных кошек, чтобы влезать на хлебные деревья. А англосакс хочет научить его спрягать глаголы и носить подтяжки. Он будет более счастлив по-своему.

Я был возмущен.

— А образование, братец? — сказал я. — Ведь это лозунг наших дней. Со временем эти люди поднимутся до нашего уровня цивилизации. Посмотри, что сделало образование для индейцев.

— Э-ге-ге! — воскликнул Джеф, закуривая трубку (это был хороший признак). — Да! Индейцы! Я и смотрю. Я именно смотрю на краснокожего как на образец культуртрегера[98]. Он совершенно такой же, как весь темнокожий люд. Из него не сделать англосакса. Рассказывал я тебе когда-нибудь, как мой приятель Джон-Том Малый Медведь однажды набрал полный рот всякой там культуры, искусства и образования и выплюнул

---

[98] Примечания: 98

Культуртрегер (*нем.* Kulturträger — носитель культуры) — ироническое название человека (обычно колонизатора), прикрывающего свои корыстные цели маской распространения культуры, просвещения.

все это назад туда, где Колумб был еще младенцем? Нет, не рассказывал? Ну, так вот слушай…

— Джон-Том Малый Медведь был образованный индеец из племени чероки[99]; мы с ним считались большими друзьями, когда я жил на индейской территории. Он окончил один из этих футбольных колледжей в восточных штатах, которые с таким успехом научили индейцев употреблять сковородку, вместо того чтобы сжигать своих жертв на костре. Как англосакс Джон-Том был с медно-красными подпалинами. Как индеец — это был один из самых белых экземпляров, которых я когда-либо знал. Как чероки — он джентльмен высшей марки. Как стипендиат науки он был здорово бестолков в младших классах.

Мы с Джоном-Томом сошлись и начали придумывать, какое бы это нам затеять потихоньку приличное мошенничество на законных основаниях, не возбуждая глупости полиции или зависти более крупных артелей. У нас обоих было около пятисот долларов. И мы, как все порядочные капиталисты, жаждали их увеличить.

И вот выработали мы проект, солидный, как брошюра о золотых приисках, и выгодный, как

---

[99] Примечания: 99

Чероки — индейский народ в США, живут в резервациях штатов Северная Каролина и Оклахома.

ограбление церкви. И не прошло и месяца, как мы въезжали в Канзас на паре быстрых лошадок в красном фургоне для пикников европейского образца. Джон-Том — вождь День-Ги-Ва-Ши-Бу-Дут-На-Ши, знаменитый индейский знахарь и Сахем Меми Племен. Мистер Питерс — управляющий делами и компаньон. Нам нужен был еще человек; мы нашли его опирающимся спиной на отдел спроса и предложения труда в газетах. У этого Бинкли обнаружилось болезненное пристрастие к шекспировским ролям, и он бредил о двухстах рядовых представлениях на нью-йоркской сцене. Но он понимал, что на Шекспире далеко не уедешь, и потому согласился уехать на наших лошадках, в фургоне-аптеке. Кроме роли Ричарда III он исполнял также двадцать семь негритянских песенок голосом и на банджо и соглашался стряпать и смотреть за лошадьми. У нас обнаружился целый ряд отличных способов для выкачивания у публики денег. Во-первых, нашлось волшебное мыло, удалявшее из платья пятна и четвертаки. Было еще у нас знаменитое индейское лекарство Во-Дич-Ка, приготовлявшееся из одного растения в прериях. Растение это Великий Дух открыл во время сна своим любимцам — знахарям Маккарти и Зильберштейну,

фабрикантам бутылок в Чикаго. И наконец, была у нас довольно подлая система чистки карманов канзасцев, благодаря которой всем мануфактурным лавкам настала крышка.

Обратите внимание! Пара шелковых подвязок, сонник, дюжина английских булавок, золотая коронка на зуб, роман «В дни расцвета рыцарства» — все это, завернутое в платок из настоящего японского бумажного шелка, передавалось мистером Питерсом прекрасным дамам в обмен на ничтожную сумму в пятьдесят центов, в то время как профессор Бинкли занимал их трехминутной схваткой со своим банджо.

Мы здорово поживились. Мы мирно ограбили весь штат и вполне оправдали его название «окровавленного Канзаса». Джон-Том Малый Медведь, в полном наряде индейского вождя, отвлекал толпы посетителей от танцулек и митингов.

В футбольном колледже на Востоке он приобрел кучу всякой риторики и научился калистенике и софистике, и когда он стоял в красном фургоне и красноречиво толковал фермерам про озноблення и гиперэстезию черепа, то бедный Джеф прямо не успевал выдавать им пузырьки с индейским лекарством.

Однажды ночью мы расположились на окраине небольшого города к западу от Салины. Мы всегда останавливались на берегу какого-нибудь ручья и ставили там палатку. Иногда у нас неожиданно выходило все лекарство, и тогда Вождю День-Ги-Ва-Ши-Бу-Дут-На-Ши снился сон, в котором Великий Маниту приказывал ему долить несколько бутылок Во-Дич-Ки, где окажется удобнее. Было около десяти часов, и мы только что закончили обработку городка. Я сидел в палатке с фонарем, подсчитывая доходы за день. Джон-Том, еще в своем индейском наряде, сидел у огня и жарил великолепный кусочек филея, а профессор кончал свое наводящее ужас представление распрягания лошадей.

Вдруг из кустов раздается этак: пук! — точно из хлопушки; Джон-Том что-то ворчит и вынимает у себя из-за пазухи маленькую пулю, вдавившуюся ему в ключицу. Джон-Том тотчас же ныряет в сторону этого фейерверка и возвращается, таща за шиворот мальчишку лет девяти или десяти, в вельветовом костюме, с маленьким никелированным ружьем размером не больше вечного пера.

— Эй, ты, чертенок, — говорит Джон-Том, — с чего это ты вздумал палить из своей митра-

льезы?[100] Ты мог кому-нибудь в глаз попасть. Иди-ка сюда, Джеф, и присмотри за мясом. Не давай ему подгореть, а я пока учиню допрос этому дьяволенку с его гороховым ружьем.

— Презренный краснокожий, — говорит мальчишка, будто цитируя любимого писателя, — дерзни только сжечь меня на костре, и бледнолицые сметут тебя с лица прерий, как… как не знаю что. Ну, а теперь пусти меня, а не то я маме скажу.

Джон-Том сажает мальчишку на складной стул, а сам садится рядом.

— Ну-ка, скажи великому вождю, — говорит он, — чего ради это ты вздумал всаживать пули в организм своему дяде Джону? Ты не знал, что ли, что эта штука у тебя заряжена?

— А вы индеец? — говорит мальчонок, хитро глядя на оленью шкуру и орлиные перья Джона-Тома.

— Да, — говорит Джон-Том.

— Ну, так вот по этому самому, — отвечает мальчик, болтая ногами.

У меня чуть не подгорел филей, так меня заинтересовала смелость малыша.

---

[100] Примечания: 100

Митральеза (*фр*. mitrailleuse) — картечница — старинное многоствольное орудие для непрерывной стрельбы картечью.

— Ого, — говорит Джон-Том. — Понимаю. Ты — мальчик-Мститель. И ты поклялся очистить страну от диких краснокожих. Так, что ли, сынок, а?

Малыш слегка кивнул головой и приуныл. Неприлично было вырывать тайну у него из груди, когда еще ни один воин не успел пасть от пули из его игрушечного ружья.

— Ну, чертенок, а теперь скажи нам, где вигвам, — говорит Джон-Том, — в котором ты живешь? Твоя мама будет беспокоиться, что ты так поздно не возвращаешься. Скажи мне, и я отведу тебя домой.

Мальчик ухмыляется.

— Вряд ли, — говорит он. — Я живу, может, за тысячу миль отсюда. — И он вертит рукой, показывая на горизонт. — Я приехал на поезде, — говорит он, — один. Я вылез здесь, потому что кондуктор сказал, что мой билет перестал годиться. — Он вдруг подозрительно взглянул на Джона-Тома. — Пари держу, что вы не индеец, — говорит он. — Вы говорите не так, как индейцы. Вы похожи на индейца, но они умеют сказать только: «Умри, бледнолицый!» Слушайте, я уверен, что вы — один из этих поддельных индейцев, которые продают лекарство на улицах. Я как-то

раз видел одного такого в Куинси.

— Нечего тебе голову ломать, — говорит Джон-Том, — кто я такой: картинка на сигарной коробке или карикатура. Совету предстоит решить совсем другой вопрос — как быть с тобой. Ты убежал из дому. Ты начитался книжек о приключениях. Ты осрамил ремесло мальчиков-Мстителей, пытаясь убить мирного индейца, даже не сказав при этом: «Умри, краснокожая собака!» Ты пересек следы мальчика-Мстителя девятнадцать лишних раз. Что ты хотел этим доказать?

Мальчик на минуту задумался.

— Я, наверное, ошибся, — говорит он. — Мне требовалось ехать дальше на запад. Там, в каньонах, еще водятся дикие. — И маленький негодяй протягивает Джону-Тому руку. — Простите меня, сэр, — говорит он, — за то, что я в вас выстрелил. Надеюсь, что вам было не очень больно. Но вам нужно быть осторожнее. Когда бойскаут видит индейца в боевом наряде, его винтовка не может молчать.

Малый Медведь захохотал, закончив громким «у-у-у!», подхватил малыша и посадил его себе на плечо; а беглец начинает трогать его бахрому и орлиные перья и преисполняется радости белого человека, получившего возможность колотить

пятками низшую расу. Ясно, что с этого момента Малый Медведь и ребенок стали друзьями. Маленький ренегат уже выкурил трубку мира с дикарем, и по его глазам видно, что он мечтает о томагавке и о паре мокасин маленького размера.

Мы ужинаем в палатке. Юнец смотрит на меня и на профессора как на рядовых воинов-статистов. Когда он наконец уселся на ящике из-под Во-Дич-Ки, и край стола подпирает ему подбородок, и рот у него полон бифштекса, Малый Медведь спрашивает, как его зовут.

— Рой, — говорит малыш насыщенным филеем голосом. Но когда его спрашивают, как дальше и какой его адрес, он качает головой. — Ну нет, — говорит он. — Вы меня отошлете обратно. А я хочу остаться у вас. Мне нравится эта жизнь в палатке. Дома мы с товарищами тоже разбили себе лагерь на заднем дворе. Меня звали Рой Красный Волк. Дайте мне еще кусок филея, пожалуйста.

Пришлось нам оставить малыша у себя. Мы знали, что где-то из-за него идет суматоха и что мама, и дядя Гарри, и тетя Джэн, и начальник полиции — все страстно ищут его; но он не сказал нам больше ни слова. Через два дня он уже был маскоттой Великого Медицинского Института, и каждый из нас таил скрытую надежду, что

владельцы не появятся на сцене. Когда в красном фургоне происходила торговля, он принимал в ней участие и передавал мистеру Питерсу склянки с довольным и гордым видом принца, отказавшегося от короны ценою в 200 долларов ради выскочки с приданым в миллион. Как-то раз Джон-Том спросил его про его папу.

— У меня нет папы, — говорит он, — он убежал и бросил нас. Мама из-за него плакала. Тетя Люси говорит, что он потерял образ.

— Какой образ? — спрашивает кто-то из нас.

— Образ, — говорит малыш, — не помню, какой-то образ… человеческий, кажется, она сказала, образ… Я не знаю, что это.

Джон-Том стоял за то, чтобы наложить на него наше клеймо и одеть его, как маленького вождя, в ожерелье из раковин и бус. Я наложил свое вето.

— Кто-то — я так смотрю на дело — потерял этого малыша; он, может быть, кому-то нужен. Дай-ка я пущу в ход военную хитрость и попробую выманить у него его визитную карточку.

И вот я вечером подхожу к мистеру Рою Три Звездочки — а он у костра сидит — и бросаю на него презрительный и уничтожающий взгляд.

— Шникенвитцель! — говорю я, будто меня от этого слова тошнит… Шникенвитцель! Фуй! Не

согласился бы я называться Шникенвитцелем.

— Что с вами, Джеф? — говорит малыш, широко раскрыв глаза.

— Шникенвитцель! — повторяю я, прямо-таки выплюнув это слово. — Я сегодня видел одного человека из твоего города, и он сказал мне твою фамилию. Не удивляюсь, что ты хотел ее скрыть. Шникенвитцель. Ну и фамилия! Тьфу!

— Слушайте, вы! — говорит мальчик. — Что с вами? Меня совсем не так зовут. Моя фамилия Коньерс. Что с вами?

— И это еще не все, — быстро продолжал я, поддерживая его на точке кипения и не давая ему времени одуматься. — Мы-то воображали, что ты из хорошей, зажиточной семьи. Вот нас трое: мистер Малый Медведь, вождь, имеющий право на ношение девяти хвостов выдры на своем воскресном одеяле, профессор Бинкли, который играет Шекспира и на банджо, и я, у которого лежат сотни долларов в жестянке в фургоне: мы должны быть очень осторожны в выборе знакомства. А этот человек мне сказал, что твои родные живут в каком-то Курином переулке, где даже нет тротуаров, и что козы едят со стола вместе с вами.

Малыш чуть не разревелся.

— Неправда! — сказал он. — Вы… он сам не зна-

ет, что говорит. Мы живем на Тополевой аллее. Я вовсе не вожу компании с козами. Что с вами?

— Аллея тополей? — иронически говорю я. — Тополевая аллея. Ну и улица, тоже нечего сказать! Два квартала длины, а потом сразу — овраг. Можно свободно перебросить бочонок с гвоздями с одного конца в другой. Молчал бы лучше о такой аллее.

— Она… она тянется на целые мили, — говорит малыш. — Мы живем в 862-м номере, и за нами еще куча домов. Что-с… надоели вы мне, Джеф!

— Ну-ну, ладно, — говорю я. — Вероятно, тот человек ошибся. Может быть, он про какого-нибудь другого мальчика говорил. Дай мне только поймать его, уж я его проучу, чтоб он не ходил да не клеветал бы на людей.

А после ужина я отправился в город и протелеграфировал миссис Коньерс, 862, Тополевая аллея, г. Куинси, штат Иллинойс, что ребенок у нас, цел и невредим, и будет храниться впредь до получения дальнейших инструкций. Через два часа приходит ответ с просьбой держать его покрепче и с обещанием, что она выедет за ним со следующим поездом.

Следующий поезд должен был прибыть на другой день в шесть вечера. Я и Джон-Том с малышом

оказались на вокзале. Но напрасно вы стали бы искать великого вождя День-Ги-Ва-Ши-Бу-Дут-На-Ши — его нет, хоть все прерии обыщите. Вместо него стоит мистер Малый Медведь в человеческом одеянии англосаксонской секты; на ногах у него лакированные сапоги, а галстук у него завязан так шикарно, хоть патент бери. Ибо все это было привито Джону-Тому в колледже наряду с метафизикой и с приемом защиты от удара снизу вверх. Если бы не цвет его лица, который слегка отливает желтизной, и не густая шапка прямых волос, вы могли бы принять его за обыкновенного городского обывателя, который подписывается на иллюстрированные журналы, а по вечерам, скинув пиджак, подстригает косилкой газон у себя в садике.

Затем подкатывает поезд, и маленькая женщина в сером платье, с какими-то точно светящимися волосами, соскальзывает с него и быстро оглядывается вокруг. И мальчик-Мститель видит ее и вопит: «Мама!», а она вскрикивает: «О!», и они вцепляются друг в друга мертвой хваткой; теперь гнусные краснокожие могут выползти из своих пещер на равнину, не боясь больше ружья Роя Красного Волка. Миссис Коньерс подходит к нам с Джоном-Томом и благодарит нас без

обычных крайностей, которых всегда ждешь от женщины. Она говорит как раз столько, сколько требуется, каким-то убедительным голосом. Я делаю несколько неуклюжих попыток в области разговорного искусства, на что леди улыбается мне дружески, точно она уже неделю со мной знакома. А затем мистер Малый Медведь начинает сотрясать воздух разными фиоритурами, в которые образование заставляет вылиться человеческую речь. Я видел, что мать малыша не совсем соображает, к кому ей причислить Джона-Тома; но, по-видимому, она тоже постигла элоквенцию[101] и соревновалась в искусстве употребления трех слов, где достаточно было одного.

Малыш представил нас с подстрочными примечаниями и объяснениями, более понятными, чем целый том риторики. Он приплясывал вокруг нас, хлопал нас по спине и старался влезть Джону-Тому на ногу.

— Вот это Джон-Том, мама, — говорит он. — Он — индеец. Он продает лекарства в красном фургоне. Я стрелял в него, но оказалось, что он совсем не дикий. А другой — Джеф. Он тоже фа-

---

[101] Примечания: 101

Элоквенция (*лат.* eloquentia) — ораторское искусство.

кир. Пойдем, посмотрим лагерь, где мы живем, мама. Хорошо?

Ясно, что вся жизнь этой женщины — в мальчике. Он опять с ней, и она может обнять его — и для нее этого достаточно. Она готова на все, чтобы доставить ему удовольствие. Она колеблется восьмую долю секунды и еще раз смотрит на нас. Я представляю себе, как она мысленно говорит про Джона-Тома: «Можно было бы принять за джентльмена, если бы не эти волосы». А мистера Питерса она характеризует так: «Не дамский кавалер, но умеет держать себя с дамами».

Итак, мы все побрели в лагерь совсем запросто, точно соседи, возвращающиеся из церкви. И там она начинает осматривать фургон и гладит рукой то место, где спал малыш, и все прикладывает платок к глазам. А профессор Бинкли угощает нас арией из «Трубадура»[102] на одной струне банджо и собирается пуститься в монолог Гамлета, как вдруг одна из лошадей запутывается в веревке, и ему приходится идти распутывать ее, причем он бормочет что-то вроде: «Сорвалось».

Когда стемнело, мы с Джоном-Томом пошли провожать гостей до отеля «Корн Эксчэнж»

---

[102] Примечания: 102
«*Трубадур*» — опера *Дж. Верди* (1813–1901).

и поужинали там вчетвером. Кажется, вся беда и пошла с этого ужина, ибо тут мистер Малый Медведь совершил свой первый умственный воздушный полет. Я держался за скатерть и слушал, пока он парил в вышине. Этот краснокожий, насколько я мог судить, обладал даром всезнания. Он брал слова и делал из них всякие штуки, как итальянец из макарон. Его словесные извержения были все разукрашены самыми учеными глаголами и префиксами. И слова у него текли гладко и точно сами подлаживались под его мысли. Я-то воображал, что уже слыхал образчик его речей, — ничего подобного. И дело заключалось не в самих даже словах, а в том, как они лились у него, и не в темах, — говорил он про обыкновенные вещи, вроде соборов, футбола, стихов, насморка, души, железнодорожного тарифа и скульптуры. Миссис Коньерс понимала его тон, и изящные выражения так и летели от одного к другому. А по временам в разговор вмешивался Джефферсон Д. Питерс двумя-тремя избитыми, невыразительными словами, прося передать ему масло или положить еще кусок цыпленка.

Да, видно было, что Джон-Том Малый Медведь по уши втюрился в эту самую миссис Коньерс. Она принадлежала к тому сорту женщин, которые

нравятся. Она была красива, и даже, пожалуй, больше. Возьмите для сравнения один из этих манекенов, которые служат в магазинах. Вы видите, что они построены по принципу отсутствия индивидуальности. Они приспособлены, чтобы привлекать глаз. Их дело иметь талию в столько-то сантиметров, и цвет лица, и способность создавать иллюзию, что вот это самое котиковое пальто будет так же красиво сидеть на даме с бородавками и толстым кошельком. Так вот, вообразите, что один из этих манекенов свободен от службы и находится с вами, и вы его обнимаете, а он говорит: «Чарли», когда вы на него надавливаете, и что он может сидеть за столом. Вообразили? Ну, значит, у вас есть некоторое представление о миссис Коньерс. Для меня было ясно, что Джон-Том мечтает о белой скво.

Миссис Коньерс с мальчиком остановились в отеле. Они говорят, что утром отправятся домой. Мы с Малым Медведем вышли в восемь часов и до девяти продавали индейское лекарство на площади у здания суда. Затем он отправляет меня с профессором и с лошадьми в лагерь, а сам остается в городе. Я совсем не в восторге от этого проекта, ибо он доказывает, что Джон-Том больше не может держать себя в руках, а это приводит

к огненной воде, а иногда и к потерям и убыткам. Не часто случается, что вождь День-Ги-Ва-Ши-Бу-Дут-На-Ши принимается за огненную воду, но когда он уж приналяжет на нее, много хлопот бывает бледнолицым, которые носят синюю форму и вооружены палочками.

В половине десятого профессор Бинкли, закутавшись в одеяло, уже храпит белыми стихами, а я сижу у костра и слушаю лягушек. Мистер Малый Медведь проскальзывает внутрь лагеря и садится под дерево. Симптомов огненной воды не видать.

— Джеф, — говорит он после долгого промежутка, — поехал мальчик на Запад охотиться на индейцев?

— Ну, и что же? — говорю я (я думал совсем о другом).

— Он таки подстрелил одного, — говорит Джон Том, — но не из ружья. Этот мальчик никогда в жизни не носил вельветового костюма.

Тут уж я начинал понимать, куда он гнет.

— Знаю, — говорю я. — Держу пари, что его изображают на открытках голеньким и что он охотится на разных дураков. Белых и красных.

— Вышло красное, — говорит Джон-Том, совсем спокойно. — Джеф, как ты думаешь, за сколько

лошадей мог бы я купить миссис Коньерс?

— Что за неприличный разговор! — отвечаю я. — Это не входит в обычаи бледнолицых.

Джон-Том громко смеется и впивается в сигару.

— Нет, не входит, — отвечает он, — у дикарей это соответствует долларам брачного контракта белых. Да, я знаю. Между расами вечно будет стена. Если бы я мог, Джеф, я поджег бы все колледжи белых, куда только ступала нога краснокожего. Почему вы не оставляете нас в покое, — говорит он, — с нашими плясками призраков и собачьими пирами и нашими грязными скво, которые варят нам похлебку из кузнечиков и штопают нам мокасины?

— Ну, слушай, неужели ты относишься непочтительно к неувядающему цветку, именуемому образованием? — сказал я, окончательно скандализованный. — Я сам ношу этот цветок на груди, в петличке моего духа. Я получил образование, — говорю я, — и оно мне никогда не вредило.

— Вы набрасываете на все лассо, — продолжает Малый Медведь, не обращая внимания на мои вставки в прозе, — и показываете нам все прекрасное в литературе и в жизни, и научаете нас ценить утонченность в мужчинах и жен-

щинах. Что вы из меня сделали? — говорит он. — Какого-то индейского Моисея. Вы научили меня ненавидеть вигвамы и любить образ жизни белых. Я могу глядеть на обетованную землю и видеть там миссис Коньерс, но мое место — за оградой. Впрочем, о белый человек Джеф, — продолжает он, — бледнолицые снабжают нас и утешением. Оно, правда, временное, оно дает передышку; название его — виски.

И он тут же сворачивает на тропинку и отправляется в город.

«Ну, — говорю я мысленно, — да подвигнет его сегодня великий Маниту на совершение лишь таких проступков, которые караются только штрафом. Ибо я вижу, что Джон-Том собирается воспользоваться утешением белых».

Было, вероятно, около половины одиннадцатого; я сидел и курил, как вдруг слышу «топ-топ» по тропинке, и прибегает миссис Коньерс, с кое-как закрученными волосами и выражением лица, говорящим о ворах, мышах и о том, что вышла вся мука, — и все это вместе.

— О мистер Питерс, — вопит она, как они всегда это делают. — О! А! О!

У меня мелькнула одна мысль, и я громко выразил ее суть.

— Вот что, — говорю я, — мы с этим индейцем были как родные братья, но если он… я его в две минуты так обработаю!

— Нет, нет, — говорит она, совсем растерянная и ломая руки так, что кости захрустели. — Я не видала мистера Малого Медведя. Это мой… муж. Он украл у меня мальчика! О! — говорит она. — Как раз в то мгновенье, когда я его опять прижала к своей груди. Бессердечный негодяй! Нет той горькой чаши, — говорит она, — которую он не заставил бы меня испить. Бедный мой ягненочек, которому следовало бы теперь лежать в теплой постельке, увезен этим дьяволом.

— Как же это случилось? — спрашиваю я. — Давайте мне факты.

— Я устраивала ему постельку, — объясняет она, — Рой играл на крыльце гостиницы, а тот подъезжает к ступенькам. Я слышала, что Рой закричал, и выбежала. Мой муж уже успел посадить его в кабриолет. Я умоляла его вернуть мне ребенка. Вот что он мне дал.

Она поворачивает лицо к свету. По щеке и по губам у нее тянется алая полоса.

— Он это сделал кнутом, — говорит она.

— Пойдемте обратно в гостиницу, — говорю я, — и посмотрим, что можно предпринять.

По дороге она мне открывает кое-что о причинах. Когда он хватил ее кнутом, он сказал ей, что узнал про ее поездку за ребенком и сам отправился на том же поезде. Миссис Коньерс жила с братом, и они всегда зорко смотрели за мальчиком, так как муж и раньше пытался его выкрасть. По-моему, этот человек был хуже, чем любой агент по устройству городских железных дорог. По-видимому, он промотал ее состояние и дурно обращался с ней; убил ее канарейку и рассказывал всем, что у нее холодные ноги.

В гостинице мы застали массовый митинг из пяти зевавших граждан, возмущенных этим насилием. В десять часов большая часть города уже спала. Я начинаю уговаривать даму и немножко успокаиваю ее, объявив, что отправлюсь на часовом поезде в соседний город, милях в сорока к востоку: по всей вероятности, уважаемый мистер Коньерс рванул туда, чтобы там сесть на поезд.

— Не знаю, — говорю я ей, — может, у него и есть законное право; но если я поймаю его, я ему устрою такое беззаконие в левое ухо, что он своих не узнает.

Миссис Коньерс идет в дом и плачет с хозяйкой, а та заваривает ей мятный чай, от которого бедняжке должно сразу стать гораздо легче. На

крыльцо выходит хозяин, заложив большой палец за свою единственную подтяжку, и говорит мне:

— В нашем городе еще не было такого волнения с тех пор, как жена Бедфорда Стиголля проглотила ящерицу. Я видел в окно, как он ударил ее кнутом. Сколько стоит ваш костюм? Похоже, что будет дождь, верно? Слушайте, доктор, этот ваш индеец сегодня что-то закутил, а? Он был здесь как раз перед вами, и я ему рассказал всю историю. Он как заулюлюкает странным голосом — и побежал. Я думаю, наш констебль засадит его в кутузку.

Я решил сидеть на крыльце и ждать часового поезда. Нельзя сказать, чтобы я был преисполнен радости. Во-первых, Джон-Том у меня загулял, а затем еще это похищение младенца лишало меня сна. Но что поделаешь — у меня вечно бывают неприятности из-за чужих неприятностей. Каждые пять минут миссис Коньерс выходила на крыльцо и глядела на дорогу в направлении, куда умчался кабриолет, будто ожидая, что оттуда вдруг появится мальчик верхом на белом пони с красненьким яблочком в руке. Ну разве это не совсем по-женски? Это напоминает мне кошек. «Я видела, как в эту щель пролезла мышка, —

говорит миссис Кошка, — можете, если хотите, забить ее доской, я уж покараулю у этой дырки».

В три четверти первого миссис Коньерс выходит опять, волнуясь и плача потихоньку, как всегда делает для собственного удовольствия женский пол; опять она глядит на эту дорогу и прислушивается.

— Право же, мадам, — говорю я, — нет никакого смысла стоять и глядеть на остывшие следы колес. Они теперь уж на полдороге в…

— Ш-ш-ш, — говорит она, поднимая руку.

И правда, я слышу в темноте шлепанье, и вдруг раздается ужаснейший боевой клич, какой услышишь разве только в цирке на утреннике. Весьма непрезентабельного вида индеец поднимается по ступенькам и вбегает на крыльцо. На него падает свет от лампы в вестибюле, но я не узнаю мистера Джона-Тома Малого Медведя выпуска 1891 года. Я вижу перед собой ирокезского воина, ходившего по боевой стезе. Огненная вода и прочее привели его в возбуждение. Оленья шкура висит на нем лохмотьями. А перья его спутаны, точно у растрепанной курицы. Мокасины его покрыты пылью многомиллионного пути, а глаза горят каким-то туземным огнем. Но он держит в объятьях этого самого младенца; у того глаза наполовину

слипаются, ножки болтаются, а одной рукой он обнимает индейца за шею.

— Чертенок, — говорит Джон-Том, и я замечаю, что все цветы синтаксиса белых отлетели от него. — Мой принесть, — говорит он и кладет малыша на руки матери. — Бежать пятнадцать миль, — говорит Джон-Том. — У-у! Поймать белого! Принесть чертенка!

Маленькая женщина безумствует от радости. Ей непременно нужно разбудить этого взбудоражившего всех малыша и во всеуслышание заявить, что он мамино драгоценное сокровище. Я хотел было задать несколько вопросов, но взглянул на мистера Малого Медведя, и взгляд мой упал на нечто, висевшее у него на поясе.

— Ну-с, теперь идите спать, — говорю я, — и укладывайте также этого полуночника; опасности больше нет никакой — похищение младенцев теперь уже стало не тем, чем было раньше… несколько часов назад.

Я поспешил заманить Джона-Тома к нам в лагерь; как только он завалился и уснул, я достал эту штуку у него из-за пояса и распорядился с ней так, чтобы она не попалась на глаза культуре и образованию. Ибо даже футбольные колледжи отрицательно относятся к искусству сдирать

скальпы.

Было уже десять часов утра, когда Джон-Том проснулся; он оглядывается вокруг себя, и я с радостью вижу, что в его взоре опять светится девятнадцатый век.

— В чем было дело, Джеф? — спрашивает он.

— Много-много огненная вода, — говорю я. Джон- Том хмурится и слегка задумывается.

— В сочетании, — тотчас же добавляет он, — с интересной небольшой физиологической встряской, известной под названием возвращения к первобытному типу. Вспомнил теперь. А что, они уехали?

— С поездом в 7 ч 30 м, — отвечаю я.

— У-у, — говорит Джон-Том. — Так лучше. Бледнолицый, принеси великому вождю День-Ги-Ва-Ши-Бу-Дут-На-Ши сельтерской воды, и он опять взвалит себе на плечи бремя краснокожего.

Фальшивый доллар

Однажды утром, просматривая свою корреспонденцию, судья Соединенных Штатов в пограничном районе, лежащем вдоль берега Рио-Гранде, нашел письмо следующего содержания:

«Судья!

Когда вы приговорили меня на четыре года, вы много болтали. Кроме прочих дерзостей, вы назвали меня гремучей змеей. Может быть, я действительно гремучая змея. Через год после того, как вы меня засадили, умерла моя дочь — от нищеты, а также и от позора. У вас, судья, тоже есть дочь, и я хочу дать вам понять, что значит потерять свою дочь.

И теперь я намереваюсь ужалить прокурора, который тогда говорил против меня. Теперь я свободен, и мне кажется, я действительно превратился в настоящую гремучую змею. Во всяком случае, я чувствую себя таковой. Много говорить я не буду, но это письмо — мое шипенье.

Берегитесь, когда я возьмусь за дело.

С совершенным почтением

Гремучая змея».

Судья Дервент небрежно отбросил письмо. Для него не было новостью получение подобных посланий от отъявленных преступников, которых ему приходилось судить. Он не ощутил ни малейшей тревоги.

Чуть погодя он показал письмо молодому прокурору Литлфильду, так как его имя тоже упоминалось в письме, а судья был весьма точен во всем, что касалось лично его, а также его коллег.

Пробегая глазами ту часть письма, которая относилась к нему самому, Литлфильд удостоил «шипенье» гремучей змеи презрительной улыбкой; но он нахмурился, читая строки, касающиеся дочери судьи, так как Нанси Дервент была его невестой.

Литлфильд направился к секретарю суда и стал просматривать с ним архив. Они решили, что письмо это могло исходить от Сэма-мексиканца, отчаянного пограничного головореза-полукровки, который четыре года назад был приговорен к тюремному заключению за убийство. Затем дела вытеснили эту историю из головы Литлфильда, и шипенье мстительной змеи забылось.

Суд выехал на сессию в Браунсвиль. Большинство дел, назначенных к слушанию, были по обвинению в контрабанде, фабрикации фаль-

шивой монеты, ограблении почтовых контор и нарушении федеральных законов в пограничных местностях. Одно дело касалось молодого мексиканца, Рафаэля Ортиса, которого ловкий помощник шерифа поймал на месте преступления в тот момент, когда он хотел сбыть фальшивый серебряный доллар. Его уже давно подозревали в подобного рода проделках, но на этот раз впервые вина его была доказана. Ортис ничуть не тяготился своим пребыванием в тюрьме, спокойно курил коричневые сигаретки и ожидал суда. Помощник шерифа, Кильпатрик, доставил в суд фальшивый доллар и вручил его прокурору в его кабинете, в здании суда. Помощник шерифа и один почтенный аптекарь готовы были показать под присягой, что этот доллар Ортис отдал в уплату за лекарство. Монета была самая что ни на есть фальшивая, мягкая, тусклая на вид и состояла преимущественно из свинца.

Это было за день до того, когда должно было слушаться дело Ортиса, и прокурор готовился к завтрашнему выступлению.

— Я думаю, нам не понадобится вызывать специальных экспертов, чтобы доказать, что эта монета несколько своеобразная, правда, Киль? — с улыбкой заметил Литлфильд.

Он бросил доллар на стол, и, когда тот упал, издал не больше звона, чем кусок олова.

— По-моему, этот гусь уже все равно что за решеткой, — сказал помощник шерифа. — Теперь мы окончательно застукали его. Если бы это случилось с ним один раз, так еще можно было бы сказать, что мексиканцы вообще не умеют отличать хорошие деньги от плохих; но этот мошенник, я знаю, принадлежит к целой шайке фальшивомонетчиков. В этот раз я впервые поймал его на месте преступления. У него есть возлюбленная. Она живет на берегу, в мексиканском поселке. Хороша, как рыжая телка на цветочной клумбе.

Литлфильд опустил фальшивый доллар в карман и вложил свои заметки по делу Ортиса в конверт. В этот момент в дверях показалось веселое, привлекательное личико, открытое и живое, как физиономия мальчика, и в комнату вошла Нанси Дервент.

— Боб, разве занятия в суде не прекратились сегодня в двенадцать часов до завтрашнего дня? — спросила она Литлфильда.

— Да, прекратились, — ответил прокурор, — и я очень рад этому, так как мне еще нужно просмотреть целый ряд уставов.

— Ну конечно. Это совершенно похоже на вас. Право, я удивляюсь, как это вы и папа не превратились еще сами в какие-нибудь уставы или уложения. Я хочу просить вас поехать со мной после обеда поохотиться на куликов. Прерия так и кишит ими. Пожалуйста, не говорите «нет». Я хочу испробовать мою новую бескурковку двенадцатого калибра. Я уже послала сказать на конюшню, чтобы в экипаж запрягли Муху и Бэс. Они великолепно переносят стрельбу. Я была совершенно уверена, что вы поедете.

Они обручились. Любовь была в самом разгаре. Кулики одержали верх над авторитетами в кожаных переплетах. Литлфильд принялся складывать свои бумаги.

В дверь постучали. Кильпатрик сказал:

— Войдите.

В комнату вошла красивая темноглазая девушка, с прелестным, чуть-чуть подернутым лимонно-желтым оттенком лица. Черный шарф покрывал ее голову и дважды обвивал ее шею.

Она начала говорить по-испански, и из уст ее полился целый каскад меланхолической музыки. Литлфильд не понимал по-испански. Помощник шерифа понимал, и он стал частями переводить ее речь, по временам поднимая руку, чтобы оста-

новить поток ее слов.

— Она пришла к вам, мистер Литлфильд. Имя ее — Джоя Тревиньяс. Она хочет поговорить с вами о… словом, она имеет отношение к этому Рафаэлю Ортису. Она его… она его возлюбленная. Она уверяет, что он невиновен. Она говорит, что монету сделала она сама и дала ему, чтобы он сбыл ее. Не верьте ей, мистер Литлфильд. Обычная история с этими мексиканскими девушками; они пойдут на ложь, кражу, убийство ради парня, в которого втюрились. Никогда не верьте влюбленной женщине.

— Мистер Кильпатрик!

Гневное восклицание Нанси Дервент заставило помощника шерифа сбивчиво пояснить, что он неправильно выразил свою мысль. Затем он продолжал перевод:

— Она говорит, что согласна занять его место в тюрьме, если вы выпустите его. Она говорит, что была больна лихорадкой и что доктор сказал, что она умрет, если не добудет лекарства. Поэтому она и послала фальшивый доллар в аптеку. Она, по-видимому, не на шутку влюблена в этого Рафаэля. Она говорит без конца о любви и таких вещах, которые вы не захотите слушать.

Для прокурора это была старая история.

— Скажите ей, что я ничего не могу сделать, — сказал он. — Дело слушается завтра, и пусть обвиняемый сам защитит себя перед судом.

Нанси Дервент была не так черства. Полным сочувствия взглядом она смотрела на Джою Тревиньяс и по временам переводила взор на своего жениха. Помощник шерифа перевел девушке слова прокурора. Она тихо произнесла одну или две фразы, опустила свой шарф на лицо и вышла.

— Что она сказала? — спросил Литлфильд.

— Ничего особенного, — ответил помощник шерифа. — Она сказала: если жизнь девушки... дайте-ка вспомню — если жизнь девушки, которую ты любишь, когда-нибудь будет в опасности, вспомни Рафаэля Ортиса.

Кильпатрик вышел из комнаты и направился по коридору к кабинету судьи.

— Не можете ли вы чем-нибудь помочь ей, Боб? — спросила Нанси. — Это такой пустяк — всего-навсего один фальшивый доллар, и вдруг из-за него разрушится счастье двух человек. Она была в смертельной опасности, и он спас ее. Разве закон не знает чувства жалости?

— В юриспруденции этому чувству места нет, Нэн, — возразил Литлфильд, — в особенности же оно неуместно у прокурора. Я обещаю вам,

что не буду строг — я буду мягок. Но все равно он будет признан виновным. Свидетели покажут под присягой, что он спустил фальшивый доллар, который в настоящий момент лежит у меня в кармане в качестве вещественного доказательства. Среди присяжных нет мексиканцев, и они, безусловно, вынесут обвинительный вердикт не сходя с места.

Охота на куликов прошла на редкость удачно, и в увлечении спортом было забыто и дело Рафаэля Ортиса, и горе Джои Тревиньяс. Прокурор и Нанси Дервент отъехали на три мили от города; экипаж катился по ровной, поросшей травой дороге, а затем выехал в волнистую степь, окаймленную черной полосой густого леса, который тянется по берегу Пьедры. За Пьедрой лежит Лонг Прери, излюбленное место куликов. Подъезжая к реке, они услышали справа от себя лошадиный топот и увидели всадника с черными волосами и смуглым лицом, направлявшегося к лесу по косой, так что, казалось, раньше он ехал позади них.

— Я где-то видел этого молодчика, — сказал Литлфильд, обладавший хорошей зрительной памятью. — Но не могу вспомнить, где именно. Наверное, это какой-нибудь ранчеро, возвращающийся домой коротким путем.

В Лонг-Прери они провели около часу, стреляя по куликам из экипажа. Нанси Дервент, энергичная, смелая девушка с запада, была весьма довольна своей новой бескурковкой. Она на целых два выстрела обогнала своего партнера. Тихой рысью они возвращались домой. На расстоянии ста ярдов от Пьедры из лесу прямо на них выехал всадник.

— Это, кажется, тот самый человек, которого мы встретили раньше, — заметила мисс Дервент.

Когда дистанция между ними уменьшилось, Литлфильд вдруг погнал лошадей, не спуская глаз с приближавшегося всадника. Тот вынул из футляра, висевшего на его седле, винчестер и перекинул через плечо.

— Теперь я узнал тебя, Сэм-мексиканец, — пробормотал Литлфильд. — Это ты пригрозил мне в своем милом послании.

Сэм-мексиканец быстро разрешил все сомненья. У него был прекрасный глазомер. Когда он приблизился на расстояние выстрела из винтовки, оставаясь недосягаемым для выстрела из дробовика, он взял на изготовку свой винчестер и открыл огонь по сидевшим в экипаже.

Первый выстрел расщепил заднюю часть сиденья, причем пуля попала в узкое двухдюймовое

пространство между плечами Литлфильда и мисс Дервент. Следующая продырявила щит экипажа и штанину на левой ноге Литлфильда.

Прокурор столкнул Нанси с экипажа. Она была немного бледна, но не задала ни одного вопроса. Девушка обладала свойственным обитателям пограничных мест инстинктом, учащим их принимать самые критические обстоятельства без лишних разглагольствований. Они держали свои ружья в руках, и Литлфильд поспешно выбирал патроны из стоявшей перед ним на сиденье коробки и наполнял ими свои карманы.

— Встаньте позади лошадей, Нэн, — сказал он. — Этот молодчик — разбойник, которого я когда-то засадил за решетку. По-видимому, он хочет поквитаться. Он знает, что на этом расстоянии наш выстрел не достигнет его.

— Хорошо, Боб, — спокойно сказала Нанси. — Я не боюсь, но вы тоже пойдите ближе сюда. Эй, Бэс, стой смирно!

Она погладила гриву лошади. Литлфильд стоял со своим ружьем наготове, мечтая лишь о том, чтобы негодяй подъехал ближе.

Но Сэм-мексиканец разыгрывал свою вендетту наверняка. Это была птица, совсем непохожая на кулика. Его острый взгляд провел воображаемую

линию вокруг площади, на которой ему не был опасен выстрел из дробовика. По этой линии он и пустил свою лошадь.

Когда Литлфильд и Нанси переходили с одной стороны своего живого бруствера на другую, Сэм воспользовался минутой, выстрелил, и пуля продырявила шляпу прокурора. Один раз он ошибся и переступил через поставленный себе предел. Из ружья Литлфильда блеснуло пламя, и Сэм-мексиканец только мотнул головой навстречу безобидной дроби. Несколько дробинок попало в лошадь, и она отпрыгнула назад, на безопасную линию.

Разбойник опять выстрелил. Нанси Дервент слабо вскрикнула. Литлфильд обернулся и увидел кровь, стекавшую по ее щеке.

— Я не ранена, Боб. Щепка поцарапала меня. Я думаю, его пуля расщепила одну из колесных спиц.

— Боже, — простонал Литлфильд. — Если бы у меня была хоть картечь.

Сэм остановил свою лошадь и тщательно прицелился. Муха захрапела и упала на землю, пораженная пулей в голову. Бэс, сообразившая, что охота идет сейчас не на одних куликов, вырвалась из упряжи и бешено умчалась вдаль.

Следующая пуля продырявила охотничий жакет Нанси Дервент.

— Ложись! Ложись, — зашептал Литлфильд. — Ближе к лошади, пригнитесь к земле! Вот так! — Он почти швырнул ее на траву сзади лежавшей на земле Мухи.

Странно, в этот момент в мозгу его прозвучали слова мексиканской девушки: «Если когда-нибудь жизнь любимой тобой девушки будет в опасности, вспомни про Рафаэля Ортиса».

Из груди Литлфильда вырвалось взволнованное восклицание:

— Стреляйте в него, Нэн, из-за спины лошади. Стреляйте как можно чаще. Вы не заденете его, но заставите уворачиваться от выстрелов, а я тем временем попытаюсь разработать маленький план действий.

Нанси кинула быстрый взгляд в сторону Литлфильда и увидела, что он вынул карманный нож и открывает его. Затем она отвернулась, чтобы приступить к исполнению его приказания, и открыла быстрый огонь по неприятелю.

Сэм-мексиканец терпеливо ожидал, когда прекратится этот невинный обстрел. У него в распоряжении было много времени, и он не хотел рисковать: зачем ему нарываться на заряд дроби

в лицо, когда при небольшой осторожности он может от этого легко уберечься. Он надвинул свой тяжелый стетсон на самое лицо и сидел так, пока выстрелы не замолкли. Тогда он подъехал немножко ближе, прицелился в то, что темнелось за спиной павшей лошади, и выстрелил. Но ни один из его врагов не пошевельнулся. Тогда он заставил лошадь сделать еще несколько шагов вперед. Он увидел, что прокурор встал на одно колено и решительно поднял свое ружье. Сэм опять надвинул на лицо шляпу и стал ожидать безобидного дождя из миниатюрных дробинок.

Литлфильд выстрелил с громкой отдачей. Сэм-мексиканец вздохнул, перегнулся в седле и медленно стал скользить с лошади — мертвая гремучая змея.

В десять часов утра на следующий день открылось заседание суда, и началось слушание дела Рафаэля Ортиса. Прокурор, с рукой на перевязи, встал и обратился к судье:

— С разрешения вашей чести я отказываюсь от обвинения. Даже в том случае, если обвиняемый виновен, в руках правительства нет достаточных данных для доказательства его виновности. Фальшивая монета, на которой строилось обвинение, не может быть предъявлена как вещественное

доказательство. Поэтому я прошу прекратить это дело.

Во время обеденного перерыва Кильпатрик вошел в кабинет прокурора.

— Я только что ходил осматривать Сэма-мексиканца, — сказал он. — Его тело выставлено напоказ. Старик был крепкий, что и говорить. Но никто не может разобрать, чем вы уложили его. Некоторые полагают, что чем-то вроде гвоздей. Я, по крайней мере, никогда не видел, чтобы ружье заряжали штукой, которая наносит такие огромные раны.

— Я выстрелил в него, — сказал прокурор, — «вещественным доказательством» по делу о фальшивой монете. Какое счастье для меня и еще для кое-кого, что этот доллар так плохо сделан. Его очень легко было нарезать ножом на кусочки. Скажите, Киль, не можете ли вы спуститься в мексиканский поселок и разыскать ту девушку? Мисс Дервент хочет повидать ее.

Табак

По поводу табака, который сэр Вальтер Скотт считал утешающим зельем, вникнем в случай с Мартином Бэрнеем.

Вдоль западного берега Гарлемской реки прокладывали дорогу. Съестная барка Денниса Корригана, подрядчика, привязывалась к дереву на берегу. Двадцать два ирландца надрывались над работой, от которой трещали кости. Один человек, орудовавший на кухне съестной барки, был немец. Над всеми высился злющий Корриган, обращавшийся с ними как с командой каторжников. Он платил им так мало, что многие, как бы ни потели, зарабатывали чуть больше, чем на пропитание и табак; значительная часть этих людей была в долгу у подрядчика. Корриган кормил всю артель на съестной барке, и кормил хорошо; ему был расчет: они зато хорошо работали.

Мартин Бэрней отставал от всех. Это был маленький человечек, весь состоявший из мускулов, рук и ног, с щетинистой рыжей бородой с проседью. Он был слишком легок для этой работы, которая истощила бы силы и паровой

машины.

Работа была тяжелая. Кроме того, берег реки кишел москитами. Как ребенок в темной комнате тревожно следит за гаснущими пятнами окна, так и эти труженики следили за солнцем, которое приносило им один-единственный час с менее горьким привкусом. После заката, поужинав, они собирались в кучу на берегу реки, и москиты начинали метаться и вопить, отгоняемые ядовитыми клубами дыма из двадцати трех вонючих трубок. Организовав таким образом совместную защиту против врага, они выжимали из этого часа несколько капель дымного блаженства.

Бэрней с каждой неделей все глубже залезал в долги.

У Корригана был на барке небольшой запас товаров, и он продавал их рабочим, не вводя себя в убытки.

Бэрней был хорошим клиентом по табачному отделению этой лавочки. Один пакетик, когда он утром шел на работу, и второй, когда он вечером возвращался, — это составляло его ежедневный нараставший счет. Бэрней был изрядным курильщиком. Но все же это неправда, будто он обедал с трубкой во рту, как о нем говорили. Маленький человечек не жаловался на судьбу. Он был сыт,

у него было много табаку, и был тиран, которого можно было проклинать. Рожна ли ему еще, ирландцу, надо, чтобы чувствовать себя удовлетворенным?

Однажды утром, направляясь с товарищами на работу, он остановился у соснового прилавка за своей обычной порцией табаку.

— Будет, — сказал Корриган, — ваш кредит закрыт. Вы — невыгодное помещение капитала. Нет, даже и табачку не дам, сынок. Кончился табачок «на запиши». Если хотите продолжать работать, кормить буду, пожалуйста, но табак будьте любезны за наличные. Так-то. Или ищите себе другую работу.

— Мне ведь нечего курить сегодня, мистер Корриган, — сказал Бэрней, не вполне соображая, что над ним могла стрястись такая беда. — Вот, трубка пустая.

— Заработайте, — сказал Корриган, — и купите.

Бэрней остался. Он не знал другого ремесла, да и где ее искать — другую работу? Он сначала не вполне сознавал, что табак заменял ему отца, и мать, и жену, и ребенка.

В течение трех дней он курил табачок фабрики Чужого, но в конце концов товарищи отшили его

все, как один человек. Они дали ему понять, грубо, но дружески, что, конечно, отказывать приятелю в удовлетворении его срочной табачной нужды не приходится; но ежели этот приятель начинает подрывать табачное благосостояние своих друзей столь усердно, что они вот-вот сами останутся без табаку, то грош цена такой дружбе.

В сердце у Бэрнея стало темно, как в колодце. Посасывая хладный труп своей трубки, он еле плелся за своей тачкой, нагруженной камнями и грязью, и впервые почувствовал над собою проклятие Адама. Другие люди, лишенные одного удовольствия, могут обратиться к другим наслаждениям, но у Бэрнея было в жизни всего два утешения. Одно была его трубка, а другое — горячая надежда, что на том свете не будут строить шоссе.

В обеденное время он пропускал других рабочих на барку, а сам, ползая на руках и на коленях, яростно шарил по земле, где они раньше сидели, в надежде найти хоть крошку табаку. Однажды он побрел на берег реки и набил трубку засохшими листьями ивы. После первой струи дыма он плюнул по направлению к барке и наградил Корригана самым сильным из известных ему проклятий: оно начиналось с первого Корри-

гана, рожденного на земле, и захватывало того Корригана, который услышит трубу Гавриила-архангела. Он начал ненавидеть Корригана всеми своими потрясенными нервами, всей душой. Он даже начал смутно мечтать об убийстве.

Пять дней бродил он без табачного вкуса во рту — он, куривший целыми днями и считавший потерянной ту ночь, в которую он не проснулся, чтобы курнуть раз-другой под одеялом.

Однажды у барки остановился человек и сообщил, что можно получить работу в Бронкс-Парке; там требовалось много народу, ибо шел какой-то большой ремонт.

После обеда Бэрней отошел на тридцать шагов по берегу реки, чтобы уйти от с ума сводящего запаха чужих трубок. Он сел на камень. Надо будет отправиться в Бронкс. По крайней мере, он заработает там на табак. Что с того, что по книгам выходит, будто он должен Корригану? Работа каждого человека вполне оплачивает его содержание. Но ему невыносимо было уйти, не рассчитавшись с жестокосердым скрягой, который потушил его трубку. Да, но как это сделать?

Осторожно передвигаясь между комьями земли, к нему подходил Тони, немец, работавший на кухне. Он ухмыльнулся Мартину, а этот несчаст-

ный человек, исполненный расовой ненависти и презиравший правила вежливости, зарычал на него:

— Что тебе надо, немчура?

Тони также затаил обиду на Корригана и искал сообщников для затеянного им заговора. Он носом чуял единомышленников.

— Как тебе нравится мистер Корриган? — спросил он. — Ты считаешь, что он хороший человек?

— Черт его побери! — сказал Бэрней. — Чтоб у него все кости потрескались от холода на сердце, чтоб на могилах его предков выросла крапива, а внуки его детей чтоб родились без глаз. Чтоб виски превращалось в желчь у него во рту, чтоб он с каждым чиханьем дырявил себе подошвы обеих ног, чтоб он заплакал от дыма своей трубки и намочил своими слезами траву, которую едят его коровы, и их молоко отравило бы масло, которое он намазывает на свой хлеб.

Хотя все сложные красоты этих образов были недоступны Тони как иностранцу, он все же пришел к убеждению, что тенденция их в достаточной степени антикорриганская. Поэтому он уселся, с доверчивостью товарища-заговорщика, рядом с Бэрнеем на камень и раскрыл свой

замысел.

Замысел этот был по идее очень прост. Корриган любил вздремнуть часок после обеда на своей койке. На это время повар и его помощник Тони обязаны были покидать барку, чтобы никакой шум не беспокоил самодержца. Повар обычно посвящал этот час моциону. План Тони состоял в следующем: когда Корриган заснет, он (Тони) и Бэрней перережут веревки, привязывающие барку к берегу. У Тони не хватало решимости совершить это дело одному. Неповоротливая барка будет захвачена быстрым течением и, несомненно, перевернется, ударившись о подводную скалу.

— Пойдем и сделаем, — сказал Бэрней. — Если твоя спина так же ноет от его тумаков, как мой желудок скулит по табаку, то чем скорее мы перережем веревки, тем лучше.

— Отлично, — сказал Тони. — Но лучше подождем еще минут десять. Дадим Корригану время хорошенько заснуть.

Они ждали, сидя на камне. Остальные работали вне их поля зрения, за поворотом дороги. Все пошло бы как по маслу (кроме барки с Корриганом), если бы Тони не дернуло вдруг увенчать заговор его общепринятым дополнением. В его

жилах текла актерская кровь, и он, может быть, по наитию догадался, какие аксессуары к злодейским махинациям предписываются традициями мелодрамы.

Он вытащил из-за пазухи длинную, черную, очаровательную ядовитую сигару и предложил ее Бэрнею.

— Не хочешь ли покурить покамест? — спросил он.

Бэрней схватил сигару и въелся зубами в ее кончик, как терьер въедается в крысу. Он привлек ее к своим губам, как давно не виданную возлюбленную. Когда сигара задымила, он глубоко, протяжно вздохнул, и щетина его седоватых рыжих усов скрючилась над ней с обеих сторон, как когти орла. Вскоре краснота покинула белки его глаз. Он мечтательно устремил взгляд на холмы по ту сторону реки. Минуты проходили.

— Теперь, пожалуй, пора, — сказал Тони. — Этот проклятый Корриган скоро очутится на дне.

Бэрней с ворчаньем очнулся от своего транса. Он повернул голову и удивленно, огорченно и строго посмотрел на своего сообщника. Он вынул было сигару изо рта, но сейчас же снова втянул ее в себя, раза два любовно пожевал ее и заговорил, среди ядовитых клубов дыма, уголком рта:

— Ты что же это задумал, язычник желторожий? Ты строишь козни против просвещенных рас земли, подстрекатель? Ты хочешь втянуть Мартина Бэрнея в грязные проделки бесстыдных иностранцев? Ты задумал убить своего благодетеля, доброго человека, дающего тебе хлеб и работу? Получай, желторожий убийца!

За потоком возмущенных слов последовала со стороны Бэрнея и физическая демонстрация. Носком своего сапога он опрокинул интригана с камня.

Тони встал и пустился бежать. Он перенес задуманную им вендетту в разряд мечтаний. Он пробежал мимо барки и помчался дальше. Он боялся оставаться здесь.

Бэрней, выпятив грудь, следил за исчезновением своего бывшего сообщника. Затем он также двинулся в путь, обратив свой тыл к барке, а лицо к Бронкс-Парку.

За ним следовала в кильватере густая, зловредная струя отвратительного дыма, которая вносила успокоение в его душу и загоняла придорожных птиц в самую глубину чащи.

Гордость городов

Киплинг сказал: «Города преисполнены гордости и соперничают друг с другом». Так оно и есть.

Нью-Йорк опустел. Двести тысяч человек из его населения уехали на лето. Три миллиона восемьсот тысяч остались, чтобы охранять квартиры и платить по счетам отсутствующих.

Нью-йоркский гражданин сидел за столиком в саду на крыше и впитывал в себя утешение через соломинку. Его панама лежала на стуле. Июльская публика разбрелась по залу так же широко, как разбегаются аутфильдеры, когда на поле выступает чемпион. На эстраде время от времени пели или танцевали.

С залива дул прохладный ветерок; вокруг и наверху (только не на сцене) сияли звезды. Иногда мелькал лакей, но быстро исчезал, как испуганная серна. Предусмотрительные посетители, заказавшие себе ужин с утра по телефону, теперь вкушали заказанное. Нью-йоркский гражданин сознавал, что в окружающем его комфорте есть недочеты, но сквозь его очки все же светилось

удовольствие. Его семья уехала из города; напитки теплые — но семья не вернется раньше сентября.

Вдруг в сад ввалился человек из Топаз-Сити, в Неваде.

Мрачное настроение одинокого зрителя охватило его. Лишенный радости по причине своего одиночества, он бродил по увеселительным заведениям с лицом вдовца. Когда он стал задыхаться от сквозняка метрополитена, им овладела жажда человеческого общества.

Он отправился прямо к столику ньюйоркца.

Ньюйоркец, обескураженный и развращенный беспорядочной атмосферой сада на крыше, решился на полное отречение от своих жизненных традиций. Он решил пошатнуть одним быстрым, дьявольски смелым, порывистым, сногсшибательным поступком все условности, которые были до тех пор вплетены в его существование. Выполняя этот крайний и поспешный замысел, он слегка кивнул незнакомцу, когда тот приблизился к столу.

Через минуту человек из Топаз-Сити оказался в списке ближайших друзей ньюйоркца. Он занял один стул за столиком, придвинул еще два для своих ног, швырнул свою широкополую шляпу

на четвертый и поведал своему новообретенному товарищу историю своей жизни.

Ньюйоркец слегка оттаял, как согреваются в домах с центральным отоплением квартиры, когда наступает май. Лакей, показавшийся в неосторожную минуту на их горизонте на расстоянии оклика, был захвачен ими и отправлен с поручением на кухню.

— Вы давно здесь в городе? — осведомился ньюйоркец и заготовил подходящий «на чай» на случай, если лакей вернется с чересчур крупной сдачей.

— Я? — сказал человек из Топаз-Сити. — Четыре дня. А вы бывали когда-нибудь в Топаз-Сити?

— Я? — сказал ньюйоркец. — Я никогда не забирался на Запад дальше Восьмой авеню. У меня был брат, он умер на Девятой, но я встретил процессию на Восьмой. На гробу лежал пучок фиалок. И гробовщик поставил его в счет, чтобы не вышло ошибки. Да, не могу сказать, чтоб я уж очень был знаком с Западом.

— Топаз-Сити, — сказал человек, занимавший четыре стула, — один из лучших городов в мире.

— Я полагаю, вы осматривали нашу столицу, — сказал ньюйоркец. — Четырех дней, конечно, мало, чтобы ознакомиться даже с главнейшими

нашими достопримечательностями. Но можно составить себе некоторое общее впечатление. Приезжих обыкновенно больше всего поражает наше архитектурное превосходство. Вы, конечно, видели наш самый большой небоскреб «Утюг»? Он считается…

— Видел, — сказал человек из Топаз-Сити, — но вам следует побывать в наших краях. У нас, знаете ли, гористая местность, и все дамы носят короткие юбки, чтобы лазить по горам, и…

— Извините меня, — сказал ньюйоркец, — но не в этом суть. Нью-Йорк должен показаться приезжему с Запада необычайным откровением. Ну а наши отели…

— Послушайте, — сказал человек из Топаз-Сити, — я, кстати, вспомнил: у нас в прошлом году убили в двадцати милях от Топаз-Сити шестнадцать грабителей дилижансов.

— Я говорил об отелях, — сказал ньюйоркец. — Мы обогнали Европу в этом отношении. И, поскольку это касается нашего высшего класса, мы далеко…

— О! Как сказать! — перебил человек из Топаз-Сити. — У нас в тюрьме было двадцать человек бродяг, когда я уехал из дому. Я полагаю, что Нью-Йорк не так…

— Извините, вы, по-видимому, неверно поняли мою мысль. Вы, конечно, осмотрели Уолл-стрит и Биржу, где…

— О да! — сказал человек из Топаз-Сити, зажигая зловонную пенсильванскую сигару. — Я хотел вам сказать, что у нас самый замечательный городской мэр к западу от Скалистых гор. Биль Рейнер поймал в толпе пять карманных воров, когда Томсон Красный Нос праздновал закладку своего нового бара. В Топаз-Сити не разрешается…

— Выпьем еще рейнвейна с сельтерской? — предложил ньюйоркец. — Я никогда не был на Западе, как я уже вам докладывал, но там не может быть города, равного Нью-Йорку. Что касается до претензий Чикаго, то я…

— Один человек, — сказал топазец, — всего только один человек был убит и ограблен в Топаз-Сити за последние три…

— О! Я знаю, что такое Чикаго, — перебил ньюйоркец. — А вы были на нашей Пятой авеню, где стоят роскошные особняки наших миллионеров?

— Видел их всех. Вам следовало бы познакомиться с Ребом Стиголлом, податным инспектором в Топазе. Когда старик Тильбери, собственник

единственного двухэтажного дома в городе, попытался показать свой доход вместо шести тысяч долларов в четыреста пятьдесят, Реб нацепил свой револьвер сорок пятого калибра и пошел посмотреть…

— Да, да, но, говоря о нашем великом городе, одно из его огромнейших преимуществ — это наш великолепный департамент полиции. Ни один полицейский корпус в мире не может сравниться с ним по…

— Этот лакей ходит как сонная муха, — заметил человек из Топаз-Сити, мучаясь жаждой. — У нас в городе также есть богачи, стоящие некоторые четыреста тысяч долларов. Например, старый Билль-Визерс, или полковник Меткалф, или…

— Вы видели Бродвей ночью? — любезно спросил ньюйоркец. — На свете мало улиц, которые могут с ним сравниться. Когда горит электричество и тротуары оживляются двумя быстрыми потоками элегантно одетых мужчин и красивых женщин в самых дорогих нарядах, и все это кружится взад и вперед в тесном лабиринте дорогих…

— Я знал только один подобный случай в Топаз-Сити, — сказал человек с Запада. — У Джима Беллей вытащили из кармана часы с цепочкой

и двести тридцать пять долларов наличными, когда…

— Это другое дело, — сказал ньюйоркец. — Пока вы находитесь в нашем городе, вы должны пользоваться каждым представляющимся вам случаем, чтобы полюбоваться на его чудеса. Наша городская система передвижения…

— Если бы вы были в Топазе, — перебил человек оттуда, — я показал бы вам целое кладбище людей, убитых вследствие несчастных случаев. Что касается массового калечения людей… Позвольте, когда Берри Роджерс стрелял направо и налево из своего старого двуствольного ружья, заряженного дробью…

— Послушайте, человек! — позвал ньюйоркец. — Еще два бокала таких же. Всеми признано, что наш город является центром искусства, литературы и науки. Возьмем, например, наших застольных ораторов. Где во всей стране вы встретите такое остроумие и красноречие, какие излучают Денью и Форд, и…

— Если вы читаете газеты, — прервал его западник, — вы, наверное, читали о дочери Пита Вебстера? Вебстеры живут двумя кварталами выше суда. Мисс Тилли Вебстер проспала, не просыпаясь, сорок дней и ночей. Доктора гово-

рили, что…

— Передайте спички, пожалуйста, — сказал ньюйоркец. — Вы заметили, с какой быстротой в Нью-Йорке возводятся новые здания? Усовершенствования и изобретения в области техники…

— Я заметил, — сказал невадец, — что, по статистике Топаз-Сити, только один плотник был раздавлен упавшими лесами в прошлом году, да и то во время урагана.

— Критикуют наши небоскребы, — продолжал ньюйоркец, — и возможно, что мы еще не достигли совершенства в художественной стороне архитектуры. Но я могу смело утверждать, что мы опередили всех в области картин и декоративного искусства. В некоторых наших домах можно встретить шедевры живописи и скульптуры. Тот, кто имеет вход в наши лучшие галереи, найдет…

— Бросьте! — воскликнул человек из Топаз-Сити. — В прошлом месяце в нашем городе была игра; так до девяноста тысяч долларов перешли из рук в руки на пару валетов.

«Там-рам-та-ра-ра-ра» — зазвучал оркестр. Занавес лениво опустился. Публика неторопливо спустилась на лифте и по лестнице.

Внизу, на тротуаре, ньюйоркец и человек из Топаз-Сити обменялись рукопожатиями с серьез-

ностью пьяных людей. Воздушная дорога хрипло трещала, трамваи гудели и звенели, извозчики ругались, газетчики орали, колеса скрипели, раздирая уши. Ньюйоркцу пришла в голову счастливая мысль: теперь уж он надеялся утвердить превосходство своего города.

— Вы должны согласиться, — сказал он, — что в отношении шума Нью-Йорк далеко опередил любой из других…

— Идите вы в болото, — сказал человек из Топаз-Сити. — В 1900 году к нам приезжал духовой оркестр; как раз в это время у нас шли выборы, и вот вы буквально не могли…

Грохот фургона заглушил дальнейшие его слова.

Брачный месяц май

Читатель, прошу вас, засмейтесь поэту в глаза, когда он примется воспевать вам месяц Май. Это — месяц, которым управляют духи зла и безумия. В этом месяце феи и кобольды появляются в зеленеющих лесах, а Пэк и его легкокрылая свита делают свое дело в городе и деревне.

В Мае природа грозит нам пальцем, чтобы напомнить, что мы не боги какие-нибудь, а всего лишь чрезмерно самонадеянные члены ее большой семьи. Она дает нам понять, что мы — братья осла и карася, обреченного сковородке, прямые потомки шимпанзе и всего лишь троюродные братья воркующих голубей, крякающих уток, и служанок, и полисменов в парке.

В Мае амур стреляет с завязанными глазами; миллионеры женятся на стенографистках; мудрые профессора ухаживают за девицами в белых передниках, жующими резину за стойкой с горячими закусками; школьные надзирательницы оставляют после уроков в классе скверных больших мальчиков; пылкие отроки с лестницами осторожно пробираются по зеленой лужайке

туда, где, томясь за заросшим плющом окном, поджидает их Джульетта, вооруженная подзорной трубой; молодые парочки, вышедшие на прогулку, возвращаются домой повенчанными; старые хрычи надевают белые ботинки и фланируют возле Института для молодых девиц; даже мужья, охваченные нежностью и сентиментальностью, хлопают своих супруг по спине и ворчат: «Ну, как дела, старуха?»

Этот месяц Май — не божество, а Цирцея, наряжающаяся на бал, устраиваемый в честь первого выезда в свет Лета, и сбивает всех нас с панталыку.

Старый мистер Кульсон вздохнул и выпрямился в кресле. Он был обладателем злой подагры в одной ноге, дома близ парка Грамерси, полумиллиона долларов и дочери. Кроме того, у него была экономка, миссис Виддан.

Когда Май толкнул мистера Кульсона в бок, он стал старшим братом горлицы. Окно, у которого он сидел, было заставлено горшками с гиацинтами, геранью и анютиными глазками. Легкий ветерок гнал их аромат в комнату. Немедленно началось состязание между дыханием цветов и здоровым и энергичным запахом мази от подагры. Мазь, правда, легко одержала верх, но все же

цветы успели ударить мистера Кульсона в нос. Губительная работа неумолимого, вероломного кудесника Мая была сделана.

Из парка до слизистых оболочек носа мистера Кульсона доносились и другие оригинальные, характерные, неповторимые весенние запахи, авторское право на которые приобретено исключительно Нью-Йорком: запах раскаленного асфальта, грязных подвалов, газолина, пачулей, апельсинной корки, испарений канализационных колодцев, египетских папирос, извести и пересохшей газетной краски. Воздух, врывавшийся в комнату, был свежим и теплым. На улице весело чирикали воробьи.

Никогда не доверяйтесь Маю!

Мистер Кульсон закрутил кончики седых усов, проклял свою ногу и позвонил в звонок, стоявший у него на столе.

В комнату вошла миссис Виддан, благообразная, сорокалетняя, светловолосая, пронырливая и красивая.

— Гиггинс отлучился, сэр, — сказала она с вибрационно-массажной улыбкой, — он пошел отправить письмо. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, сэр?

— Мне пора принять мой аконит, — сказал

старый мистер Кульсон. — Накапайте мне, пожалуйста. Вот бутылка. Три капли. На воде. Черт бы побрал этого Гиггинса! Никто во всем доме и внимания не обратит, если я умру в этом кресле от недостатка присмотра.

Миссис Виддан глубоко вздохнула.

— Не говорите так, сэр, — сказала она. — В вашем доме есть такие люди, которые стали бы горевать гораздо больше, чем кто-либо предполагает. Тринадцать капель вы сказали, сэр?

— Три, — сказал старый Кульсон.

Он принял лекарство и принял еще в свои руки — руку миссис Виддан. Она вспыхнула. (Да, да! Это каждый может сделать. Попробуйте: задержите дыхание и надавите на диафрагму.)

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон. — Весна в полном цвету.

— Совершенно верно, — произнесла миссис Виддан. — Воздух совсем теплый. И на каждом углу объявление: «Мартовское пиво». А парк весь желтый, розовый и голубой от цветов. И у меня так стреляет в ногах и во всем теле.

— Весной, — сказал мистер Кульсон, покручивая свои усы, — ай… ай… Да! Весной человеческое воображение легко обращается в сторону любви.

— Честное слово, сэр! — воскликнула миссис

Виддан. — Это верно. Будто что-то носится в воздухе.

— Верно, — продолжал мистер Кульсон, — на улицах продают ароматные, покрытые живой росою ирисы.

— Они очень вкусны с чаем, эти ирисы, — вздохнула миссис Виддан.

— Миссис Виддан, — сказал мистер Кульсон, и лицо его передернулось от боли в ноге, — без вас этот дом был бы одинок. Я ста… да… я пожилой человек, но у меня есть изрядный капитал. Если полмиллиона долларов в государственных облигациях и искреннее влечение сердца, которое, правда, уже не бьется первым пылом молодости, но все же полно неподдельного…

Громкий стук опрокинутого стула у дверей смежной комнаты прервал горячую речь почтенной и наивной жертвы Мая.

В комнату вступила мисс Ван Микер Констанция Кульсон — костлявая, высокая, мрачная, холодная, высокомерная, благовоспитанная, тридцатилетняя. Она поднесла к глазам лорнет. Миссис Виддан поспешно нагнулась и стала поправлять повязку на больной ноге мистера Кульсона.

— Я думала, здесь Гиггинс, — сказала мисс Ван

Микер Констанция.

— Гиггинс вышел, — объяснил ей отец, — и миссис Виддан пришла на звонок. Теперь мне лучше, миссис Виддан. Благодарю вас. Нет, больше мне ничего не нужно.

Экономка ретировалась, пунцовая, под холодным, пытливым взглядом мисс Кульсон.

— Прекрасная, весенняя погода! Правда, дочка? — сказал старик, виляя мысленным хвостом.

— Совершенно верно, — мрачно ответила мисс Ван Микер Констанция Кульсон. — Когда миссис Виддан уедет в отпуск?

— Кажется, она говорила, через неделю, — ответил мистер Кульсон.

Мисс Ван Микер Констанция с минуту постояла у окна, выходившего в маленький сад, залитый ласкающим светом заходящего солнца. Холодным взором ботаника она созерцала цветы — наиболее могучее оружие коварного Мая. Своим неприступным девственным сердцем она стойко отразила атаку кроткой весны. Веселые солнечные стрелы испуганно отскакивали от нее, замороженные прикосновением холодной брони, сковывавшей ее не волнующуюся грудь. Аромат цветов не в силах был пробудить ни проблеска чувства в неизведанных глубинах ее

спящего сердца. Чириканье воробьев раздражало ее. Она смеялась над Маем.

Но, несмотря на то, что мисс Кульсон была сама непроницаема для весны, она обладала достаточным умом, чтобы понимать ее силу. Она знала, что пожилые мужчины и толстые женщины скачут, как дрессированные блохи, в потешной свите Мая, веселого пересмешника среди месяцев. Она слыхала о сумасбродных джентльменах преклонного возраста, женившихся на своих экономках. Какое, право, это унизительное чувство — так называемая любовь.

На следующее утро в восемь часов, когда пришел человек из ледяного склада с обычной порцией льда, кухарка сказала ему, что мисс Кульсон хочет поговорить с ним и ожидает его внизу.

— Можно, — сказал самодовольно поставщик льда. — Я ведь не кто-нибудь. Фирма «Олькот и Денью».

Из снисхождения он опустил свои засученные рукава, положил свой крюк для льда на крышку ледника и пошел вниз. Когда мисс Ван Микер Констанция Кульсон заговорила с ним, он снял шляпу.

— В этот подвал есть черный ход, — сказала

мисс Кульсон. — До него можно добраться через калитку, ведущую на соседний участок, где производятся земляные работы для новой постройки. Я хочу, чтобы в течение двух часов вы привезли и свалили туда тысячу фунтов льда. Можете взять себе в помощь одного или двух человек. Я покажу вам, куда мы поместим лед. В течение четырех дней, начиная с сегодняшнего, доставляйте мне сюда ежедневно по тысяче фунтов. Ваша фирма может поставить стоимость этого льда в наш регулярный месячный счет. А это вам за труды.

Мисс Кульсон протянула ему бумажку в десять долларов.

Поставщик льда поклонился, держа свою шляпу обеими руками за спиной.

— С вашего позволения, леди. Я с большим удовольствием сделаю для вас все по вашему желанию.

Несчастный Май!

В полдень мистер Кульсон сбросил со стола два стакана, сломал пружину своего звонка и начал благим матом звать Гиггинса.

— Принесите топор, — приказал он ему, сардонически улыбаясь. — Или пошлите за четвертью галлона синильной кислоты, или позовите сюда полисмена, чтобы он застрелил меня на месте.

Все лучше, чем замерзнуть, сидя в этом кресле.

— Да, как будто холодает, сэр, — сказал Гиггинс. — Раньше я не замечал этого. Я закрою окно, сэр.

— Закройте, — сказал мистер Кульсон. — И это люди называют весной! Это весна? Если так будет продолжаться, я возвращусь во Флориду. Весь дом напоминает какой-то морг.

Немного спустя вошла мисс Кульсон и заботливо осведомилась о состоянии больной ноги отца.

— Станци, — спросил старик, — как сегодня на улице?

— Ясно, — ответила мисс Кульсон, — но прохладно.

— По-моему, просто опять наступила зима, — сказал мистер Кульсон.

— Вот когда уместно выражение поэта: «Зима, запутавшаяся в складках одежды весны», хотя эта метафора далеко не из приличных, — проговорила Констанция, рассеянно глядя в окно.

Немного погодя она вышла в боковую калитку и направилась к Бродвею за покупками.

А через несколько минут в комнату больного вошла миссис Виддан.

— Вы звонили, сэр? — спросила она, причем щеки ее покрылись ямочками. — Я попросила Гиггинса сходить в аптекарский магазин, и мне

показалось, что я слышала звонок.

— Я не звонил, — сказал мистер Кульсон.

— Я боюсь, — сказала миссис Виддан, — что прервала вас вчера, когда вы хотели мне что-то сказать.

— Скажите, миссис Виддан, — грозно спросил старик Кульсон, — почему в доме у меня такой невероятный холод?

— Холод, сэр? — удивленно произнесла экономка. — Впрочем, совершенно верно. Теперь, когда вы сказали это, я и сама почувствовала, что здесь как будто холодно. А на дворе тепло и хорошо, как в июне. В такую погоду, сэр, сердце готово выпрыгнуть из английской кофточки. Весь плющ на стенах дома уже распустился. Кругом играют шарманки, и дети танцуют на тротуаре. Сейчас как раз время выразить все, что у меня на сердце. Вы вчера сказали, сэр…

— Женщина! — зарычал мистер Кульсон. — Вы с ума сошли! Я плачу вам за то, чтобы вы смотрели за порядком в этом доме. В своей собственной комнате я замерзаю насмерть, а вы являетесь и начинаете мне нести какую-то чушь про плющ и шарманки. Дайте мне сейчас же пальто! Пусть в нижнем этаже закроют все двери и окна. Старое, толстое существо, не знающее своих прямых обя-

занностей, посреди лютой зимы болтает о весне и цветах! Когда Гиггинс вернется, скажите ему, чтобы он принес мне горячего пунша. А теперь убирайтесь.

Но кто в силах посрамить веселый Май?

Хотя он и большой плут, хотя он и смущает порой здравомыслящих людей, все же никакие хитрости мудрых дев и никакие холодильники не заставят его склонить голову в веселом хороводе месяцев.

Да, да. Наша история еще не кончена.

Ночь миновала, и утром Гиггинс усадил старого мистера Кульсона у окна. Вчерашнего холода в комнате как не бывало.

В окно врывалось небесное благоуханье и чудное весеннее тепло.

В комнату вбежала миссис Виддан и остановилась у кресла больного. Мистер Кульсон протянул свою костлявую руку и взял пухлую руку экономки.

— Миссис Виддан, — сказал он, — этот дом не будет настоящим без вас. У меня полмиллиона долларов. Если эта сумма и истинная привязанность сердца, которое, правда, принадлежит не пылкому юноше, но все же еще не знает холода, могут…

— Я знаю, откуда шел этот холод, — сказала миссис Виддан, склонившись над его креслом. — Это был лед, целые тонны льда! Он был в подвале и в кочегарке, повсюду. Я закрыла отдушины, через которые холод проникал в вашу комнату, мистер Кульсон, бедный вы мой. И теперь опять наступил Май.

— …искреннего сердца, — несколько сбивчиво продолжал мистер Кульсон, — которое вновь возродила весна, но… но… что скажет моя дочь, миссис Виддан?

— Об этом не беспокойтесь, сэр, — весело сказала миссис Виддан. — Мисс Кульсон сбежала этой ночью с нашим поставщиком льда, сэр.